

Д. П. ЖОХОВЪ.

ОЧЕРКИ  
ПО ИСТОРИИ  
**РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

---

Пушкинъ, Гоголь, Лермонтовъ, Кольцовъ, Бѣлинскій.

# ОГЛАВЛЕНИЕ.

---

	Стр.
<b>А. С. Пушкинъ . . . . .</b>	<b>1—98</b>
I. Годы дѣтства и ученія . . . . .	1
II. Въ Петербургѣ . . . . .	12
III. На Югѣ . . . . .	18
IV. Въ Михайловскомъ . . . . .	32
V. Первые годы по освобожденію . . . . .	48
VI. Въ Болдинѣ осенью 1830 г. . . . .	56
VII. Послѣдніе годы жизни и дѣятельности Пушкина. Итоги . . . . .	85
<b>Н. В. Гоголь . . . . .</b>	<b>99—176</b>
I. Дѣтство. Лицей. „Вечера на хуторѣ“ . . . . .	99
II. „Миргородъ“ . . . . .	106
III. Комедіи . . . . .	115
IV. Взгляды Гоголя на искусство. „Портрѣтъ“. Гоголь за границей. „Шинель“ . . . . .	130
V. „Мертвые Души“ . . . . .	137
VI. Душевная драма Гоголя.—„Переписка съ друзьями“.—Послѣдніе годы . . . . .	164
<b>М. Ю. Лермонтовъ . . . . .</b>	<b>177—211</b>
I. Біографія . . . . .	177
II. Творчество. Лирика . . . . .	188
III. Эпическая произведенія . . . . .	197
IV. Итоги . . . . .	206
<b>А. В. Кольцовъ . . . . .</b>	<b>212—223</b>
I. Біографія . . . . .	212
II. Личность и творчество . . . . .	218
<b>В. Г. Бѣлинскій, западничество и славянофильство . . . . .</b>	<b>224—254</b>
I. Бѣлинскій.—Его біографія . . . . .	224
II. Личность и дѣятельность Бѣлинского . . . . .	229
III. Западничество и славянофильство . . . . .	237
IV. Полемика Бѣлинского со славянофилами.—Заключеніе . . . . .	246

Приложение: Нѣсколько темъ по курсу русской литературы отъ 20-хъ до 50-хъ годовъ XIX в.

---

## Замѣченныя опечатки.

---

<i>Стр.</i>	<i>Строка.</i>	<i>Напечатано.</i>	<i>Слѣдуетъ.</i>
21	15 снизу	страны	старинъ
42	13 сверху	приставамъ	приставами
43	6 снизу	непрѣменно	непремѣнно
48	12 сверху	идти	итти
51	5 сверху	вихрь	вихоръ
75	1 сверху	самого	самаго
75	8 сверху	крапина	картина
86	7 снизу	картина	картины
122	3 сверху	пословицѣ	пословицей
127	20 сверху	дасть	даетъ
130	6 сверху	доброго	бодраго
170	1 снизу	том.	томъ
174	12 сверху	внутренняго	внутренняго
190	15 сверху	расчетъ	расчетъ
191	1 сверху	веселье	новоселье
196	15 сверху	раненый	раненный
201	7 сверху	расчетъ	расчетъ
201	14 сверху	расчетъ	расчетъ
203	4 снизу	душой	души
215	1 снизу	расчетамъ	расчетамъ
237	15 сверху	горѣ	горѣ
254	9 сверху	которыя	которые

---

## О ТЪ А В Т О Р А.

---

Главной задачей настоящихъ очерковъ являлось установление общаго хода развитія русской литературы отъ двадцатыхъ до пятидесятихъ годовъ XIX вѣка, связи этого периода съ предшествовавшимъ и послѣдующимъ. Стремясь разсмотрѣть все крупное и характерное, авторъ отнюдь не гнался за исчерпывающей полнотой обзора, оставляя многое для самостоятельной или подъ руководствомъ преподавателя работы изучающаго. Подробные разборы нѣкоторыхъ произведеній, имѣющихъ особую важность, и подробныя характеристики нѣкоторыхъ литературныхъ типовъ имѣютъ цѣлью представить примѣры, по которымъ могли бы быть разобраны другіе типы и произведенія, лишь кратко охарактеризованные или только упомянутые въ книгѣ. Всѣ разборы и характеристики сдѣланы въ расчетѣ на предварительное ознакомленіе учащихся со всѣми произведеніями, о которыхъ идетъ рѣчь. Ознакомленіе это авторъ считаетъ первымъ и необходимымъ условиемъ успѣшнаго и осмыслинаго изученія литературы.

Методъ изложенія въ книгѣ поставленъ въ зависимость отъ особенностей каждого изъ изучаемыхъ писателей. Обзоръ произведеній Пушкина и Гоголя тѣсно связанъ съ биографіей ихъ и ведется въ строго хронологической послѣдовательности; относительно же другихъ писателей биографическая свѣдѣнія выдѣлены въ особыя главы, такъ какъ здѣсь связь творчества съ отдѣльными периодами жизни писателя является или менѣе тѣсной, или менѣе ясной.

---

## Бібліографіческія указання.

Полное собрание сочинений **Пушкина**. Редакция С. А. Венгерова. Издание Брокгауза и Ефрона. Въ 6-и томахъ. Издание богато иллюстрировано и содержитъ множество цѣнныхъ вводныхъ статей біографического и историко-литературного характера. Это настоящая пушкинская энциклопедія.

Сочиненія **Пушкина** съ объясненіями ихъ и сводомъ отзывовъ критики. Издание Льва Поливанова для семьи и школы. Очень цѣнно въ педагогическомъ отношеніи.

Сочиненія **Лермонтова**. Издание разряда изящной словесности Императорской академіи наукъ. Редакція Д. И. Абрамовича. Въ 5-и томахъ.

Сочиненія **Кольцова**. Издание разряда изящной словесности Императорской академіи наукъ. Редакція А. И. Лященко.

Полное собрание сочинений **Вѣлинского** подъ редакціей С. А. Венгерова. Вышло 9 томовъ, съ очень подробными, къ первымъ 7-и томамъ примѣчаніями.

Собрание сочинений **Вѣлинского** подъ редакціей, съ вводными статьями и примѣчаніями *Иванова-Разумника*. Въ 3-хъ томахъ.

Избранныя сочиненія **Вѣлинского** подъ редакціей Н. А. Котляревского. Издание О. Н. Поповой. Въ 2-хъ томахъ.

**Н. О. Лернеръ.** Труды и дни Пушкина. Издание 2-е Императорской академіи наукъ (Хронологическая канва къ біографіи Пушкина).

**В. Я. Стоюнинъ.** Пушкинъ (Біографія и краткая характеристика творчества).

**В. В. Сиповскій.** Пушкинъ. Жизнь и творчество.

**Д. С. Мережковскій.** Пушкинъ (Изъ „Вѣчныхъ спутниковъ“).

**Н. А. Котляревскій.** Гоголь. 1809—1842. Очеркъ изъ истории русской повѣсти и драмы.

**Д. И. Овсяніко-Куликовскій.** Гоголь. (Собрание сочинений, т. I).

**Н. А. Котляревскій.** Лермонтовъ. Личность поэта и его произведений.

**В. И. Острогорскій.** Художникъ русской пѣсни Кольцовъ

**А. И. Ільинъ.** Бѣлинскій, его жизнь и переписка.

**Н. А. Котляревскій.** Литературные направления въ Александровскую эпоху.

**Д. И. Овсяніко-Куликовскій.** Исторія русской интеллигенціи, ч. I.

**А. И. Веселовскій.** Западное вліяніе въ новой русской литературѣ.

**Н. А. Котляревскій.** Мировая скорбь въ концѣ XVIII и въ началѣ XIX вѣка.

# А. С. ПУШКИНЪ.

(1799—1837).

## I.

### Годы ютетства и ученья.

**Дѣтство Пушкина.** Александръ Сергеевичъ Пушкинъ, начинатель зреющей русской литературы, одинъ изъ величайшихъ въ мірѣ поэтовъ, родился 26 мая 1799 г. въ Москвѣ и происходилъ изъ древняго боярскаго рода Пушкиныхъ. Предкомъ своимъ онъ считалъ прибывшаго «изъ нѣмецъ» въ Новгородъ, въ княженіе Александра Невскаго Ратшу, о которомъ онъ говоритъ въ стихотвореніи «Моя родословная»:

«Мой предокъ Ратша службой бранной  
Святому Невскому служилъ».

Потомки Ратши, по словамъ поэта въ томъ же стихотвореніи, «во-  
дились съ царями», но не всегда готовы были имъ угодить. Прапорть А. С. Пушкина «не поладиль съ Петромъ и былъ за то повѣщенъ имъ»; дѣдъ поэта остался до конца вѣренъ Петру III-му и попалъ за это въ крѣпость послѣ паденія послѣдняго. Такія родовая пре-  
данія, по мнѣнію поэта, давали ему право гордиться своими пред-  
ками и рѣзко отдѣлять себя отъ «новой знати», отъ «дворянъ по  
кресту», недавніе предки которыхъ «торговали блинами или ваксили  
царскіе сапоги», и которые возвысились главнымъ образомъ потому,  
что угодили сильнымъ людямъ. О своихъ предкахъ, принимав-  
шихъ участіе въ крупныхъ историческихъ событияхъ, Пушкинъ не  
разъ упоминаетъ въ своихъ произведеніяхъ и письмахъ. Со сто-  
роны матери прадѣдомъ поэта былъ известный Ибрагимъ или  
Абрамъ Петровичъ Ганнибалъ, абиссинецъ по происхожденію, взя-

тыт Петромъ Великимъ ко двору, имъ окрещенный и отъ него получившій отчество. Сынъ Абрама Петровича—Осипъ Абрамовичъ—женатъ быль на Маріи Алексѣевнѣ Пушкиной, и дочь ихъ—Надежда Осиповна—была матерью поэта. Ганибалы выдвинулись на служебномъ поприщѣ, особенно Иванъ Абрамовичъ, «предъ кѣмъ», по выражению поэта,

«Громада кораблей вспылала  
И паль впервые Наваринъ».

Нѣкоторыя черты личнаго характера Пушкина—пылкость, недостатокъ сдержанности—объясняются именно этой примѣсью африканской крови.

Отецъ поэта, Сергій Львовичъ, служившій прежде въ военной службѣ, покинулъ ее еще до рожденія А. С. Пушкина и съ 1799 г. проживалъ въ Москвѣ, не имѣя опредѣленныхъ занятій и ведя жизнь свѣтскую; серьезностью образованія и интересовъ С. Л. Пушкинъ не отличался, такъ же, какъ и мать поэта, и значительного вліянія на своего сына они не имѣли. Однако С. Л. былъ начитанъ во французской литературѣ XVII—XVIII в. в., имѣлъ довольно хорошую библіотеку изъ произведеній этой литературы, и это обстоятельство способствовало раннему ознакомленію А. С. Пушкина съ французскимъ языкомъ и поэзіей, причемъ произведенія, прочтенные поэтомъ въ отцовской библіотекѣ, были весьма различного характера и достоинства. Здѣсь, въ родительскомъ домѣ, началась и литературная дѣятельность поэта: онъ написалъ комедію «L'escamoteur» въ подражаніе Мольеру и поэму «La Tolyade», но ни та, ни другая до насъ не дошли.

Рано ознакомившись съ французскою литературой, усвоивъ французскій языкъ не хуже родного и сдѣлавъ даже на этомъ языке первыя попытки къ творчеству, А. С. Пушкинъ получалъ, однако, въ родномъ домѣ и впечатлѣнія русскаго языка и русской литературы. Знаменитая няня Пушкина, Арина Родионовна, уже въ это время сообщала поэту пѣсни и сказки русскаго народа, которыхъ, однако, были имъ восприняты и оцѣнены вполнѣ гораздо позднѣе, въ зреѣмъ возрастѣ. Кромѣ того, благодаря дядѣ Пушкина, Василию Львовичу, довольно извѣстному въ то время поэту и баснописцу, въ домѣ Пушкиныхъ бывали нѣкоторые выдающіеся предста-

вители тогдашней русской литературы; В. Л. Пушкинъ былъ въ дружбѣ съ Дмитріевымъ, Карамзінымъ, Жуковскимъ, произведенія которыхъ, конечно, были извѣстны будущему поэту. Такимъ образомъ, запасъ литературныхъ впечатлѣній, полученныхъ Пушкинымъ за время жизни въ родительскомъ домѣ, т. е. до 1811 г., оказывается очень и очень значительнымъ не только въ сферѣ французской, но и русской поэзіи.

Лѣто поэтъ проводилъ въ подмосковномъ сельцѣ Захаровѣ, о которомъ онъ вспомнилъ въ стихотвореніи 1815 г. «Посланіе къ Юдину» («Мнѣ видится мое селенье» и т. д.).

Въ дѣтствѣ поэтъ былъ въ большой дружбѣ съ сестрой своей, Ольгой Сергеевной, бывшей на полтора года старше его. Къ ней онъ впослѣдствіи обратился съ длиннымъ стихотворнымъ посланіемъ, въ которомъ вспоминаетъ ихъ совмѣстныя чтенія и называетъ сестру «бездѣннымъ другомъ».

Въ 1811 г. будущему поэту исполнилось 12 лѣтъ, и возникъ вопросъ о помѣщеніи его въ учебное заведеніе. Сначала у родителей была мысль отдать его въ іезуитскую коллегію, но затѣмъ, по соображенію, главнымъ образомъ, Александра Ивановича Тургенева (однаго изъ сыновей извѣстнаго масона И. П. Тургенева), рѣшено было ходатайствовать о допущеніи мальчика къ пріемнымъ испытаніямъ во вновь открывшееся въ Царскомъ Селѣ учебное заведеніе, которое должно было сдѣлаться образцовымъ. Это былъ Лицей, учреждавшійся, какъ говорилось въ проектѣ его основанія, «съ цѣлью образования юношества, особенно предназначенаго къ важнымъ частямъ службы государственной и составленаго изъ отличнѣйшихъ воспитанниковъ знатныхъ фамилій». 12 августа 1811 г. Пушкинъ сдалъ экзаменъ для поступленія въ Лицей, 19 октября Лицей былъ открытъ, а 23-го въ немъ начались учебныя занятія.

**Лицей.** Что касается учебнаго дѣла, то оно въ Лицѣ шло не особенно успѣшно. Хотя среди преподавателей Лицея были очень знающіе и талантливые люди (Кунинъ, Кошанскій), но программу Лицея, слишкомъ обширную и трудную для 12—13-тилѣтнихъ мальчиковъ, принимавшихся въ лицей, выполнить въ точности было невозможно. Профессора и преподаватели Лицея не предъявляли къ воспитанникамъ строгихъ требованій, и лицеисты пользовались зна-

чительной свободой въ распределеніи своего времени. «Къ счастью», писалъ одинъ изъ товарищъ Пушкина, Илличевскій, своему другу, Фуссу, въ Петербургъ, «уроковъ у насъ немного, а времени довольно». «Благодаря Бога», говоритъ онъ же въ другомъ письмѣ, «у насъ... царствуетъ свобода». Пробывъ въ Лицѣ около шести лѣтъ (съ августа 1811 по іюнь 1817 г.), Пушкинъ получилъ при выпускѣ свидѣтельство, въ которомъ перечислены слѣдующія науки, бывшія предметомъ изученія въ Лицѣ: Законъ Божій и священная исторія, логика и нравственная философія, право естественное, частное и публичное, россійское гражданское и уголовное право, латинская словесность, государственная экономія и финансы, россійская и французская словесность, исторія, географія, статистика, математика, нѣмецкій языкъ и фехтованіе. Серьезныхъ познаній, однако, Пушкинъ, какъ и многіе изъ его товарищъ, по собственнымъ его признаніямъ, изъ Лицея не вынесъ и впослѣдствіи, какъ мы убѣдимся, напряженнымъ трудомъ восполнялъ недостатки «проклятаго своего воспитанія». Недостаточно правильный и успѣшный ходъ учебнаго дѣла въ Лицѣ зависѣлъ, между прочимъ, отъ частой смѣны лицъ, стоявшихъ во главѣ этого заведенія. Первый директоръ Лицея Малиновскій умеръ въ началѣ 1814 г., затѣмъ Лицеемъ управляла нѣкоторое время конференція (этотъ періодъ Пушкинъ въ лицейскихъ запискахъ называетъ «безначаліемъ»); вслѣдъ за тѣмъ завѣданіе Лицеемъ поручено было директору лицейскаго пансиона Гауэншильду, а потомъ инспектору Фролову; въ началѣ 1816 г. заведеніемъ управляли поочередно члены конференціи, и только послѣднее время пребыванія Пушкина въ Лицѣ, менѣе  $1\frac{1}{2}$  лѣтъ, директоромъ Лицея состоялъ энергичный человѣкъ и умѣлый педагогъ, Е. А. Энгельгардтъ, остававшійся и потомъ въ этой должности до 1823 года.

Недостатки въ постановкѣ учебнаго дѣла въ Лицѣ, вызванные новизною дѣла, выкупались, однако въ значительной мѣрѣ другими сторонами лицейской жизни. Мы уже видѣли, во-первыхъ, что воспитанники пользовались, по словамъ Илличевскаго, значительной свободой; личность воспитанника, въ общемъ, не подвергалась никакимъ особымъ стѣсненіямъ, и у Пушкина осталась добрая память о лицейскихъ наставникахъ, «хранившихъ», по выражению поэта, «юность» воспитанниковъ. Во-вторыхъ, Царскосельскій Ли-

цей, куда перешли и некоторые преподаватели и некоторые воспитанники Московского Университетского Благородного Пансиона, явился хранителемъ литературныхъ традицій, связанныхъ въ этомъ заведеніи съ именемъ Жуковскаго. Литературные интересы среди лицеистовъ-товарищев Пушкина стали проявляться съ самаго начала ихъ пребыванія въ Лицѣ, и кромѣ будущаго великаго поэта литературными способностями отличались: Илличевскій, Яковлевъ, баронъ Дельвигъ, Кюхельбекеръ. Въ свободное время Пушкинъ съ товарищами-любителями поэзіи собирались и читали и обсуждали свои поэтические опыты, издавали журналы: «Вѣстникъ», «Неопытное перо», «Для удовольствія и пользы», «Лицейскій Мудрецъ».

Пользуясь свободой, предоставляемой лицейстамъ, Пушкинъ, благодаря блестящимъ своимъ способностямъ, легко и быстро усваивалъ все то, что было необходимо знать для перевода изъ класса въ классъ (классовъ было три, съ двухлѣтнимъ курсомъ въ каждомъ). Отзывы преподавателей о будущемъ поэту рисуютъ намъ его юношескими способностями, но мало прилежаниемъ. «Успѣхи его въ латинскомъ», писалъ Кошанскій, «хороши; въ русскомъ не столько тверды, сколько блестательны»; этотъ же профессоръ находилъ, что у Пушкина больше изящного вкуса, чѣмъ прилежанія. Въ отзывѣ Куницына говорится, что Пушкинъ «весьма понятень, замысловатъ и остроуменъ, но крайне неприлеженъ; онъ способенъ только къ такимъ предметамъ, которые требуютъ малаго напряженія, а потому успѣхи его очень невелики, особыливо по части логики».

**Лицейское творчество.** Не утруждая себя занятіями по тѣмъ предметамъ, которые «требовали напряженія» и которые его не интересовали, наприм., по логикѣ и математикѣ, поэту, однако, усердно читаль и продолжалъ свои собственные литературные опыты. О томъ, что и какъ Пушкинъ читалъ во время пребыванія своего въ Лицѣ, можно судить по стихотворенію 1814 г. «Городокъ». Здѣсь Пушкинъ, представляя себя въ образѣ «лѣниваго философа», ведущаго уединенную жизнь въ «городкѣ, безвѣстностью счастливомъ», даетъ подробное перечисленіе книгъ, которыхъ «въ порядкѣ стали» у него «надъ полкою простою, подъ тонкою тафтою». Писатели—«парнасскіе жрецы»—являются, по словамъ поэта, лучшими его друзьями. И перечисляя этихъ своихъ друзей, которые «выходятъ и сонь отъ глазъ отводятъ подъ зимній вечерокъ», Пушкинъ группируетъ

любимыхъ писателей такимъ образомъ и даетъ имъ такія характеристики, что мы можемъ убѣдиться въ чрезвычайно сознательномъ отношеніи Пушкина къ литературному материалу, о которомъ онъ говорить, и въ тонкомъ критическомъ чутьѣ, которое и впослѣдствії обнаруживалось во всѣхъ литературныхъ сужденіяхъ Пушкина. Ставя во главѣ друзей-писателей Вольтера, «поэта въ поэтахъ перваго», Пушкинъ намѣчаєтъ затѣмъ слѣдующія группы писателей: Виргилій, Тассъ и Гомеръ; Гораций съ Державинымъ; Лафонтенъ съ Дмитріевымъ, Крыловымъ и Богдановичемъ; Озеровъ съ Расиномъ; Руссо и Карамзинъ; Фонвизинъ и Княжнинъ съ Мольеромъ. Такая удачная группировка русскихъ и иностранныхъ «парнасскихъ жрецовъ», основанная на внутреннемъ родствѣ ихъ творчества, а равно очень удачные эпитеты: чувствительный Гораций, Мольеръ-исполинъ (сравнительно съ Фонвизинымъ и Княжниномъ, котораго Пушкинъ потомъ, въ «Евгениіи Онѣгинѣ», очень удачно назвалъ «переимчивымъ»), — все это свидѣтельствуетъ о раннемъ развитіи у Пушкина литературного вкуса. Тремя годами позже Пушкинъ подтвердилъ такое заключеніе въ стихотвореніи «Къ Жуковскому», давъ мѣткую характеристику нѣкоторыхъ писателей, особенно Сумарокова въ словахъ:

«Ты ль это, слабое дитя чужихъ уроковъ,  
Завистливый гордецъ, холодный Сумароковъ,  
Безъ силы, безъ отня, съ посредственнымъ умомъ,  
Предразсужденіямъ обязанный вѣнцомъ».

Усердно читая русскихъ и иностранныхъ писателей классического и сентиментального направленія, легко разбираясь въ характерѣ ихъ творчества, Пушкинъ энергично работалъ самъ, быстро развивая свой талантъ и пробуя свои силы въ разныхъ литературныхъ направленіяхъ и разныхъ поэтическихъ видахъ. Такъ называемая «лицейская стихотворенія» Пушкина, очень многочисленныя, обнаруживаютъ разнообразіе литературныхъ вліяній, которымъ въ это время подвергался поэтъ. Есть среди нихъ произведенія въ державинскомъ стилѣ и тонѣ, воспѣвающія великія событія, царей и героевъ. Наиболѣе яркимъ образцомъ такихъ произведеній является стихотвореніе конца 1814 г. «Воспоминанія въ Царскомъ

Селѣ», читанное Пушкинымъ на публичномъ экзаменѣ при переходѣ въ старшій классъ Лицея, 8 января 1815 г., въ присутствіи Державина, обращеніемъ къ которому поэтъ и закончилъ свое произведеніе. Къ этому именно событию относятся извѣстныя слова Пушкина о своей музѣ въ VIII главѣ романа «Евгений Онѣгинъ»:

«И свѣтъ ее съ улыбкой встрѣтилъ:  
Успѣхъ нась первый окрылилъ;  
Старикъ Державинъ нась замѣтилъ  
И, въ гробъ сходя, благословилъ».

Къ этому же направленію примыкаетъ и стихотвореніе 1815 г. «Наполеонъ на Эльбѣ» и нѣкоторыя другія изъ лицейскихъ.

Вторая поэтическая струя, которую можно различать въ лицейскомъ творчествѣ Пушкина,—это направленіе сентиментальное и отчасти романтическое. Сюда относятся стихотворенія: «Сраженный рыцарь» (1815 г.), «Мечтатель» (1815 г.), «Пѣвецъ» (1816 г.).

Многочисленныя стихотворенія лицейского периода написаны въ тонѣ беззаботнаго призыва наслаждаться жизнью, не задумываясь о нравственныхъ и всякихъ отвлеченныхъ вопросахъ. Здѣсь отразилось главнымъ образомъ вліяніе той группы французскихъ писателей XVII—XVIII вв., которая представлена въ «Городкѣ» имѣнами: Парни, Вержье и Грекура. Это настроеніе выражено въ стихотвореніяхъ: «Истина», «Погребъ», «Добрый совѣтъ» и многихъ другихъ.

Подражая различнымъ русскимъ и иностраннымъ писателямъ, произведенія которыхъ онъ читалъ въ Лицѣ, а отчасти зналъ и раньше, настраивая свою юную лиру то на тотъ, то на другой тонъ, Пушкинъ въ Лицѣ проявилъ также интересъ къ русской народной поэзіи, вѣроятно связанный съ ранними впечатлѣніями отъ рассказовъ наяни. Проявленіями этого интереса служатъ: отрывокъ «Бова», написанный въ началѣ 1815 г., и поэма «Русланъ и Людмила», начатая въ послѣдній годъ пребыванія Пушкина въ Лицѣ.

Вполнѣ естественно, что участь въ Лицѣ, закрытомъ учебномъ заведеніи, изъ которого воспитанниковъ за 6 лѣтъ ни разу не отпустили въ Петербургъ, а въ первые годы не отпускали и къ знакомымъ въ Царскомъ Селѣ, Пушкинъ получалъ слишкомъ мало впе-

чатлѣній жизни, чтобы его тогдашнее творчество могло принять реальный характеръ. Этю сравнильной бѣдностью и однообразіемъ впечатлѣній до нѣкоторой степени объясняется подражательный характеръ лицейскихъ стихотвореній Пушкина. Были, однако, моменты, когда въ кругъ лицейскихъ интересовъ врывались извнѣ свѣжія и сильныя впечатлѣнія; такова, въ особенности, Отечественная война. «Газетная комната», говорить про это время товарищъ Пушкина, его сосѣдъ по комнатѣ и близкій другъ Пущинъ, «никогда не была пуста въ часы, свободные отъ классовъ; читались на перерывъ русскіе и иностранные журналы при неумолкаемыхъ толкахъ и преніяхъ; всему живо сочувствовалось у насть: опасенія смѣнялись восторгами при малѣйшемъ проблескѣ къ лучшему. Профессора приходили къ намъ и научали насть слѣдить за ходомъ дѣлъ и событий, объясняя иное, намъ недоступное». Подъемъ патріотического чувства и политическихъ интересовъ, вызванный Отечественной войной, выразился и въ упомянутомъ выше стихотвореніи «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ», и въ нѣкоторыхъ другихъ произведеніяхъ этого периода. Настроеніе, охватившее въ то время лицейстовъ, Пушкинъ вспомнилъ за нѣсколько мѣсяцевъ до своей смерти въ слѣдующихъ выраженіяхъ:

«Вы помните: текла за ратью рать;  
Со старшими мы братьями прощались  
И въ сѣнь наукъ съ досадой возвращались,  
Завидя тому, кто умирать  
Шель мимо насть».

Будущій основатель русскаго литературнаго реализма сказался, однако, въ лицейскіе годы въ Пушкинѣ не только въ отзывчивости на великое историческое событие, тогда совершившееся, и въ правдивомъ выраженіи чувствъ, владѣвшихъ лицейстами по поводу этого события. Мы находимъ также у Пушкина попытки нарисовать картины лицейской жизни, т. е. дать уже не перепѣвъ чужого мотива, а переработку жизненнаго впечатлѣнія. Правда, пылкая фантазія поэта, повидимому, иногда подкрашивала дѣйствительность, но все же въ стихотвореніяхъ: «Пиরующіе студенты» (1814 г.), «Воспоминаніе» (1815 г.) и нѣкоторыхъ другихъ Пушкинъ, несомнѣнно,

дѣлаетъ попытку изобразить подлинную лицейскую жизнь. Отмѣтимъ еще одно изъ лучшихъ лицейскихъ стихотвореній Пушкина—«Лицинію» (1815 г.). Оно интересно, съ одной стороны, какъ выраженіе горячаго протеста противъ рабства, съ другой—какъ одно изъ первыхъ проявленій прекраснаго знанія и пониманія Пушкинымъ античности и интереса поэта къ ней.

Картина лицейского творчества Пушкина была бы неполна, если бы мы не указали, что вопросъ о томъ, что такое поэзія и поэтъ, кому и какъ слѣдуетъ заниматься поэтическою дѣятельностью,—вопросъ, впослѣдствіи доставившій много волненій и страданій поэту и вызвавшій къ жизни рядъ превосходныхъ его лирическихъ стихотвореній, очень рано сталъ передъ поэтомъ, и что этому вопросу посвящено первое напечатанное стихотвореніе Пушкина «Къ другу стихотворцу», появившееся въ журналѣ «Вѣстникъ Европы», въ № 13, отъ 4 іюля 1814 г. Въ этомъ стихотвореніи, обращенномъ яко бы къ молодому стихотворцу Аристу, Пушкинъ выскаживаетъ ту основную мысль, что поэтическая дѣятельность серьезна и отвѣтственна; «хорошіе стихи не такъ легко писать, какъ Витгенштейну французовъ побѣждать»; «на Пиндѣ лавры есть, но есть тамъ и країни», и лучше разъ навсегда отказаться отъ стихотворства, чѣмъ «пылать любовью въ холодныхъ пѣсенкахъ» и увеличивать собою число поэтовъ, которыхъ тотчасъ по напечатаніи забудетъ цѣлый свѣтъ.

**Значеніе Лицея для Пушкина.** Скажемъ нѣсколько заключительныхъ словъ о лицейскомъ періодѣ въ жизни и литературной дѣятельности Пушкина. Пылкому поэту, жаждавшему сильныхъ и разнообразныхъ жизненныхъ впечатлѣній, Лицей нерѣдко начиналъ казаться то монастыремъ, то тюрьмой. Въ упомянутомъ выше «Посланіи къ сестрѣ» поэтъ сравниваетъ себя съ «чернецомъ» и кончаетъ выражениемъ надежды на то, что скоро наступить время, когда онъ бросить «подъ столъ клобукъ съ веригой и прилетѣть разстрѣлой въ объятія» сестры. Въ стихотвореніи «Товарищамъ», написанномъ въ 1817 г., передъ выпусккомъ изъ Лицея, Пушкинъ называется пребываніе въ этомъ заведеніи «годами заточенія» и, радуясь тому, что эти годы «промчались», жаждетъ одной только свободы.

Но прошло нѣсколько лѣтъ, поэту, какъ мы увидимъ, пришло

испытать действительное, а не мнимое заточение, и вся лицейская жизнь озарилась для него инымъ свѣтомъ. Когда другу Пушкина, Пущину, предстояло бѣхать въ 1826 году въ ссылку, поэтъ напутствовалъ его такими словами: «Молю святое Провидѣнье, да голось мой душѣ твоей даруетъ... утѣшенье, да озарить онъ заточеніе лучемъ лицейскихъ ясныхъ дней». 19 октября 1825 г., проводя день лицейской годовщины въ деревенскомъ уединеніи, Пушкинъ съ глубокимъ чувствомъ вспоминаетъ лицейские годы. «Товарищи!» говоритъ онъ въ первоначальномъ текстѣ стихотворенія на этотъ день:

«сегодня праздникъ нашъ,  
Завѣтный срокъ. Сегодня тамъ, далече,  
На пиръ любви, на сладостное вѣче  
Стеклися вы при звонѣ мирныхъ чашъ—  
Вы собрались, мгновенно молодѣя,  
Усталый духъ въ минувшемъ обновить,  
Поговорить на языкѣ Лицея  
И съ жизнью вновь свободно пошалить».

Въ VIII главѣ «Евгенія Онѣгина» Пушкинъ называетъ лицейские свои годы «безмятежнымъ расцвѣтаніемъ». Здѣсь, въ садахъ Лицея, завязалъ поэтъ самыя тѣсныя дружескія связи—особенно съ Дельвигомъ; Пушкинъ самъ признавалъ, что «привѣтъ» друзей, пріобрѣтенныхъ позднѣе, былъ «горкій» и «небратскій» по сравненію съ привѣтомъ товарищей дѣтства. И, что самое пожалуй важное, лицейские годы остались навсегда озаренными для Пушкина первыми посвѣщеніями музы:

«Въ тѣ дни, въ таинственныхъ долинахъ,  
Весной, при кликахъ лебединыхъ,  
Близъ водъ, сіявшихъ въ тишинѣ,  
Являться муза стала мнѣ».

Въ Царскомъ Селѣ, въ лицейскомъ садикѣ, есть прекрасная статуя, работы Баха, изображающая Пушкина-юношу, въ лицейскомъ мундирѣ, задумчиво сидящимъ на чугунной скамьѣ парка. На одной сторонѣ пьедестала этой статуи, изображающей поэта въ

счастливую минуту поэтическихъ мечтаній, изображены слѣдующія слова Пушкина къ товарищамъ:

«Друзья мои, прекрасенъ нашъ союзъ;  
Онъ, какъ душа, нераздѣлимъ и вѣченъ;  
Неколебимъ, свободенъ и беспеченъ,  
Сростался онъ подъ сѣнью дружныхъ музъ.  
Куда бы нась ни бросила судьбина  
И счастіе куда бъ ни повело,  
Все тѣ же мы: намъ цѣлый мірь—чужбина,  
Отечество намъ—Царское Село».

Значеніе для себя «прекрасныхъ садовъ», окружавшихъ Царскосельскій Лицей, Пушкинъ въ одномъ стихотвореніи 1829 г. сравниваетъ со значеніемъ «родимой обители» для библейскаго блуднаго сына. Первые поэтическія вдохновенія, первые дружескія связи, мечты о будущемъ, «безмятежное расцвѣтаніе» могучихъ поэтическихъ и нравственныхъ силъ въ «родимой обители» прекрасныхъ садовъ Лицея — остались для поэта навсегда неизгладимымъ свѣтлымъ и освѣжающимъ воспоминаніемъ.

Но «шесть лѣтъ промчалось, какъ мечтанье», по выражению Дельвига, и вотъ, говорить Пушкинъ товарищамъ:

«Зоветъ нась дальній свѣта шумъ,  
И всякъ избралъ свою дорогу  
Съ волненiemъ гордыхъ юныхъ думъ».

Обращаясь, однако, къ своимъ собственнымъ планамъ на будущее, поэтъ заявляетъ, что хочетъ одной только свободы и никакихъ опредѣленныхъ намѣреній на будущее не имѣть. «Равны мнѣ писари, уланы», говоритъ онъ, «равны законы, кивера; не рвусь я грудью въ капитаны и не ползу въ ассесора».

## II.

## Въ Петербургѣ.

**Три года въ Петербургѣ.** Полной свободой поэть и воспользовался въ трехлѣтній періодъ жизни въ Петербургѣ, послѣдовавшій за пребываніемъ въ Лицѣѣ. Въ эти три года (1817—1820) Пушкинъ вознаградилъ себя вполнѣ за однообразіе лицейскаго «монастырскаго» существованія; въ этотъ періодъ талантъ поэта значительно окрѣпъ, кругозоръ расширился, и на его лирѣ зазвучали новыя, прежде молчавшія струны. Въ то время, какъ поэтъ зажилъ въ Петербургѣ свободною жизнью, среди молодежи совершалось умственное движение, стоявшее въ связи съ недавно закончившимися Наполеоновскими войнами. Русская армія въ 1813—14 г. прошла всю Европу, и мысль военной молодежи, возбужденная великими историческими событиями и впечатлѣніями государственныхъ и общественныхъ порядковъ Западной Европы, во многомъ совершенно не похожихъ на наши, усиленно работала надъ вопросами политическими. Это было то самое время, про которое Пушкинъ гораздо позднѣе сказалъ въ VIII главѣ «Евгенія Онѣгина»:

«Я музу рѣзвую привель  
На шумъ пировъ и буйныхъ споровъ,  
Грозы полуночныхъ дозоровъ».

Политические «буйные споры», въ которыхъ принималъ участіе Пушкинъ въ эти годы, не приводили къ какимъ-нибудь опредѣленнымъ и точнымъ выводамъ политического характера. Молодежь вообще была политически возбуждена, и ее воодушевляли мысли о благѣ родины, о служеніи этому благу, о самоотверженной борьбѣ со всякими проявленіями «самовластья».

Молодые люди, среди которыхъ вращался въ это время Пушкинъ, съ которыми бесѣдовалъ и которымъ сообщалъ плоды своей музы, принадлежали къ весьма различнымъ кружкамъ, и пестрота пушкинскихъ знакомствъ и дружескихъ связей этого времени является одною изъ чертъ, характерныхъ для юнаго поэта. Изъ тогдашнихъ друзей Пушкина слѣдуетъ указать прежде всего на очень вы-

дающагося и талантливаго гусарскаго офицера П. Я. Чаадаева, человѣка превосходно образованнаго, знакомаго Пушкину еще по Царскому Селу и оцѣненнаго поэтомъ въ 1817 г. въ слѣдующей надписи «къ портрету»:

«Онъ вышней волею небесь  
Рождень въ оковахъ службы царской:  
Онъ въ Римѣ бы Брутъ, въ Аѳинахъ Периклесь,  
А здѣсь онъ—офицеръ гусарской».

Этого человѣка, съ талантами «Брута и Периклеса», Пушкинъ любилъ и уважалъ, какъ старшаго друга, и именно къ Чаадаеву обращено Пушкинъмъ въ 1818 г. посланіе, въ высшей степени характерное для тогдашніхъ настроеній и стремленій какъ самого Пушкина, такъ и многихъ его друзей. Въ этомъ посланіи находимъ, между прочимъ, слѣдующій призывъ:

«Пока свободою горимъ,  
Пока сердца для чести живы,  
Мой другъ, отчизнѣ посвятимъ  
Души прекрасные порывы».

Къ тому же Чаадаеву обращены и нѣкоторыя позднѣйшія посланія Пушкина, объ одномъ изъ которыхъ ниже будеть рѣчъ.

Чаадаевъ и нѣкоторые другие тогдашніе друзья Пушкина, напр., Тургеневы, возбуждали серьезную политическую мысль поэта, и хотя, какъ мы уже говорили, политическія стремленія поэта оставались довольно неопределеными и сводились къ общей жаждѣ «служить родинѣ и ей посвящать прекрасные порывы души», можно, однако, указать въ петербургское трехлѣтіе жизни Пушкина рядъ стихотвореній, въ которыхъ выражены размышенія и чувства поэта по поводу различныхъ явлений политической жизни. Сюда приналежитъ, напримѣръ, известное стихотвореніе 1819 г. «Деревня», написанное Пушкинъмъ въ селѣ Михайловскомъ, Псковской губерніи, куда поэтъ ѿздилъ лѣтомъ 1817 г. и поѣхалъ снова лѣтомъ 1819 г. Въ первой половинѣ стихотворенія Пушкинъ рисуетъ прелести «пустыннаго уголка, приюта спокойствія, трудовъ и вдохновенія»; деревня, по его словамъ, очищаетъ и возвышаетъ душу,

утомленную «роскошными пирами», «забавами и заблужденьями» городской жизни. Нарисовав эти плънительные картины, Пушкинъ говоритъ, однако, что душу, успокоенную деревенской тишиной, «омрачаетъ ужасная мысль». Это—мысль о рабствѣ, царящемъ среди благословенной природы. Дикое барство присвоило себѣ трудъ, собственность и время земледѣльца, и постыдній лишенъ права чувствовать себя человѣкомъ, «питать въ душѣ надежды и склонности». Поэтъ заканчивает свое стихотвореніе выраженіемъ сожалѣнія о томъ, что онъ не обладаетъ «грознымъ даромъ витійства», и его голосъ не потревожить сердецъ. Извѣстно вдохновенное заключеніе стихотворенія: «Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный и рабство, падшее по маню царя, и надъ отечествомъ свободы просвѣщенной взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?» Наряду со стремлениемъ къ политической свободѣ Пушкинъ, какъ мы видимъ, высказываетъ и мысль о необходимости просвѣщенія для русского народа; возможность рабства онъ въ этомъ же стихотвореніи объясняетъ «губительнымъ позоромъ невѣжества».

Возмущаясь, вмѣстѣ съ лучшей частью тогдашней молодежи, крѣпостнымъ правомъ, мечтая объ его паденіи и о наступленіи для родины поры свѣта и свободы, Пушкинъ задумывался надъ смысломъ совершившихся событий и надъ общими вопросами государственной жизни и строя Россіи. Эти размышленія выразились въ одѣ «Вольность» (1819 г.), которая заканчивается призывомъ къ царямъ «склониться подъ сѣнь надежную закона»; законность поэтъ считаетъ основой благосостоянія государства и народа. Ода «Вольность» довольно определенно намѣщаетъ конституціонный идеалъ декабристовъ.

Интересы политическіе, возбужденные бесѣдами съ новыми друзьями ярко выражены, какъ мы видѣли, въ лучшихъ пушкинскихъ стихотвореніяхъ этого періода; но кипучая натура Пушкина жила и иными интересами; поэтъ жаждалъ личныхъ наслаждений, и рядъ стихотвореній изображаетъ различныя увлеченія Пушкина. Рисуя чрезъ нѣкоторое время веселую и легкомысленную жизнь Евгения Онѣгина въ Петербургѣ, авторъ воспроизводилъ жизнь «золотой молодежи» по личнымъ свѣжимъ воспоминаніямъ. Театръ составлялъ одно изъ увлеченій Пушкина и его сверстниковъ:

«Тамъ, тамъ подъ сѣнью кулисъ  
Младые дни мои неслись».

Пиры, «игры Вакха и Киприды», изображенные Пушкинымъ въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ этого времени, можетъ быть, нѣсколько преувеличены воображеніемъ поэта, какъ въ свое время лицейскія пирушки. Но что увлеченія иногда слишкомъ поглощали поэта, что онъ немало времени и силъ тратилъ на жизнь легкую и не всегда достойную его великаго ума и таланта, это поэтъ временами мучительно чувствовалъ. Задумываясь надъ своею тогдашнею жизнью, Пушкинъ признавалъ въ ней много заблужденій. Но эти заблужденія, какъ онъ говорить въ превосходномъ стихотвореніи 1819 г. «Возрожденіе», исчезаютъ изъ его измученной души такъ же безслѣдно, какъ «беззаконный рисунокъ художника-варвара» съ картины генія, и въ душѣ поэта «возникаютъ видѣнья первоначальныx чистыхъ дней».

Пиры и буйные споры, о которыхъ вспоминалъ Пушкинъ по поводу петербургскаго трехлѣтія, связаны отчасти съ кружкомъ молодежи, извѣстнымъ подъ названіемъ «Зеленої Лампы». Кружокъ этотъ, группировавшійся около одного изъ пріятелей Пушкина, Все-воложскаго, занимался, повидимому, больше пирами, чѣмъ буйными спорами на серьезныя темы. Нельзя пройти молчаніемъ также участія Пушкина въ литературномъ обществѣ «Арзамасъ», хотя послѣднее ко времени вступленія въ него Пушкина уже перестало правильно собираться. Въ «Арзамасѣ» Пушкинъ получилъ прозвище «Сверчка», и здѣсь, какъ и на собраніяхъ «Зеленої Лампы» и на разныхъ пріятельскихъ пирушкахъ, блестялъ экспромтами, остроумными изреченіями и застольными пѣснями.

Въ этихъ созданіяхъ «рѣзвившейся, какъ вакханочка», музы Пушкина было немало рѣзкихъ выходокъ и противъ тогдашнихъ нашихъ порядковъ, и противъ отдельныхъ, иногда очень сильныхъ представителей власти. Пушкинъ еще съ лицейскихъ временъ былъ большими мастеромъ «прихлопнуть» кого-нибудь эпиграммой,— очень распространенный тогда поэтический видъ. Къ петербургскому трехлѣтію относятся эпиграммы: на архимандрита Фотія, на кн. А. Н. Голицына (1819), на Аракчеева (1820 г.) и многія другія.

Наиболѣе рѣзкия изъ пушкинскихъ стихотвореній этого вре-

мени не могли быть напечатаны и распространялись въ рукописяхъ, не только обходя столицы, но попадая и въ провинцію. Самъ императоръ Александръ I выразился про Пушкина, что онъ своими стихами «наводнилъ Россію».

**«Русланъ и Людмила».** Всѣ тѣ небольшія по объему стихотворенія Пушкина, о которыхъ у насъ до сихъ поръ шла рѣчь и отдѣльные образцы которыхъ указывались, являлись отзывами поэта на тѣ вопросы и интересы момента, которые волновали и занимали умы молодежи, или же выражали чисто личныя душевныя состоянія поэта, какъ стихотвореніе «Возрожденіе». Но въ то же время Пушкинъ питалъ и болѣе обширные литературные планы, связанные съ проявлявшимся, какъ мы видѣли, у поэта еще на лицейской скамьѣ интересомъ къ народному русскому творчеству. Въ Лицѣѣ въ 1817 г. Пушкинъ началъ поэму «Русланъ и Людмила»; по выходѣ изъ Лицея онъ продолжалъ ее, хотя очень медленно и съ большими перерывами, читая по частямъ своимъ литературнымъ друзьямъ, преимущественно Жуковскому и князю П. А. Вяземскому, съ которыми близко сошелся еще съ лицейского времени. Наконецъ, 26 марта 1820 г. поэма была окончена, и въ этотъ день Пушкинъ получилъ отъ Жуковскаго его портретъ съ надписью, въ которой Жуковскій называетъ автора «Руслана и Людмилы» своимъ «ученикомъ-побѣдителемъ».

Первое крупное по объему произведение Пушкина, поэма «Русланъ и Людмила» произвела на читающую публику и критику чрезвычайно сильное впечатлѣніе. Но оцѣнка поэмы въ тогдашнихъ журналахъ оказалась весьма различной—у однихъ читателей она вызвала восторгъ, другихъ привела въ негодованіе, причемъ и тѣ, и другие одинаково указали сразу на громадное значеніе этой поэмы, какъ явленія совершенно новаго въ нашей литературѣ.

Укажемъ тѣ свойства первой поэмы Пушкина, которыхъ обратили на себя общее вниманіе.

Прежде всего въ критическихъ статьяхъ о «Русланѣ и Людмилѣ» указывалось на то, что сюжетъ для поэмы взять изъ области народныхъ сказокъ. Если вспомнить, какое презрительное отношеніе къ народно-поэтическому творчеству проявлялось въ нашей литературѣ XVIII в., то мы поймемъ, что «литературные старовѣры» должны были отнести сюжету поэмы рѣзко-отрицательно. Наи-

болѣе яркимъ проявленіемъ такого отношенія можно считать статью «Вѣстника Европы» подъ заглавиемъ «Письмо къ Редактору», подписанную «Житель Бутырской слободы». Называя нашу народную сказочную и пѣсенную поэзію, извѣстную тогда по печатнымъ обработкамъ и по сборнику былинъ Кирши Данилова, «болѣе жалкими, нежели смѣшными лепетаніями», авторъ статьи спрашивается: чего можно ждать, «когда наши поэты начинаютъ пародировать Киршу Данилова». Статья заканчивается сравненіемъ появленія «Руслана и Людмилы» въ нашей литературѣ съ появлениемъ въ Московскомъ Благородномъ Собраниі гостя съ бородою, въ армякѣ, въ лаптяхъ, который какъ-нибудь втерся бы туда и закричалъ бы зычнымъ голосомъ: «Здорово, ребята». Придерживаясь взглядовъ XVIII в. на критику, какъ руководительницу вкусовъ публики, которая должна подчиняться указаніямъ критики, Житель Бутырской слободы соѣтуетъ публикѣ «каждый разъ жмуриТЬ глаза при появленіи подобныхъ странностей».

Противники заимствованій изъ народной поэзіи потому такъ энергично возстали противъ пушкинской поэмы, что видѣли въ ней сказочный сюжетъ облеченный въ прекрасную форму живого, остроумнаго повѣствованія, съ красиво льющимся, легкимъ стихомъ въ духѣ Ариоста, которого Пушкинъ упоминаль еще въ лицейскомъ «Городкѣ» въ качествѣ литературнаго дѣда Вольтера. Вотъ эта игривость пушкинского изложенія, пересыпанного шутливыми отступленіями личнаго характера, эта свобода отъ какихъ бы то ни было литературныхъ правилъ—равно классическихъ и сентиментально-романтическихъ—плѣнила болѣе молодыхъ читателей Пушкина и утвердила за нимъ почетное имя «пѣвца Руслана и Людмилы», сохранившееся и тогда, когда Пушкинъ былъ уже авторомъ многихъ другихъ, несравненно болѣе зрѣлыхъ и совершенныхъ поэтическихъ произведеній. Индивидуальность Пушкина-поэта, въ самомъ дѣлѣ, проявилась очень ярко въ «Русланѣ и Людмилѣ», и въ сущности та же манера письма, въ гораздо болѣе широкихъ размѣрахъ, примѣнена была потомъ Пушкинъ въ одномъ изъ величайшихъ его произведеній—въ романѣ «Евгений Онѣгінъ».

Немало говорилось также по поводу «Руслана и Людмилы» о народности въ литературѣ. Приходится признать, что народности внутренней, состоящей, по выражению Гоголя, «не въ сарафанѣ, а

въ самомъ духѣ народа», въ способности писателя смотрѣть на по-  
вѣствуемыя событія глазами народа, Пушкинъ въ своей поэмѣ не  
достигъ. Да въ этомъ и нѣтъ ничего удивительного, такъ какъ на-  
рода поэты въ это время не знали, а поэзію народную знать почти  
исключительно по книжнымъ ея обработкамъ. Древне-русскій коло-  
ризъ, который Пушкинъ хотѣлъ придать произведенію, поэту  
также не удался; сказочные эпизоды, составляющіе содержаніе по-  
эмъ, могли бы случиться гдѣ и когда угодно, и только по именамъ  
лицъ и названіямъ мѣстностей мы узнаемъ, что дѣйствіе происхо-  
дить въ древней Руси. Слова пролога къ «Руслану и Людмилѣ», на-  
писаныаго въ 1828 г.: «Тамъ русскій духъ, тамъ Русью пахнетъ»—  
къ самой поэмѣ не приложимы.

Во всякомъ случаѣ первая поэма Пушкина не имѣла предше-  
ственницъ. «Душенька» Богдановича, которая могла до нѣкоторой  
степени вліять на Пушкина, рѣзко отличается по сюжету—класси-  
ческому, а не народному,—и успѣла уже устарѣть къ 1820 г. По-  
эмъ и баллады Жуковскаго носили иной характеръ и примыкали  
къ опредѣленной литературной школѣ, между тѣмъ какъ Пушкинъ  
оказался «самъ по себѣ».

### III.

#### На Югѣ

**Первая ссылка.** Въ апрѣль 1820 г. началось печатаніе «Руслана  
и Людмилы», но довести изданіе до выпуска въ свѣтъ Пушкину  
самому не удалось, такъ какъ вольнолюбивыя стихотворенія поэта  
обратили на себя вниманіе правительства и навлекли на Пушкина  
гнѣвъ императора Александра I. Правительство этого времени дѣй-  
ствовало въ томъ реакціонномъ направлѣніи, которое вообще пре-  
обладало въ государствахъ, входившихъ въ составъ «Священнаго Союза». Въ Россіи пользовалось покровительствомъ властей «Би-  
блейское Общество», во главѣ котораго стоялъ, между прочимъ,  
князь А. Н. Голицынъ, подвергшійся насмѣшкамъ со стороны  
Пушкина. Громадною властью обладалъ Аракчеевъ, не разъ же-  
стоко осмѣянный поэтомъ. Императоръ Александръ I, настроенный  
мистически, придавалъ очень большое значеніе, наравнѣ съ поли-  
тическимъ, также религіозному вольномыслю Пушкина, а это ре-

лигіозное вольномысліе можно было усмотрѣть въ цѣломъ рядъ стихотвореній, начиная еще съ лицейского времени, когда, какъ мы видѣли, эпикурейское настроеніе нерѣдко овладѣвало Пушкинымъ. Дѣятельность послѣдняго рѣзко, такимъ образомъ, расходилась съ тѣмъ направленіемъ философской и политической мысли, которому правительство сочувствовало и которое оно считало единственно допустимымъ. Гнѣвъ императора Александра на «неумчиваго» поэта былъ такъ силенъ, что первоначально предполагалось подвергнуть Пушкина весьма суровому наказанію, а именно ссылкѣ въ Сибирь или Соловецкій монастырь. Однако, заступничество друзей Пушкина, особенно Жуковскаго, а также директора Лицей Энгельгардта, привело къ тому, что поэта, считавшагося со времени окончанія лицейского курса на службѣ въ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ, рѣшено было перевести на службу въ канцелярію главнаго начальника колонистовъ южнаго края, находившуюся въ Екатеринославѣ.

5 мая 1820 г. Императоръ Александръ подписалъ приказъ о переводѣ Пушкина, 6 мая Пушкинъ выѣхалъ изъ Петербурга, а въ половинѣ мая былъ въ Екатеринославѣ. Здѣсь, однако, поэтъ пробылъ всего около двухъ недѣль; вскорѣ по прїездѣ въ Екатеринославъ Пушкинъ захворалъ горячкой, и больного нашла его въ этомъ городѣ семья извѣстнаго героя Отечественной войны генерала Раевскаго, съ сыновьями котораго Пушкинъ и ранѣе былъ знакомъ. Раевскіе уѣхали на Кавказскія минеральныя воды, и генералъ Инзовъ, начальникъ колонистовъ, въ канцелярію котораго былъ назначенъ поэтъ, отпустилъ съ ними и Пушкина. Эта поѣздка Пушкина продолжалась, въ общей сложности, 4 мѣсяца и имѣла для поэта очень большое значеніе.

Первые два мѣсяца поѣздки — іюнь и іюль — проведены на Кавказѣ; можно предполагать, что въ это именно время написана — во всякомъ случаѣ — начата Пушкинъ вторая его поэма — «Кавказскій Цлѣнникъ», появившаяся въ свѣтѣ лишь въ августѣ 1822 г. Затѣмъ, съ половины августа до половины сентября 1820 г. Пушкинъ живѣть съ Раевскими въ Крыму, причемъ проводить три недѣли въ Гурзуфѣ, въ имѣніи Раевскихъ. Объ этой поѣздкѣ съ Раевскими и особенно о жизни въ Гурзуфѣ Пушкинъ вспоминалъ потомъ съ восторгомъ. «Мой другъ», писалъ Пушкинъ брату въ

сентябрь, «счастливейшія минуты жизни моей провелъ я посреди семейства почтеннаго Раевскаго... Суди, былъ ли я счастливъ: свободная, беспечная жизнь въ кругу милаго семейства, жизнь, которую я такъ люблю и которой никогда не наслаждался—счастливое полуденное небо; прелестный край; природа, удовлетворяющая воображеніе; горы, сады, море; другъ мой, любимая моя надежда—увидѣть опять полуденный берегъ и семейство Раевскаго». Вернуться изъ поѣздки Пушкину пришлось уже не въ Екатеринославъ, а въ Кишиневъ, куда переведено было управлѣніе колоніями и канцелярія генерала Инзова. Въ Кишиневѣ, пользуясь время отъ времени отпусками для поѣздокъ то въ Одессу, то въ имѣніе Раевскихъ, Каменку, Киевской губерніи, прослужилъ Пушкинъ около трехъ лѣтъ до іюля 1823 г. Жизнь въ Кишиневѣ—«въ глухи Молдавіи», какъ выражался Пушкинъ, не удовлетворяла поэта: ему было скучно безъ друзей, безъ театра, безъ сколько-нибудь культурнаго общества; но начальникъ Пушкина, генералъ Инзовъ, понимая положеніе поэта, для котораго служба была только предлогомъ къ высылкѣ изъ столицы, не предъявлялъ къ нему никакихъ служебныхъ требованій и вообще относился съ большою мягкостью, чѣмъ и оставилъ благодарную память въ душѣ Пушкина. Живя въ Кишиневѣ, Пушкинъ, кроме многочисленныхъ лирическихъ стихотвореній, создалъ третью свою поэму «Бахчисарайскій фонтанъ», начатую лѣтомъ 1822 г. и оконченную черезъ годъ, и началь романъ «Евгений Онѣгинъ», первая глава котораго начата передъ концомъ Кишиневской жизни поэта. Лѣтомъ 1823 г. Пушкинъ хлопочетъ о переводѣ на службу въ Одессу, въ канцелярію Новороссійскаго генералъ-губернатора и полномочнаго намѣстника Бессарабской области графа Воронцова. Одесса привлекала поэта, какъ европейскій городъ, съ итальянской оперой, съ образованнымъ обществомъ и съ любимымъ Пушкинымъ Чернымъ моремъ. Ходатайство Пушкина было удовлетворено, и онъ сталъ чиновникомъ канцеляріи Одесскаго генералъ-губернатора. Въ Одессѣ въ концѣ 1823 или въ началѣ 1824 г. начата Пушкинъ четвертая поэма «Цыганы». Надежды поэта на то, что въ Одессѣ ему будетъ житься легче и пріятнѣе, чѣмъ въ Кишиневѣ, однако, не оправдались. Графъ Воронцовъ оказался гораздо болѣе требовательнымъ и строгимъ начальникомъ, чѣмъ Инзовъ; онъ хотѣлъ, чтобы Пушкинъ точно исполнялъ свои служебныя обя-

занности, между тѣмъ какъ поэтъ смотрѣлъ на свою службу, какъ на пустую формальность, а на получаемое жалованье, какъ на «пакъ ссыльчаго невольника». Начальникъ и подчиненный не поняли другъ друга и съ самаго начала не полюбили одинъ другого. Пушкинъ не удерживался отъ злыхъ эпиграммъ на графа Воронцова, доводившихся затѣмъ до свѣдѣнія послѣдняго, и черезъ годъ службы въ Одессѣ поэту, исключенному изъ службы, предписано было отправиться изъ Одессы въ село Михайловское, Псковской губерніи. Причины и обстоятельства этой «второй ссылки», постигшей Пушкина въ концѣ іюля 1824 г., будуть подробнѣе выяснены при переходѣ къ изложенію слѣдующаго, очень важнаго периода жизни поэта, теперь же надлежитъ обратиться къ ознакомленію съ тѣми, довольно многочисленными, произведеніями лирическаго и эпическаго характера, которыя написаны Пушкинымъ на югѣ (1820—1824 г.г.).

**Творчество Пушкина на Югѣ. Лирика.** Разбираясь, прежде всего, въ южной лирикѣ Пушкина, нужно указать, что среди стихотвореній этого периода есть произведенія высокаго художественнаго совершенства, чрезвычайно ярко выражающія чувства, настроенія и думы поэта, написанныя съ тонкимъ чувствомъ художественной мѣры и свидѣтельствующія о быстромъ созреваніи таланта Пушкина. Въ видѣ примѣровъ можно указать: «Демонъ», «Муза», «Наперсница волшебной страны», «Таврическая звѣзда» и мн. друг.

Настроенія, выраженные Пушкинымъ въ южной лирикѣ, очень разнообразны. Остановимся прежде всего на тѣхъ настроеніяхъ поэта, которыя часто называются «байроническими» и по поводу которыхъ обыкновенно ведется рѣчь о такъ называемомъ «байронизмѣ» Пушкина, и на примикающихъ сюда поэмахъ Пушкина. Первое же лирическое стихотвореніе Пушкина, написанное на югѣ, выражаетъ это именно настроеніе. Элегія «Погасло дневное свѣтило», написанная на кораблѣ, ночью, въ виду Гурзуфа, въ концѣ августа 1820 г., означена поэтомъ, какъ «подражаніе Байрону». Въ этомъ стихотвореніи, представляя себя добровольнымъ бѣглецомъ изъ родной страны, Пушкинъ говоритъ о разочарованіяхъ, постигшихъ его на родинѣ. Тамъ, по словамъ поэта, «рано въ буряхъ отцевъла его потерянная младость»; «легокрылая радость измѣнила ему и сердце хладное страданью предала». Вотъ эти-то «бури», предавшія

страданію и охладившія сердце поэта, и заставили его, по его словамъ, «бѣжать отеческихъ краевъ» и помчаться на корабль «по грозной прихоти обманчивыхъ морей» «къ предѣламъ дальнихъ».

Такое настроение разочарованного, охладѣвшаго сердцемъ добровольного изгнаника, «искателя новыхъ впечатлѣній», выражено также Пушкинымъ въ стихотвореніяхъ: «Я пережилъ свои желанья» (1821), «Желаніе» (1821), «Мой другъ, забыты мной» (1821), отчасти въ извѣстномъ стихотвореніи «Къ морю» (1824) и въ нѣкоторыхъ другихъ, а равно въ лирическихъ частяхъ поэмы «Кавказскій пленникъ» и въ поэмахъ «Братья-Разбойники», «Бахчисарайскій фонтанъ» и «Цыганы». Всѣ эти эпическія произведенія мы и должны будемъ разсмотрѣть въ связи съ указаннымъ настроениемъ, прежде чѣмъ переходить къ инымъ группамъ южныхъ лирическихъ стихотвореній.

Только что охарактеризованное настроение, какъ мы сказали выше, относятъ къ вліянію на Пушкина знаменитаго англійскаго поэта Байрона (1788—1824). Дѣйствительно, въ лирикѣ Байрона и въ настроеніяхъ героевъ его поэмъ, которые являются обыкновенно съ ярко выраженными чертами личности самого Байрона, можно часто видѣть много общаго съ настроениемъ, которымъ проникнуты перечисленныя стихотворенія Пушкина. Въ прощальной пѣснѣ, съ которой обращается къ родинѣ герой первой крупной поэмы Байрона, Чайльдъ-Гарольдъ, есть даже выраженія, близко напоминающія пушкинскую элегію 1820 года:

«Корабль, валы кругомъ шумятъ...  
Несися съ быстротой.  
Странѣ я всякой буду радъ,  
Но не странѣ родной».

(Перев. П. Козлова).

Такъ поетъ Чайльдъ-Гарольдъ. А у Пушкина читаемъ:

«Лети, корабль, неси меня къ предѣламъ дальнихъ.  
По грозной прихоти обманчивыхъ морей,  
Но только не къ берегамъ печальнымъ  
Туманной родины моей...»

Отмѣчая такое совпаденіе пушкинскихъ настроеній съ байроновскими, необходимо, однако, имѣть въ виду слѣдующія соображенія. Прежде всего, перечисленными выше стихотвореніями почти и исчерпываются «байроновскіе» мотивы южной лирики Пушкина; между тѣмъ, лирика эта чрезвычайно богата и разнообразна по выраженнымъ въ ней душевнымъ состояніямъ и размышеніямъ поэта, въ чемъ намъ предстоитъ убѣдиться. Во-вторыхъ, самъ Пушкинъ, повидимому, вполнѣ признавалъ, что настроеніе этихъ стихотвореній—затмствованное; мы видѣли, что самое характерное изъ этихъ стихотвореній онъ откровенно называлъ «подражаніемъ Байрону», указавъ этимъ на то, что «разочарованность», «охлажденность души», «добровольное скитальчество»—для него только красивая поза, что онъ не Гарольдъ, а «москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ», какъ онъ самъ впослѣдствіи называлъ своего Онѣгина. И, конечно, молодой, полный свѣжихъ, кипучихъ силъ, Пушкинъ менѣе всего могъ походить на разочарованного скиталяца съ «хладнымъ сердцемъ».

**«Кавказскій Плѣнникъ».** «Байронические мотивы» звучать, какъ сказано уже выше, и во второй пушкинской поэмѣ «Кавказскій Плѣнникъ». Поэма эта близко стоитъ къ лирическимъ произведеніямъ южного периода. Въ этомъ произведеніи Пушкинъ замышлялъ дать, по собственному позднѣйшему выраженію, «романтическую повѣсть», т. е. героиня поэмы, черкешенка, должна была представить собою образецъ глубокаго, ничѣмъ непобѣдимаго чувства любви, умирающаго только съ его носительницей. Самъ же плѣнникъ долженъ быть явиться воплощеніемъ другой стороны романтизма—поэзіи сильной личности, которой тѣсно и душно въ обычныхъ условіяхъ существованія и которая, охладѣвъ душой, «ищетъ новыхъ впечатлѣній»,—т. е. той стороны, выразителемъ которой, какъ мы видѣли, являлся Байронъ. И вотъ именно какъ «романтическая повѣсть», произведеніе, по собственному признанію Пушкина и по довольно единодушному мнѣнію критиковъ, оказалось неудачнымъ. Характеры дѣйствующихъ лицъ, особенно черкешенки, очерчены блѣдно; въ настроеніяхъ плѣнника есть бросающіяся въ глаза противорѣчія; такъ, онъ говоритъ черкешенкѣ: «Умерь я для счастья; надежды призракъ улетѣлъ; твой другъ отыскѣтъ отъ сладости, для нѣжныхъ чувствъ окаменѣлъ». А между тѣмъ нѣ-

сколькими строками ниже мы читаемъ, что плѣнникъ «передъ собою, какъ во снѣ», видить «вѣчно милый образъ» прежней своей подруги, «его зоветъ, къ нему стремится» и «тайный призракъ обнимаетъ»; все это не гармонируетъ, конечно, съ «окаменѣвшимъ» сердцемъ плѣнника. Если характеры дѣйствующихъ лицъ неудачны, а слѣдовательно и замыселъ «романтической повѣсти» не осуществленъ, то болѣе сильную сторону поэмы составляетъ часть описательная: изображеніе быта горцевъ, картинъ кавказской природы. Надо, впрочемъ, замѣтить, что природа Кавказа, рѣзкая, часто мрачная, менѣе давалась въ описаніяхъ Пушкину, чѣмъ природа Крыма, «сладостной Тавриды»; послѣдняя мягче, гармоничнѣе, какъ мягка и гармонична была душа самого поэта.

При всѣхъ указанныхъ недостаткахъ поэмы Пушкинъ, однако, любилъ ее и объяснялъ это тѣмъ, что «въ ней есть стихи его сердца». Что это за стихи,—понять не трудно; это именно рѣчь плѣнника къ черкешенкѣ, отчасти нами приведенная. Примыкая къ «байронической» лирикѣ Пушкина, эта рѣчь первоначально заключала въ себѣ еще 12 стиховъ, потомъ выброшенныхъ поэтомъ и обращенныхъ въ отдѣльное лирическое стихотвореніе. Уже одна возможность подобного «обращенія» указываетъ на лирическій характеръ самой поэмы. Охладѣвшій къ жизни поэтъ сравниваетъ себя съ запоздалымъ листомъ, который одинъ трепещетъ поздней осенью на обнаженной вѣткѣ.

**«Братья-Разбойники».** Разочаровываясь въ обществѣ, въ свѣтѣ, убѣждаясь въ пустотѣ, въ ненадежности большинства людей, въ ихъ неспособности къ глубокому и прочному чувству, Байронъ и его герои иногда любили указывать на то, что среди людей, выброшенныхъ изъ общества, отщепенцевъ, изгнаниковъ, можно открыть источники добрыхъ и глубокихъ чувствъ. Отсюда, какъ одна изъ чертъ поэзіи «протестующей личности», интересъ къ миру преступниковъ, къ психологіи убийцъ. Проявленіемъ этого интереса, между прочимъ, служитъ поэма Байрона «Шильонскій Узникъ», переведенная на русскій языкъ Жуковскимъ. Къ этому произведенію Байрона примыкаетъ поэма Пушкина, начатая въ концѣ 1821 г., въ цѣломъ видѣ поэтомъ, по его словамъ, уничтоженная и сохранившаяся лишь въ отрывкѣ, извѣстномъ подъ названіемъ «Братья-разбойники». Въ основу поэмы, по словамъ Пушкина въ одномъ

изъ писемъ къ князю П. А. Вяземскому, положено истинное происшествіе, свидѣтелемъ котораго Пушкину пришлось сдѣлаться въ бытность его въ Екатеринославѣ. Слѣдуетъ замѣтить, что байронический характеръ поэмы далеко не выдержанъ. Пушкинскіе герои, какъ и всегда это бывало, гораздо мягче байроновскихъ, и на поэмѣ можно даже замѣтить налѣтъ сентиментализма, совершенно Байрону не свойственаго. «Народность» и здѣсь не удалась Пушкину.

**«Бахчисарайскій фонтанъ».** Чтобы прійти къ окончательнымъ заключеніямъ о такъ называемомъ пушкинскомъ байронизмѣ, остается разсмотрѣть послѣднія двѣ изъ южныхъ поэмъ Пушкина— «Бахчисарайскій фонтанъ» и «Цыганы». Послѣднія изъ нихъ, правда, закончена поэтомъ уже въ слѣдующій періодъ его жизни, но по духу и содержанію не можетъ быть отдалена отъ южныхъ произведеній. Сюжетъ этой поэмы довольно близокъ къ сюжету «Кавказскаго Плѣнника».

Поэма «Бахчисарайскій Фонтанъ» воспроизводить преданіе о любви крымскаго хана Гирея къ польской княжнѣ Маріи Потоцкой, взятой Гиреемъ въ плѣнъ. Главнымъ героемъ поэмы является Гирей, грубую душу котораго смягчаетъ и очищаетъ любовь къ Маріи, являющейся воплощеніемъ нравственного идеала. Гибель Маріи, убитой изъ ревности прежнею подругой Гирея, Заремой, не даетъ душѣ Гирея очиститься и возвыситься вполнѣ; но свѣтлый образъ Маріи продолжаетъ жить въ душѣ Гирея, и воспоминаніе о ней заставляетъ иногда хана остановиться въ пылу съчи съ поднятой саблей, а иногда и залиться слезами. Изображая, такимъ образомъ, возвышающее дѣйствіе любви къ чистому существу на грубую душу, данная поэма врядъ ли можетъ быть признана «байронической» по замыслу, въ охарактеризованномъ выше смыслѣ слова; правда, чувство Гирея, который желѣлъ утопить убийцу Маріи, а самъ, томимый тоской, покинулъ дворецъ и искалъ успокоенія въ набѣгахъ и «буряхъ боевыхъ», очень сильно и жгуче; но такая сила и страсть чувства могутъ быть объяснены племенными свойствами Гирея. Зависимость Пушкина отъ Байрона можно было бы усмотреть въ картинахъ скитальческой жизни Гирея, забросившаго свой дворецъ подобно герою байроновской поэмы «Гяуръ» Гассану, при подобныхъ же обстоятельствахъ покинувшему домъ свой; надо, однако, замѣтить, что покинутый дворецъ Гассана описанъ у Байрона очень

подробно, между тѣмъ какъ у Пушкина находимъ лишь краткое упоминаніе объ отъездѣ Гирея, картинъ же запустѣнія его дворца и окрестностей Пушкинъ не рисуетъ. Слѣдуетъ прибавить, что, не представляя особыхъ достоинствъ въ смыслѣ психологическомъ (изображеніе Гирея казалось потомъ самому Пушкину мало жизненнымъ, а мѣстами даже смѣшнымъ), «Бахчисарайскій Фонтанъ» заключаетъ въ себѣ превосходныя описанія крымской природы, всегда любимой Пушкинымъ, и превосходныя лирическія отступленія. Особо надо обратить вниманіе на изображеніе ночи въ Бахчисарайѣ («Настала ночь; покрылись тѣнью Тавриды сладостной поля...») и на заключительныя строки поэмы («Поклонникъ музъ, поклонникъ мира...»). Въ этихъ частяхъ поэмы въ Пушкинѣ виденъ уже великий мастеръ слова.

«Цыганы». Герой поэмы «Цыганы» Алеко такъ же, какъ и кавказскій плѣнникъ, нарисованъ Пушкинъмъ въ видѣ изгнанника изъ общества. Правда, изгнаніе Алеко не совсѣмъ добровольно; мы узнаемъ отъ Земфиры, что «его преслѣдуетъ законъ»; но изъ дальнѣйшихъ рѣчей самого Алеко видно, что онъ доволенъ уходомъ своимъ изъ «неволи душныхъ городовъ». Алеко подробно излагаетъ Земфирѣ свои мысли о преимуществахъ жизни на лонѣ природы, среди простыхъ людей, надѣжностью городскою, въ образованномъ обществѣ. Протестъ Алеко противъ городовъ и городскихъ жителей основанъ, главнымъ образомъ, на томъ, что эти люди совершенно не соответствуютъ идеалу человѣка, сложившемуся у Алеко. Условія жизни въ городскомъ культурномъ обществѣ, по мнѣнію Алеко, дѣлаютъ людей мелкими и отвратительными; люди въ городахъ

«Любви стыдятся, мысли гонятъ,  
Торгуютъ волею своей,  
Главы предъ идолами клонять  
И просить денегъ да цѣпей».

Эти рѣчи Алеко, въ общемъ, соответствуютъ тому отношенію, которое Байронъ и его герои проявляли къ «толпѣ», къ людямъ, живущимъ въ обычныхъ, традиціонныхъ условіяхъ и понятіяхъ городского быта. Въ словахъ Алеко насып подкупаешь горячій протестъ противъ пошлыхъ сторонъ городской жизни, и на основаніи этихъ его словъ мы могли бы предполагать въ немъ сильную натуру, не

боящуюся проявить свои чувства, а вмѣстѣ съ тѣмъ, конечно, и нести нравственную отвѣтственность за это проявленіе: неподкупную, гордую и свободную. Если бы дальнѣйшимъ образомъ своихъ дѣйствій Алеко оправдалъ наши предположенія, то въ «Цыганахъ» мы имѣли бы единственную поэму Пушкина, проникнутую истинно-байроническимъ духомъ. Алеко оказывается, однако, бездушнымъ эгоистомъ, совершеннымъ дикаремъ: убѣдившись, что его подруга Земфира полюбила другого, онъ, этотъ проповѣдникъ свободнаго чувства, убиваетъ и Земфиру и своего соперника. Понятія Алеко о свободѣ, правахъ личности, несправедливо стѣсненной, по его мнѣнію, въ городскомъ быту, оказались неизмѣримо ниже понятій цыганъ; послѣдніе, устами старика-отца Земфиры, обличаютъ душевную мелкость и дикость Алеко и уходятъ, оставивъ его одного въ полѣ.

**Байронизмъ Пушкина.** Изъ всего того, что сказано нами о лирическихъ и эпическихъ произведеніяхъ Пушкина, въ которыхъ можно до нѣкоторой степени видѣть черты такъ называемаго «байронизма», вытекаетъ тотъ выводъ, что Пушкинъ ни разу не далъ изображенія героя или выраженія настроенія столь мощнаго, протестующаго и бичующаго «толпу», какъ мы это постоянно находимъ у Байрона. Совпаденіе пушкинскихъ и байроновскихъ настроеній было очень рѣдкимъ и далеко не полнымъ. Кромѣ того, необходимо имѣть въ виду, что разрывъ съ «городомъ» и «обществомъ», протестъ противъ стѣсняющихъ условій общежитія, требованіе простора для развитія отдѣльной личности и свободнаго проявленія ея стремлений—все это явилось въ европейской литературѣ, какъ известно, задолго до Байрона и связано отчасти съ проповѣдью Руссо, отчасти съ разочарованіемъ въ результатахъ французской революціи. В. В. Сиповскій, сопоставляя южныя поэмы Пушкина съ произведеніями Шатобріана, приходитъ къ выводу, что Пушкинъ слѣдовалъ скорѣе послѣднему, чѣмъ Байрону. Вообще всѣ южныя произведенія Пушкина, до сихъ поръ нами разсмотрѣнныя, отнюдь не даютъ права заключать, чтобы поэтъ серьезно подпадалъ вліянію Байрона, хотя и нужно признать въ настроеніяхъ, которыхъ выражены въ южныхъ поэмахъ Пушкина, немало общаго съ настроеніями раннихъ поэмъ Байрона («Чайльдъ-Гарольдъ», «Гляуръ», «Абидосская невѣста», «Корсарь»).

**Интересы Пушкина на югъ.** Обратимся къ инымъ мотивамъ южной лирики Пушкина. Выдѣлимъ прежде два стихотворенія, стоящія особнякомъ и выражаютія настроеніе, рѣдкое для Пушкина,—настроеніе безнадежно мрачное, даже озлобленное. Это «Демонъ» и «Свободы сѣятель пустынныій» (оба 1823 г.). Можетъ быть, первое изъ нихъ навѣяно бесѣдами со старшимъ сыномъ Раевскаго; во всякомъ случаѣ образъ демона, презирающаго вдохновеніе, не вѣрящаго любви и свободѣ и ничего во всей природѣ не хотящаго благословить—это образъ, чуждый душѣ и поэзіи Пушкина, хотя и нарисованный съ высокимъ совершенствомъ. Мысль второго стихотворенія—что народы подобны стадамъ, которымъ приличны лишь «ярмо съ гремушками да бичъ»—идетъ отъ стараго любимца и учителя Пушкина, Вольтера. Такое настроеніе также могло быть для Пушкина только минутнымъ.

Гораздо важнѣе отмѣтить стихотвореніе 1821 г. «Чаадаеву». Здѣсь поэтъ раскрываетъ свою душу передъ любимымъ другомъ. Въ своемъ бессарабскомъ уединеніи Пушкинъ, по его словамъ, «забылъ тревоги прежнихъ лѣтъ». Онъ сосредоточился на внутренней работѣ надъ самимъ собою; его умъ подружился съ порядкомъ, и «въ объятіяхъ свободы» поэтъ «ищетъ вознаградить мятеjной младостью утраченные годы и въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ». Мы имѣемъ, такимъ образомъ, цѣнное указаніе, что, сознавая проблемы въ своемъ образованіи, сознавая потерю нѣсколькихъ лѣтъ «мятеjной младости» для умственной работы, поэтъ съ 1821 г. принимается за работу для возмѣщенія этой потери. Слова Пушкина подтверждаются, во-первыхъ, цѣлымъ рядомъ другихъ лирическихъ стихотвореній этого периода, во-вторыхъ, нѣкоторыми эпическими. Изъ лирическихъ укажемъ: «Наполеонъ», «Къ Овидію», «Первое посланіе цензору». Всѣ эти стихотворенія свидѣтельствуютъ о быстромъ созрѣваніи мысли поэта. Отношеніе Пушкина къ Наполеону, выраженное въ стихотвореніи, написанномъ по случаю смерти послѣдняго, несравненно серьезнѣе и вдумчивѣе, чѣмъ за два года передъ тѣмъ, въ одѣ «Вольность»; тамъ Наполеонъ называется «самовластительнымъ злодѣемъ» и, какъ представитель «самовластия», возбуждаетъ въ поэта одну лишь жгучую ненависть,ничѣмъ не смягчаемую; теперь же Пушкинъ съ самаго начала называетъ Наполеона «великимъ человѣкомъ», а его могилу «велико-

лѣпной». Все стихотвореніе представляеть собою яркую поэтическую біографію Наполеона, заканчивающуюся полнымъ примиренiemъ Пушкина съ памятью завоевателя. Поэтъ понялъ великое значеніе Наполеона для Россіи и ея дальнѣйшаго развитія и говоритъ, что укоръ «развѣнчанной тѣни» полководца бытъ бы безуменъ передъ раскрытої могилой того, кто «русскому народу высокій жребій указалъ». Отмѣтимъ, вмѣстѣ съ серьезностью тона и глубиною мысли, рядъ мастерскихъ выраженій этого стихотворенія. Пушкинъ, вообще великій мастеръ эпитетовъ, далъ здѣсь превосходные образцы своего умѣнья сказать «многое въ немногомъ». Таковы выраженія: «надъ урной, гдѣ твой прахъ лежитъ, народовъ ненависть почила и лучъ бессмертія горить»; «въ свое погибельное счастье ты дерзкой вѣровалъ душой, тебя плѣняло самовластье разочарованной красой»; «великодушный пожаръ» (о пожарѣ Москвы); «искуплены его стяженія и зло воинственныхъ чудесъ». Очень серьезной исторической мыслью проникнуто стихотвореніе «Къ Овидію» (1821); «сосѣдство праха Овидіева» очень занимало Пушкина, побудило его вложить въ уста старого цыгана въ поэмъ «Цыганы» поэтический разсказъ объ Овидіи («межъ нами есть одно преданье») и наводило на сопоставленіе, впрочемъ неосновательное, своей участіи съ участіемъ изгнанаго римскаго поэта. Чрезвычайно цѣнны и глубоки мысли о просвѣщении и литературѣ, высказанныя въ «Первомъ посланіи цензору» (1822). Поэтъ не отрицаетъ необходимости цензуры и готовъ признать, что мы еще не доросли до свободы печати: «что нужно Лондону, то рано для Москвы». Но цензоръ, по словамъ поэта, долженъ быть «благоразуменъ, твердъ, свободенъ, справедливъ». Не въ мѣру же усерднаго цензора, зовущаго «сатиру — пасквилемъ, поэзію — развратомъ, гласъ правды — мятежемъ, Куницына — Маратомъ», Пушкинъ не безъ ядовитости приглашаетъ прочитать наказъ Екатерины. Рекомендуя цензору посмотрѣть, какъ много полезнаго произвела печать въ «дней Александровыхъ прекрасное начало», поэтъ выскаживаетъ твердое и благородное убѣжденіе, что «на поприщѣ ума нельзѧ намъ отступать».

Серьезныя занятія Пушкина, между прочимъ, касались и русской исторіи, заинтересовавшей поэта еще раньше, послѣ появленія первыхъ томовъ «Исторіи» Карамзина, жадно Пушкинъ прочитанныхъ. Результатомъ историческихъ изученій Пушкина, въ частно-

сти чтенія лѣтописей, явилась извѣстная баллада 1822 г. «Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ». Интересъ къ вопросамъ политическимъ выразился въ стихотвореніи 1821 г. «Кинжалъ» посвященномъ памяти нѣмецкаго студента Занда, казненнаго за убийство реакціоннаго писателя Коцебу, подозрѣвавшагося въ шпіонствѣ. Отмѣтимъ еще изъ южной лирики Пушкина два стихотворенія о поэзіи: «Муз» и «Наперница волшебной старины». Въ обоихъ поэти въ красивыхъ образахъ рисуетъ поэзію, какъ даръ боговъ. Во второмъ изъ указанныхъ стихотвореній Пушкинъ отмѣчаетъ перемѣну, происшедшую въ его поэзіи, когда «привѣтный взоръ музы блеснулъ огнемъ». Можно видѣть здѣсь указаніе на новые мотивы, явившіеся въ творчествѣ поэта въ Петербургѣ и на Югѣ.

Мы убѣдились въ богатствѣ душевной жизни Пушкина въ южный періодъ. Пушкинъ самъ сознавалъ, что много двинулся впередъ за эти четыре года, и съ грустью простился съ любимымъ югомъ пре-восходной элегіей «Къ морю». Въ ней поэтъ говоритъ о томъ, что, живя на берегу Чернаго моря, онъ замышлялъ «поэтическій побѣгъ» «по его хребтамъ». «Могучая страсть» приковала, однако, поэта къ «скучному неподвижному берегу». Да и некуда, по мнѣнію Пушкина, «устремлять свой бѣгъ» по океану. Одна только «гробница славы»— могила Наполеона — «поразила бы душу» поэта. Вспомнивъ Наполеона, Пушкинъ къ его имени присоединяется имя другого генія, только что умчавшагося отъ людей,—Байрона, явившагося вмѣстѣ съ Наполеономъ «властителемъ думъ» европейскаго человѣчества. Превосходна характеристика Байрона, «могучаго, глубокаго и мрачнаго», какъ океантъ. Прощаюсь съ моремъ, Пушкинъ обѣщаетъ перенести «въ лѣса, въ пустыни молчаливы» память о «свободной стихіи» и ея величавой красѣ.

**Вторая ссылка.** Мы уже видѣли, что Пушкинъ въ Одессы не удерживался отъ злыхъ насмѣшекъ надъ своимъ начальникомъ, гр. Воронцовымъ, и смотрѣль, кромѣ того, на свою службу совершенно иначе, чѣмъ гр. Воронцовъ. Это порождало частыя недоразумѣнія между ними; къ этому присоединились иные, личнаго характера, причины, побуждавшія Воронцова желать удаленія Пушкина изъ Одессы. Лѣтомъ 1824 г. гр. Воронцовъ обратился къ министру иностранныхъ дѣлъ съ обширнымъ письмомъ, въ которомъ указывалъ, что для поэтическаго таланта Пушкина гораздо благо-

пріятнѣе было бы пребываніе молодого поэта подальше отъ шумной и увлекающейся публики, которой въ Одессѣ, какъ курортѣ, очень много, и которая кружитъ голову Пушкину, провозглашая его великимъ поэтомъ, между тѣмъ какъ онъ только «слабый подражатель писателя, въ пользу которого можно сказать очень мало». «Ежели Пушкинъ будетъ жить въ другой губерніи, онъ найдеть болѣе по-опрітелей къ занятіямъ и избѣжитъ здѣшняго опаснаго общества». Намекая на то политическое броженіе, которое происходило среди части русской молодежи и привело черезъ полтора года къ движению декабристовъ и которое въ значительной мѣрѣ сосредоточивалось на югѣ, Воронцовъ полагалъ весьма желательнымъ перевести поэта въ одну изъ внутреннихъ губерній Россіи.

Одновременно съ получениемъ въ Петербургѣ письма гр. Воронцова, въ которомъ онъ выражалъ изложенные пожеланія, правительству стало извѣстно одно изъ писемъ самого Пушкина съ сообщеніемъ поэта, что онъ въ Одессѣ «береть уроки чистаго аеизма» и находитъ эту неутѣшительную систему весьма правдоподобной. Мы знаемъ, какое большое значеніе придавалъ императоръ Александръ такого рода вопросамъ. Нѣть ничего удивительного, что приведенная фраза, вмѣстѣ съ письмомъ Воронцова, убѣдила его въ томъ, что «легкомысленный» поэтъ упорно не исправляется. 8 июля 1824 г. послѣдовало Высочайшее повелѣніе объ увольненіи Пушкина отъ службы, а 11 июля гр. Нессельроде увѣдомилъ въ своемъ письмѣ гр. Воронцова, что Государь «въ видахъ законнаго наказанія, приказалъ исключить Пушкина изъ списковъ чиновниковъ министерства иностранныхъ дѣлъ за дурное поведеніе». При этомъ было прибавлено, что Пушкинъ удаляется «въ имѣніе родителей, въ Псковскую губернію, подъ надзоръ мѣстнаго начальства». 29 июля поэтъ далъ подписку, что обязуется вѣхать безостановочно по предписанному маршруту во Псковъ, 30 июля, получивъ про-гонныя деньги, выѣхалъ изъ Одессы, а 9 августа прибылъ въ село Михайловское, гдѣ засталъ своихъ родителей. Начался новый періодъ жизни поэта, продолжавшійся два года и имѣвшій громадное значеніе въ дѣлѣ развитія ума, характера и таланта великаго поэта.

## IV.

## Въ Михайловскомъ.

**Пушкинъ въ Михайловскомъ.** Въ Михайловское Пушкинъ пріѣхалъ изъ Одессы въ очень тяжеломъ душевномъ состояніи; вспоминая впослѣдствіи этотъ пріѣздъ, онъ называетъ себя «усталымъ пришельцемъ» и говоритъ, что «быть ожесточенъ». Отецъ поэта, испуганный карой, постигшей сына, и даже опасавшійся распространенія гнѣва правительства чуть ли не на всю семью, согласился слѣдить за перепиской сына и содѣйствовать такимъ образомъ властью въ надзорѣ за поэтомъ. Это привело къ ряду столкновеній между поэтомъ и его отцомъ, столкновеній, иногда очень тяжелыхъ. Изъ писемъ Пушкина петербургскимъ друзьямъ, особенно Жуковскому, видно, что поэтъ минутами приходилъ почти въ полное отчаяніе и начиналъ жадно стремиться къ тому, чтобы вырваться изъ родительского дома. Такъ продолжалось три мѣсяца; въ ноябрѣ отецъ Пушкина уѣхалъ въ Петербургъ, письмомъ оттуда отказался отъ дальнѣйшаго наблюденія за поведеніемъ сына, а затѣмъ выписалъ изъ Михайловскаго жену и дочь (младшій сынъ уѣхалъ раньше), и такимъ образомъ со второй половины ноября 1824 г. Пушкинъ остался въ Михайловскомъ вдвоемъ съ няней. Съ самаго начала пребыванія въ Михайловскомъ поэтъ взялся за продолженіе той работы надъ собою, того пополненія знаній и расширенія умственного своего кругозора, которая составляли, какъ мы уже знаемъ, предметъ усердныхъ трудовъ Пушкина на югѣ.

Описывая свои занятія въ письмѣ къ брату отъ конца октября 1824 г., Пушкинъ говоритъ, что до обѣда пишетъ записки, послѣ обѣдаѣзжаетъ верхомъ, а вечеромъ слушаетъ сказки, восполняя тѣмъ «недостатки проклятаго своего воспитанія». Этими народными сказками, которая сообщала ему Арина Родіоновна, поэтъ восхищается и называетъ «каждую поэмой». Письмо къ брату заканчивается просьбой прислать «историческое, сухое извѣстіе о Стенькѣ Разинѣ, единственномъ поэтическомъ лицѣ русской исторіи». Послѣдняя, какъ видимъ, продолжала быть предметомъ занятій и размышлений Пушкина.

Внѣшняя жизнь поэта въ Михайловскомъ протекала, со времени отѣзда оттуда семьи, тихо и однообразно, прерываемая только довольно частыми поѣздками въ сосѣднее помѣстье Тригорское, которое принадлежало Прасковьѣ Александровнѣ Осиповой, имѣвшей двухъ дочерей и сына отъ первого брака—Анну Николаевну, Евпраксію Николаевну и Алексѣя Николаевича Вульфъ; послѣдній былъ въ то время студентомъ Дерптскаго университета. Съ этимъ семействомъ Пушкинъ подружился и въ его средѣ отчасти вознаграждалъ себя за отсутствіе тихой семейной жизни, которой быть лишенъ съ дѣтства и которую, поэтому, такъ оцѣнилъ, какъ мы видѣли, проживъ три недѣли въ Гурзуфѣ у Раевскихъ. Важнымъ событиемъ для Пушкина былъ прїездъ въ Михайловское двухъ ближайшихъ его лицейскихъ друзей: Дельвига и Пущина. Тяжелую сторону жизни Пушкина въ Михайловскомъ, особенно до декабря 1825 г., составляла полная неопредѣленность положенія и неизвѣстность срока, до котораго придется быть въ уединеніи поэту, всегда любившему людей и жадно ловившему впечатлѣнія жизни. Эта неизвѣстность по временамъ сильно мучила поэта, почти доводила его до отчаянія.

Что касается внутренней жизни Пушкина въ Михайловскомъ, то интересы поэта все расширялись и углублялись. Много читая, прося друзей о присылкѣ все новыхъ книгъ, Пушкинъ, наряду съ русской исторіей, усердно занимался изученіемъ иностраннныхъ литературъ, особенно англійской, которую зналъ меныше, чѣмъ французскую и древнія, съ дѣтства отлично ему знакомыя. По письмамъ Пушкина можно установить особенный его интересъ къ произведеніямъ Шекспира и Вальтеръ-Скота. Первый изъ нихъ, какъ мы увидимъ, сильно повліялъ и на собственное творчество Пушкина въ этотъ періодъ. Говоря о занятіяхъ Пушкина въ Михайловскомъ, надо также указать на усилившійся интересъ поэта къ русскому народно-поэтическому творчеству. Мы видѣли, какъ высоко оцѣнилъ Пушкинъ народныя сказки. Поэтъ собралъ тетрадь пѣсень народныхъ, переданную имъ собирателю произведеній народной поэзіи П. В. Кирѣевскому и вошедшую въ сборникъ послѣдняго. Эти занятія, какъ увидимъ, также повліяли на творчество самого поэта. Развитіе критического таланта Пушкина сказалось въ замѣчательномъ отзывѣ поэта о «Горѣ отъ ума» Грибоѣдова. Эту комедію,

ходившую тогда по рукамъ въ рукописи, прочелъ Пушкину въ январѣ 1825 г. Пущинъ, и въ письмахъ своихъ къ кн. Вяземскому и Бестужеву отъ конца января Пушкинъ высказываетъ свои впечатлѣнія отъ произведенія, прослушанного одинъ разъ и притомъ, по заявлѣнію Пушкина, не съ тѣмъ вниманіемъ, котораго оно достойно. Находя сильнѣйшей стороной комедіи Грибоѣдова «рѣзкую картину нравовъ», поэтъ восхищается Фамусовымъ, Скалозубомъ, сценами бала, Загорѣцкимъ; все это, по его словамъ, «черты истинно комического генія». Переходя затѣмъ къ Чацкому, Пушкинъ характеризуетъ его, какъ «пылкаго, благороднаго и доброго малаго, прошедшаго нѣсколько времени съ очень умнымъ человѣкомъ (именно съ Грибоѣдовымъ) и напитавшагося его мыслями, остротами и сатирическими замѣчаніями». Роль Чацкаго, какъ «идеального лица» въ духѣ комедіи XVIII вѣка, какъ до извѣстной степени, резонера, выразителя авторскаго міросозерцанія, стала, какъ видимъ, ясна Пушкину послѣ однократнаго и притомъ не достаточно внимательнаго ознакомленія съ комедіей. Находя рѣчи Чацкаго умными, Пушкинъ, однако, полагаетъ, что обращаться съ этими рѣчами къ Скалозубу, московскимъ бабушкамъ и тому подобнымъ лицамъ—непростительно, такъ какъ «первый признакъ умнаго человѣка—съ первого взгляда знать, съ кѣмъ имѣешь дѣло». Хотя пушкинская оцѣнка Чацкаго, развитая позднѣе Бѣлинскимъ, страдаетъ односторонностью, и для правильнаго сужденія о Чацкомъ необходимо считаться со взглядами, высказанными Гончаровымъ въ его статьѣ «Милліонъ терзаній», тѣмъ не менѣе нельзя не признать, что въ указаніяхъ Пушкина на достоинства и недостатки «Горя отъ ума» много вѣрнаго и точнаго. Можно изумляться критической прозорливости великаго поэта.

Обширныя занятія Пушкина за время жизни въ Михайловскомъ, его широкіе общечеловѣческіе интересы, его думы, чувства и настроенія, то мрачныя, то бодрыя, отразились въ богатой лирикѣ этого періода, главнѣйшіе мотивы которой мы сейчасъ и выяснимъ.

**Лирика Михайловскаго періода.** Остановимся, прежде всего, на стихотвореніяхъ, въ которыхъ выражались тогдашнія думы Пушкина о поэзии. Мы видѣли, какъ рано этотъ вопросъ сталъ занимать Пушкина. Въ лицейскомъ стихотвореніи «Къ другу стихотворцу», затѣмъ на югѣ въ стихотвореніяхъ «Муза» и «Наперсница волшеб-

ной старины» находимъ серьезный взглядъ на поэзію, какъ на даръ боговъ и на важное отвѣтственное дѣло. Въ указанныхъ стихотвореніяхъ, однако, поэта еще не волнуетъ вопросъ о томъ, какое положеніе занимаетъ носитель этого божественнаго дара среди другихъ людей. Рѣшай вопросъ объ источникѣ поэтическаго вдохновенія, Пушкинъ еще не задумывается надъ судьбою произведеній поэта, надъ вопросомъ о сущности отношеній между поэтомъ и воспринимателями и цѣнителями его созданій. Этотъ тревожный вопросъ стоитъ уже передъ Пушкинымъ въ стихотвореніи 1824 г. «Разговоръ книгопродаца съ поэтомъ». Здѣсь Пушкинъ сразу опредѣленно противопоставляетъ поэта, какъ избранника небесъ, толпѣ обыкновенныхъ людей. Эти обыкновенные люди, по мнѣнію поэта, изображенаго въ стихотвореніи, не умѣютъ понять и оцѣнить вдохновенія художника; продавать свои произведенія—значить для поэта «унижать постыднымъ торгомъ сладостные дары Музы». Дорожка одной только свободой, поэтъ долженъ «про себя таить души высокія созданья». Выпуская въ свѣтъ плоды своего творчества, онъ унижаетъ свое вдохновеніе, профанируетъ высокія минуты творческаго восторга, глубоко-индивидуального по самой своей сущности. Книгопродаецъ указываетъ, однако, поэту, что такой строго-индивидуальный характеръ произведеніе художника носить лишь до тѣхъ поръ, пока не отлилось въ окончательную, опредѣленную форму, «пока на пламени труда кипитъ, бурлить воображеніе»; когда же трудъ оконченъ, когда «вдохновеніе» облеклось въ форму «рукописи», тогда поэтъ, нисколько не оскорбляя своего высокаго дара, можетъ съ чистою совѣстью продать свою рукопись. Читатели раскупятъ ее, и каждый, конечно, восприметь мысли и чувства поэта въ мѣру своего собственнаго разумѣнія. Поэтъ убѣждается доводами книгопродаца и предлагаетъ послѣднему заключить съ нимъ условіе. Мы видимъ, что въ этомъ стихотвореніи уже намѣчаются мысль о необходимости для поэта прежде всего духовной свободы. Величайшимъ униженіемъ для художника было бы приспособленіе ко вкусамъ и требованіямъ читателей; это дѣйствительно значило бы «продавать вдохновеніе» и насиливать свое внутреннее «я». Поэтъ въ своемъ трудѣ менѣе всего долженъ думать о впечатлѣніи, которое этотъ трудъ произведетъ, и объ оцѣнкѣ, которую онъ встрѣтитъ.

Наряду со стихотворением «Разговоръ книгопродаца съ поэтомъ» слѣдуетъ тутъ же указать на знаменитое стихотвореніе «Пророкъ», имѣющее нѣкоторое отношеніе ко взглядамъ Пушкина на поэтическое творчество. Сюжетъ «Пророка» заимствованъ изъ Библіи, и стихотвореніе представляется собою поэтическую обработку одного мѣста изъ 6-й главы пророка Исаии. Но трудно сомнѣваться, что рисуя свой величавый образъ перерожденного дарами серафима человѣка, Пушкинъ имѣлъ въ виду, между прочимъ, и поэта. Мы видимъ, такимъ образомъ, что возвышенный взглядъ Пушкина на поэта и его дѣятельность продолжаетъ выражаться и въ произведеніяхъ Михайловскаго периода, становится глубже и осложняется размышеніями о судьбѣ поэта въ обществѣ. Стихотвореніе «Пророкъ», иллюстрируя мысли Пушкина о поэзіи, имѣть для нась и другое важное значеніе: оно указываетъ на внимательное чтеніе Пушкинскимъ Библіи. Релігіи интересовали Пушкина въ это время столь же сильно, какъ и вопросы историческіе и литературные, и это подтверждается превосходными пушкинскими «Подражаніями Корану», написанными въ 1824 г. Здѣсь поэтъ переносить нась въ атмосферу восточныхъ религіозныхъ чувствъ и вѣрованій. Укажемъ отдельно IX-й отрывокъ: «И путникъ усталый на Бога ропталъ», являющійся образцомъ лермонтовскихъ «Трехъ пальмъ» и по обстановкѣ разсказа, и по тону, и по размѣру.

Изъ остальныхъ лирическихъ стихотвореній, написанныхъ въ Михайловскомъ, важно отмѣтить «Второе посланіе къ цензору», выражающее радость Пушкина по тому поводу, что съ назначеніемъ министромъ народнаго просвѣщенія А. С. Шишкова нѣсколько смягчились крайности цензурныхъ строгостей и уменьшились придирки къ словамъ, напр., красоту можно было называть «божественной», «чудесной», не боясь обвиненія въ оскорблении Божества. Стихотвореніе заканчивается призывомъ къ цензору — не заграждать безъ надобности пути «скромной истинѣ, мирному уму и даже глупости невинной и довольной». Въ стихотвореніи «Андрей Шенье» (1825) Пушкинъ вызываетъ тѣнь одного изъ любимыхъ своихъ французскихъ поэтовъ. Шенье, пѣвецъ свободы, погибъ на плахѣ во время французской революціи по приказу Робеспіера, одного изъ тѣхъ, кто сами считали себя защитниками вольности, а между тѣмъ обращались, по выражению Пушкина, въ «палачей самодержавныхъ».

Трагизмъ судьбы Шенье усиливается еще тѣмъ, что на другой день послѣ него казненъ былъ виновникъ его гибели, такъ что одинъ день могъ бы спасти поэта:

«День только, день одинъ:  
И казней нѣть, и всѣмъ свободы,  
И живъ великий гражданинъ  
Среди великаго народа!».

Изъ стихотвореній, выражавшихъ чисто-личные чувства поэта, необходимо отмѣтить: «Сожженное письмо», «Къ А. П. Кернъ» (Я помню чудное мгновенье), «19 октября 1825 г.». Почетное мѣсто въ Пушкинской лирикѣ принадлежитъ вдохновенной «Вакхической пѣснѣ» (1825 г.), прекрасно выразившей вѣру Пушкина въ «бессмертное солнце ума» и горячую любовь къ «музамъ». Къ этому же періоду относятся два общеизвѣстныхъ стихотворенія: «Зимній вечеръ» (1825 г.) и «Зимняя дорога» (1826).

**«Борисъ Годуновъ».** Перейдемъ къ крупнымъ эпическимъ и драматическимъ произведениямъ Пушкина, созданнымъ въ Михайловскомъ. Откладывая разборъ «Евгения Онѣгина» до того времени, когда будемъ характеризовать творчество Пушкина въ эпоху завершенія этого романа, остановимся на центральномъ произведении Михайловского періода, на одномъ изъ любимыхъ поэтическихъ дѣтищъ Пушкина—трагедіи «Борисъ Годуновъ». Мы уже знаемъ, что живой интересъ къ русской исторіи, проявленный Пушкинымъ еще въ彼得бургское трехлѣтіе его жизни, продолжалъ обнаруживаться и на Югѣ. Въ Михайловскомъ этотъ интересъ еще углубился. Царствованіе Бориса Годунова казалось поэту одною изъ самыхъ драматическихъ эпохъ нашей исторіи. При характеристикѣ исторической трагедіи Пушкина нерѣдко указываютъ на слова самого поэта о томъ, что онъ «слѣдовалъ Карамзину въ развитіи происшествій». Такое заявленіе Пушкина, вмѣстѣ съ тѣмъ фактомъ, что драма «Борисъ Годуновъ» посвящена авторомъ «драгоценной для россиянъ памяти Николая Михайловича Карамзина», приводило иногда къ предположеніямъ, что Пушкинъ былъ мало самостоятеленъ въ исторической сторонѣ своего произведенія, и что судьба Бориса понята поэтомъ всепрѣдъ подъ вліяніемъ Карамзина. Академикъ Ждановъ указалъ,

однако, что въ трагедії Пушкина обнаруживается знакомство великаго поэта со многими иными историческими сочиненіями, помимо «Исторії» Карамзина. Таковы: VII томъ «Исторії Российской» Щербатова, Сказаніе Авраамія Палицына и др. Сравнивая пониманіе судьбы Годунова и причинъ его гибели у Карамзина и у Пушкина, Ждановъ находитъ здѣсь глубокое различіе, указывающее на самостоятельное отношение поэта къ этимъ вопросамъ. Что касается посвященія «Бориса Годунова» памяти Карамзина, то одно изъ писемъ Пушкина къ Плетневу, профессору русской словесности и потомъ ректору С.-Петербургскаго университета, одному изъ близкихъ друзей поэта и издателю многихъ его сочиненій, содержитъ въ себѣ сообщеніе о томъ, что первоначально Пушкинъ хотѣлъ посвятить «Бориса Годунова» Жуковскому, но дочери Карамзина просили Пушкина посвятить свой трудъ памяти знаменитаго историка.

Указавъ на нѣкоторое «слѣдованіе Карамзину» въ фактической сторонѣ своего произведенія, Пушкинъ говоритъ затѣмъ, что «въ лѣтописяхъ старался угадать образъ мыслей и языка тогдашняго времени», а «Шекспиру подражалъ въ его вольномъ и широкомъ изображеніи характеровъ». Съ этими двумя вліяніями и придется ознакомиться при разборѣ трагедії Пушкина.

**Борисъ.** Въ центрѣ трагедії стоитъ личность Бориса Годунова, душевная жизнь которого составляетъ главный интересъ произведенія. При характеристицѣ пушкинского Бориса слѣдуетъ, однако, имѣть въ виду, что, хотя поэтъ и заявлялъ о томъ, что слѣдовалъ Шекспиру «въ вольномъ и широкомъ изображеніи характеровъ», но характеръ Бориса нарисованъ въ довольно узкихъ рамкахъ послѣдняго периода царствованія Бориса. Послѣ шести небольшихъ сценъ, носящихъ вступительный характеръ и не раскрывающихъ почти вовсе душевной жизни Годунова, Пушкинъ въ седьмой сценѣ: «Царскія палаты», въ знаменитомъ монологѣ: «Достигъ я высшей власти» изображаетъ Бориса уже въ разгарѣ того тяжелаго душевнаго процесса, который, постепенно усиливаясь, доводитъ царя до гибели. Такимъ образомъ, ознакомленіе наше съ главнымъ героемъ трагедії сосредоточено на короткомъ промежуткѣ времени, когда душевныя силы героя напряжены до крайней степени. Уже въ указанномъ монологѣ Борисъ говоритъ о «кровавыхъ мальчикахъ», которые у него «въ глазахъ», и вообще о полномъ потрясеніи своего душевнаго міра.

Того, вѣроятно, долгаго и сложнаго душевнаго процесса, который привель Бориса въ это тяжелое состояніе, Пушкинъ не рисуетъ. Въ этомъ отношеніи поэтъ примыкаеть скорѣе къ французской классической школѣ, которая изображала героя именно въ моментъ исключительнаго напряженія его душевныхъ силъ, изображала заключительный періодъ долгаго душевнаго процесса.

Угнетаемый сознаніемъ, что между нимъ и народомъ нѣть единенія, что надъ нимъ тяготѣть какое-то проклятие, которое не даетъ ему выполнить самыхъ благихъ своихъ намѣреній, Борисъ, однако, въ первыхъ сценахъ трагедіи еще владѣеть собою. Объ этомъ свидѣтельствуетъ извѣстная сцена: «Царскія палаты», въ началѣ которой изображаются учебныя занятія царевича Федора. Борисъ, разсматривая географическую карту, говорить о необходимости просвѣщенія, особенно для будущаго царя; отношение Бориса къ дѣтямъ, ласковое и разумное, показываетъ, что царь умѣеть заглушать тѣ муки совѣсти, о которыхъ онъ говорилъ въ седьмой сценѣ. Но является Шуйскій съ извѣстіями о Самозванцѣ,—и спокойствіе покидаетъ Бориса, и намъ становится ясно, какъ дорого давалось ему это спокойствіе. За минуту передъ тѣмъ властно и внушительно заявлявшій Шуйскому, что «царевичъ можетъ знать, что вѣдаеть князь Шуйскій»,—Борисъ при первомъ упоминаніи Шуйскимъ имени Дмитрія взволнованно восклицаетъ: «Царевичъ, удались». Несмотря на свое самообладаніе, Годуновъ обнаруживаетъ признаки глубокаго душевнаго потрясенія, и такое отношение Бориса къ имени Дмитрія совершенно согласуется съ тѣмъ душевнымъ состояніемъ, которое проявлено Годуновымъ въ извѣстномъ уже намъ монологѣ: «Достигъ я высшей власти». Вѣдь Дмитрій это и есть тотъ «кровавый мальчикъ», образомъ котораго навѣки отравлена душа Бориса. Смѣтенный извѣстіями Шуйскаго, Борисъ сразу же обнаруживаетъ тотъ страхъ предъ надвигающейся карой за преступленіе, который затѣмъ становится характерной чертой отношенія Бориса къ Самозванцу. Слова Бориса свидѣтельствуютъ о сильной его растерянности.

«Послушай, князь: взять мѣры сей же часъ,  
Чтобъ отъ Литвы Россія оградилась  
Заставами; чтобъ ни одна душа  
Не перешла за эту грань; чтобъ заяцъ

Не прибѣжалъ изъ Польши къ намъ; чтобъ воронъ  
Не прилетѣлъ изъ Krakова».

Не довольствуясь этими строгими распоряженіями, Борисъ настойчиво требуетъ, чтобъ Шуйскій смѣялся «затѣйливой» вѣсти о томъ, что мертвые выходятъ изъ гроба.

«Допрашивать царей, царей законныхъ,  
Назначенныхъ, избранныхъ всенародно,  
Увѣнчанныхъ великимъ патрархомъ».

Наконецъ, Шуйскій долженъ торжественно поклясться, что видѣлъ въ Угличѣ мертваго царевича Дмитрія; за ложь его ждеть «такая казнь, что царь Иванъ Васильевичъ отъ ужаса во гробѣ содрогнется». Мы видимъ, какая буря проносится въ измученной душѣ Бориса при упоминаніи о Дмитріи. По уходѣ Шуйскаго царь говоритъ, что на него возстало «пустое имя, тѣнь». «Ужели», прибавляетъ онъ, «тѣнь сорветъ съ меня порфиру, иль звукъ лишить дѣтей моихъ наслѣдства»? Въ этой сценѣ ключъ къ пониманію всего дальнѣйшаго хода душевной жизни Бориса. Очевидно, что въ Самозванцѣ онъ видитъ предъ собою не простого бѣлага монаха, «вора» и мяteжника, а нѣкоторый призракъ, тѣнь убитаго Дмитрія. И если съ чисто военной точки зрѣнія Самозванецъ, какъ непріятель,ничтоженъ, такъ какъ у него нѣть большого и хорошаго обученнаго войска, то для Бориса, очевидно, этотъ врагъ силенъ другимъ могуществомъ—какъ мститель за убитаго младенца. Не удивительно, при такихъ условіяхъ, что енергія Бориса въ борьбѣ съ Лжедмитріемъ быстро падаетъ. По пушкинскому изображенію, успѣху Самозванца, помимо установленныхъ исторіей причинъ, а именно содѣйствія полѣковъ, многихъ московскихъ бояръ и вообще людей, которымъ сверженіе Бориса было выгодно и желательно,—помогла именно растерянность Бориса, его ужасъ передъ карой за преступленіе. Пушкинъ не изображаетъ подробно дальнѣйшаго душевнаго процесса, происходящаго въ Годуновѣ, а послѣ небольшой сцены въ царской думѣ прямо рисуетъ намъ заключительный моментъ въ исторіи Годунова—сцену разговора съ Басмановымъ, а затѣмъ смерти царя. Умирая, Борисъ овладѣваетъ собою и въ предсмертномъ монологѣ,

обращенномъ къ сыну, проявляетъ лучшія стороны своей личности: любовь къ Россіи и здравый государственный умъ.

**Самозванецъ.** Выше было указано, что Борисъ Годуновъ—главное лицо трагедіи. Тѣмъ не менѣе, количественно сцены, въ которыхъ онъ принимаетъ участіе, и его собственные монологи занимаютъ въ драмѣ вовсе не господствующее положеніе. Много мѣста посвящено Пушкинъмъ подробному изображенію другого дѣйствующаго лица—Григорія Отрепьевъ, впослѣдствіи Лжедмитрія. Ознакомившись съ этимъ лицомъ, мы ясно увидимъ, что его характеръ бросается яркій свѣтъ и на душевную жизнь Годунова, и на весь ходъ дѣйствія трагедіи. Первая сцена, гдѣ является передъ нами будущій Самозванецъ,—это знаменитая сцена въ кельѣ Чудова монастыря. Просыпаясь, Григорій передаетъ своему наставнику — лѣтописцу Пимену—сонъ, три раза ему приснившійся:

«Мнѣ снился, что лѣстница крутая  
Меня вела на башню; съ высоты  
Мнѣ видѣлась Москва, что муравейникъ;  
Внизу народъ на площади кипѣлъ  
И на меня указывалъ со смѣхомъ;  
И стыдно мнѣ и страшно становилось—  
И падая стремглавъ, я пробуждался....  
И три раза мнѣ снился тотъ же сонъ».

Мы видимъ, что молодого монаха посѣщають видѣнія, свидѣтельствующія о томъ, что мятеожный духъ его не мирится со скромнымъ и подчиненнымъ положеніемъ «бѣднаго инока, отъ отроческихъ лѣтъ скитающагося по кельямъ». Такое заключеніе вполнѣ подтверждается тѣми словами Григорія, въ которыхъ онъ выражаетъ свою зависть къ Пимену, выдавшему въ молодости и придворные праздники и воинскія потѣхи. «Зачѣмъ и мнѣ?», прибавляеть Григорій, «не тѣшиться въ бояхъ, не пировать за царскою трапезой?». Указаніе Пимена на то, что царевичъ Дмитрій, если бы остался живъ, быль бы теперь ровесникомъ Григорія и царствовалъ, наводить, по-видимому, инока на мысль о возможности назваться именемъ погибшаго наслѣдника престола. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что разговоръ объ убиеніи Дмитрія Григорій начинаетъ слѣдующими словами:

«Давно, честный отецъ,  
Хотѣлось мнѣ тебя спросить о смерти  
Димитрия Царевича».

Эти слова могут указывать на то, что мысль о самозванствѣ, хотя, быть можетъ, въ очень смутномъ видѣ, и раньше бродила уже въ головѣ Григорія. Общее впечатлѣніе, получаемое нами отъ его личности по этой сценѣ, состоить въ томъ, что это натура энергичная, жаждущая сильныхъ жизненныхъ впечатлѣній, рвущаяся на просторъ и мечтающая о какомъ-либо выдающемся положеніи. Всѣ эти свойства Григорія подтверждается и дополняются новыми данными въ полной драматизма сценѣ «Корчма на Литовской границѣ». Вѣжавъ изъ монастыря, Григорій сталкивается въ корчмѣ съ ищущими его приставами и, видя, что дѣло его плохо, обнаруживаетъ большую находчивость, предлагая самъ прочитать указъ объ его поимкѣ и измѣненія содержаніе указа такъ, чтобы онъ могъ быть отнесенъ къ присутствовавшему въ корчмѣ старцу Варлааму. Изображеній въ своей уловкѣ, Григорій выхватываетъ книжалъ, выскакиваетъ въ окно корчмы и скрывается. Сильный, находчивый, энергичный, Григорій быстро осваивается съ новой ролью, принятой имъ на себя въ Польшѣ, и въ сценѣ: «Краковъ. Домъ Вишневецкаго» мы видимъ въ его лицѣувѣренного въ себѣ претендента на престолъ, умѣющаго и съ патеромъ, и съ сыномъ изгнанника Курбскаго, и съ поэтомъ, и съ будущими товарищами по браннымъ подвигамъ говорить на подходящемъ языке, и всѣхъ къ себѣ привлечь и заставить въ себя увѣровать.

Богатая натура Самозванца раскрывается передъ нами еще вполнѣ и шире въ сценѣ у фонтана въ саду воеводы Мнишка. Здѣсь обнаруживается сначала глубокая и страстная любовь Григорія къ Маринѣ Мнишекѣ. Послѣдняя, по его словамъ, можетъ замѣнить для него все, и самую царскую корону. Такое всепоглощающее чувство вполнѣ свойственно Григорію, какимъ мы его уже знаемъ; не желая притворяться предъ любимой женщиной и желая, въ то же время, убѣдиться въ ея любви, Лжедимитрій открываетъ Маринѣ свое самозванство. Марина, однако, какъ оказывается, любила Григорія лишь какъ будущаго царя, любила только мечту о коронѣ московской царицы для себя. Оскорбительная для Самозванца пред-

положенія Марины, что если ей онъ открылъ свою тайну изъ любви къ ней, то, движимый иными какими-нибудь чувствами, онъ и въ другихъ случаяхъ можетъ «проболтаться», — свидѣтельствуютъ о томъ, что Марина не понимаетъ натуры Самозванца. Оскорбительныя рѣчи Марины заставляютъ его вспомнить свои намѣренія и со свойственнымъ ему самообладаніемъ сбросить съ себя иго ослѣпившей его страстью любви. Въ знаменитомъ монологѣ: «Тѣнь Грознаго меня усыновила» и въ слѣдующемъ за нимъ: «Не мнишь ли ты, что я тебя боюсь?». Самозванецъ проявляеть, во-первыхъ, глубокую вѣру въ свою счастливую звѣзду, въ то, что, не будучи царевичемъ по рожденію, онъ, однако, царевичъ по избранію судьбы; и во-вторыхъ, здравое пониманіе своего политического положенія. Онъ прекрасно знаетъ, что и королю, и вельможамъ польскимъ, и римскому папѣ совершенно безразлично, царевичъ ли онъ, спасшійся отъ убійца, или кто-либо другой; для нихъ онъ—орудіе въ борьбѣ съ Борисомъ Годуновымъ и съ государственнымъ порядкомъ въ Россіи.

Указанная вѣра Самозванца въ свое «погибельное счастье», въ свое конечное, хотя бы и не долгое торжество ярко выражается въ сценахъ: «Сѣвскъ» и «Лѣсь». Въ первой изъ нихъ, допросивъ пленника изъ Борисова войска и посмѣявшись надъ характеристикой: «и воръ, а молодецъ», данной ему въ этомъ войскѣ, Григорій объявляеть, что на слѣдующій день намѣренъ сразиться съ непріятелемъ, хотя у послѣдняго пятьдесятъ тысячъ войска, а у него едва ли пятнадцать. Во второй изъ указанныхъ сценъ Самозванецъ, на голову разбитый войсками Бориса, не проявляеть, однако, ни малѣйшаго беспокойства о дальнѣйшей судьбѣ своей; его болѣе всего интересуетъ изധающій конь; когда же оказывается, что коня спасти нельзя, Лжедимитрій вспоминаетъ проигранное сраженіе и, досадуя на нѣмцевъ, которые «порядкомъ отразили» его полки, не проявляеть, однако, къ этимъ нѣмцамъ никакой злобы. «А молодцы», говорить онъ про нихъ, «ей-Богу, молодцы». Изъ этихъ самыхъ нѣмцевъ Самозванецъ непрѣменно, по его словамъ, наберетъ почетную дружину,—тогда, конечно, когда будетъ московскимъ царемъ. Въ этомъ заявлениіи, какъ мы видимъ, выразилось и то, какъ мало значенія придавалъ Григорій понесенному рѣшительному пораженію, и то, какъ, несмотря на это пораженіе, онъ продолжаетъ вѣрить, что достигнуть престола и будетъ нуждаться въ почетной дружинѣ.

Сдѣлаемъ, на основаніи указанныхъ выше сценъ, въ которыхъ принимаетъ участіе Самозванецъ, общую его характеристику. Предъ нами человѣкъ съ сильной волей, яснымъ умомъ и способностью къ глубокому и страстному чувству; человѣкъ, не теряющійся въ критическую минуту, отдающій себѣ полный отчетъ въ свое положеніи и отношеніи ко всѣмъ окружающимъ; вѣряющій въ свое призваніе и въ высшую силу, ведущую его по пути къ намѣченной цѣли.

Такой человѣкъ долженъ быть имѣть сильнѣйшее вліяніе на всѣхъ окружающихъ и на всѣхъ людей, съ которыми ему такъ или иначе приходилось сталкиваться. И дѣйствительно, начиная со сцены въ домѣ Вишневецкаго, мы видимъ, какъ Самозванецъ овладѣваетъ людьми и заражаетъ ихъ своимъ бодрымъ настроениемъ. Пушкинъ въ сценѣ: «Лѣсь» говорить о Лжедимитріи: «хранить его, конечно, Провидѣніе; и мы, друзья, не станемъ унывать».

И вотъ въ то время, какъ Самозванецъ распространяетъ вокругъ себя увѣренность въ своемъ конечномъ успѣхѣ, Борисъ Годуновъ, напротивъ, все ниже и ниже склоняется подъ тяжестью укоровъ совѣсти и страшныхъ кошмаровъ, мучащихъ его утомленную душу. Борисъ, какъ мы видѣли, склоненъ видѣть въ Григоріи «тѣнь» Дмитрія, «призракъ»; такое отношеніе къ врагу обезсиливаетъ Бориса, лишаетъ его душевной бодрости; Самозванецъ въ извѣстномъ монологѣ, обращенномъ къ Маринѣ, высказываетъ приблизительно ту же мысль: онъ «изъ гроба» нареченъ Дмитріемъ «тѣнью Грознаго». Такимъ образомъ, Борисъ унываетъ, Самозванецъ твердо вѣритъ въ свою звѣзду; Борисъ со страхомъ ждетъ возмездія, Самозванецъ считаетъ себя орудіемъ этого возмездія; Борисъ всѣхъ вокругъ отвращаетъ отъ себя неразумными мѣрами, принимаемыми въ припадкахъ ужаса и смятенія; Самозванецъ всѣхъ къ себѣ привлекаетъ благодушнымъ и спокойнымъ отношеніемъ къ людямъ и вѣрой въ свое торжество. Мы видимъ, что гибель Бориса ускоряется именно вслѣдствіе такихъ свойствъ Самозванца, и душевная жизнь послѣдняго, чрезвычайно любопытная и очень ярко изображенна Пушкинымъ сама по себѣ, имѣть громадное значеніе для уясненія судьбы Бориса.

Борисъ Годуновъ и Григорій Отрѣпьевъ, являющіеся главными дѣйствующими лицами трагедіи, изображены Пушкинымъ съ осо-

бенною полнотою и яркостью. Именно ихъ характеры нарисованы «вольной и широкой» кистью, въ чемъ, какъ мы видѣли, Пушкинъ, по его собственнымъ словамъ, подражалъ Шекспиру. Въ полной мѣрѣ такой способъ изображенія примѣненъ лишь къ Самозванцу, между тѣмъ какъ при обрисовкѣ Бориса Пушкинъ нѣсколько отступилъ отъ шекспировскаго метода и скорѣе приблизился къ методу французскаго классического направленія.

**Особенности и значение драмы «Борис Годуновъ».** Переидемъ ко второй задачѣ, поставленной себѣ Пушкинымъ въ драмѣ «Борис Годуновъ». Это была задача «угадать въ лѣтописяхъ образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени»—и, конечно, выразить это въ драмѣ. Вліяніе лѣтописей ближайшимъ образомъ сказалось въ сценѣ въ кельѣ Чудова монастыря. Историкъ Погодинъ, прослушавшій эту сцену еще въ рукописи, засвидѣтельствовалъ, что въ лицѣ Пимена съ чрезвычайною полнотою и правдивостью воплощены Пушкинныя черты древнихъ русскихъ лѣтописцевъ. Ушедший отъ мѣра и его тревогъ и суетъ, свободный отъ какихъ бы то ни было личныхъ интересовъ, стремленій и пристрастій, Пименъ съ полнымъ и невозмутимымъ спокойствіемъ заносить на листы своего повѣстнованія «все то, чему свидѣтель въ жизни былъ». Одну только оцѣнку события даетъ онъ—оцѣнку съ религіозной точки зрѣнія; поэтому великимъ грѣхомъ считаетъ Пименъ провозглашеніе царемъ Бориса—цареубийцы. Новѣйшіе историки, правда, значительно ограничили то утвержденіе, что лѣтописцами совершенно не руководили личная и политическая пристрастія; указано на примѣры извѣстной партийности, вредившей безпредостеречному тону чисто-эпического повѣстнованія. Тѣмъ не менѣе, несмотря на нѣкоторую идеализацию, Пименъ остается типичнымъ художественнымъ образомъ, представляющимъ характернѣйшія черты лѣтописца древней Руси.

Обратимся къ общей характеристицѣ тѣхъ литературныхъ пріемовъ, которые отличаютъ драму Пушкина и являются новыми для русской драмы вообще. Уже изъ краткихъ указаній на отдѣльныя сцены «Бориса Годунова» видно, что Пушкинъ, прежде всего, подъ вліяніемъ Шекспира, рѣшительно отвергъ два извѣстныхъ «единства», господствовавшихъ въ драмѣ XVIII в.: единство времени и мѣста, а равно и традиціонное дѣленіе драмы на пять актовъ: дѣйствіе у Пушкина происходитъ въ самыхъ разнообразныхъ мѣстахъ

и обнимаеть все время царствованія Бориса Годунова; трагедія раздѣлена на 24 сцены различного, большою частью небольшого размѣра. Далѣе необходимо указать, что, хотя интересъ произведенія, какъ мы видѣли, сосредоточенъ на одномъ центральномъ лицѣ, но Пушкинъ, вопреки традиціямъ драмы XVIII в., ввелъ значительное число лицъ, обрисовка которыхъ должна способствовать уясненію духа эпохи, обстановки, среди которой проходитъ жизнь главнаго героя. Такими лицами являются: лѣтописецъ Пименъ, хозяинъ корчмы на Литовской границѣ, пристава, старцы и многія другія лица. Принимаютъ участіе въ дѣйствіи и народныя массы: въ сценѣ избранія Бориса, въ сценѣ на лобномъ мѣстѣ. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что народъ у Пушкина играетъ роль чисто пассивную. Онъ является орудіемъ, при помощи котораго бояре ведутъ борьбу за престолъ. Такое заключеніе мы выводимъ и изъ тѣхъ сценъ, въ которыхъ народныя массы принимаютъ участіе, и изъ отзывовъ Годунова и Шуйскаго о народѣ. Изображая въ такомъ видѣ роль народа въ событияхъ той эпохи, Пушкинъ оставался вѣренъ исторіи, такъ какъ въ этотъ періодъ смуты народъ, дѣйствительно, еще не выступалъ самостоятельно.

Изъ всего, сказаннаго о «Борисѣ Годуновѣ», мы заключаемъ, что драма эта явилась произведеніемъ громадной историко-литературной важности. Разнообразіе и богатство содержанія, яркость образовъ, правдивость исторической обстановки, выдержанность языка—все это сдѣлало драму Пушкина литературнымъ событиемъ. Самъ поэтъ, крайне требовательный къ себѣ, былъ доволенъ «Борисомъ Годуновымъ». Онъ находилъ, что ему удалось создать «романтическую драму». Подъ этимъ Пушкинъ разумѣлъ полное освобожденіе отъ тѣхъ требованій и правилъ, которыя тяготѣли надъ драматургами XVIII вѣка и стѣсняли свободу ихъ творчества. Только черезъ шесть лѣтъ послѣ написанія своей драмы Пушкинъ получилъ возможность напечатать ее (1831 г.). Когда ознакомился съ драмой императоръ Николай, сдѣлавшійся, какъ мы увидимъ, цензоромъ Пушкина, поэту данъ былъ совѣтъ передѣлать свое произведеніе «въ романъ на подобіе Вальтеръ-Скотта», но Пушкинъ не принялъ совѣта.

Въ Михайловскомъ написанъ еще Пушкинъ «Графъ Нулинъ» (1825), повѣсть въ стихахъ, довольно незначительная по

содержанию, но характеризующая способность поэта къ совершенно реальному письму.

**Значение Михайловского периода. Освобождение.** «Два года незамѣтныхъ», которые Пушкинъ провелъ «отшельникомъ» въ Михайловскомъ, сыграли въ развитіи творчества и личности великаго поэта чрезвычайно важную роль. Кругозоръ Пушкина расширился благодаря внимательнымъ историческимъ и литературнымъ изученіямъ и наблюденіямъ надъ народной жизнью. Мастерство пушкинского творчества достигаетъ здѣсь высочайшей степени. «Борисъ Годуновъ», нѣсколько главъ «Онѣгина» и рядъ первоклассныхъ лирическихъ стихотвореній созданы увѣренной рукой зрѣлаго мастера, почувствовавшаго свои могучія силы и сумѣвшаго правильно развить и воспитать ихъ.

14 декабря 1825 г. произошелъ бунтъ на Сенатской площади, глубоко поразившій Пушкина главнымъ образомъ потому, что среди дѣятелей тайныхъ обществъ и организаторовъ восстанія находился цѣлый рядъ знакомыхъ и даже друзей поэта. Можно думать, что было время, когда Пушкинъ и самъ подумывалъ о вступленіи въ ряды членовъ тайного общества, но по разнымъ причинамъ вступленіе это не состоялось. Мы знаемъ, что еще въ 1817—20 г.г. въ Петербургѣ Пушкинъ былъ пѣвцомъ охватившаго молодежь политического возбужденія, изъ которого потомъ выросли тайные общества и движение декабристовъ. Событие 14 декабря заставило Пушкина сжечь записки, которыя онъ велъ въ Михайловскомъ; поэтъ считалъ возможнымъ, что его, какъ друга и корреспондента нѣкоторыхъ изъ участниковъ движения, привлекутъ, подобно Грибоѣдову, къ слѣдствію, чего, однако, не случилось. Выждавъ нѣкоторое время, Пушкинъ рѣшился при помощи Жуковскаго возбудить ходатайство объ освобожденіи изъ ссылки, которая, какъ мы знаемъ, очень тяготила поэта своей неопределеннной продолжительностью. Пушкину казалось, что ссылка его обусловлена въ значительной мѣрѣ личнымъ гнѣвомъ императора Александра I, и что новый царь не имѣть основаній продолжать наказывать его. 30 июля 1826 г. всеподданнѣйшее прошеніе Пушкина о снятіи съ него опалы, поданное имъ Псковскому губернатору, было препровождено къ министру иностранныхъ дѣлъ, а 28 августа состоялось Высочайшее повелѣніе о вызовѣ Пушкина въ Москву. 4 сентября поэтъ съ

фельдъегеремъ выѣхалъ изъ Михайловскаго, а 8-го быль уже въ Москвѣ и въ тотъ же день въ Кремлевскомъ дворцѣ быль представленъ императору Николаю.

## V.

### Первые годы по освобожденіи.

Разговоръ съ императоромъ, произведшій на впечатлительнаго поэта чрезвычайно сильное дѣйствіе, заставившій его принять определенныя рѣшенія относительно дальнѣйшаго образа дѣйствій, долженъ считаться однимъ изъ центральныхъ моментовъ (если не центральнымъ) въ жизни Пушкина. Здѣсь надо видѣть зародышъ тѣхъ тяжелыхъ противорѣчій, которыя затѣмъ, обостряясь и углубляясь, повели поэта къ безвременной гибели. Въ самомъ дѣлѣ, съ этого дня Пушкинъ, очарованный государемъ, повѣрившій въ прогрессивныя и гуманныя намѣренія правительства, рѣшается идти съ нимъ рука объ руку, изъ его критика стать его сотрудникомъ, изъ вождя и пѣвца оппозиціонно-настроенной молодежи обратиться въ истолкователя правительственныхъ намѣреній. Мы видимъ, что это крутой переломъ для Пушкина. Важность этого перелома сознавалъ самъ поэтъ; окрыленный милостивымъ отношеніемъ государя, который обѣщалъ «самъ быть цензоромъ Пушкина», обрадованный давножданымъ освобожденіемъ, онъ настроенъ бодро и полонъ надеждъ. Это настроеніе выразилось въ извѣстныхъ стансахъ: «Въ надеждѣ славы и добра». Здѣсь Пушкинъ указываетъ императору Николаю, что начало славныхъ дней Петра Великаго, подобно началу царствованія Николая, омрачено было мятежами и казнями; Петръ казнилъ бунтовавшихъ стрѣльцовъ, Николай казнилъ пятерыхъ изъ декабристовъ и сослалъ остальныхъ. Это не помѣшало дѣламъ Петра стать обильными славой и добромъ; поэтъ отъ души желаетъ, чтобы императоръ Николай «во всемъ былъ пращуръ подобенъ». Заключая въ себѣ знаменитую и, дѣйствительно, великолѣпную характеристику Петра Великаго въ 4-хъ стихахъ, данное стихотвореніе по отношению къ императору Николаю сводится, какъ мы видимъ, къ пожеланіямъ. Поэтъ указываетъ государю, что его великій пращуръ умѣлъ «отличать Долгорукова отъ буйнаго стрѣльца»; такъ же, на-

дѣется Пушкинъ, и императоръ Николай сумѣть отличить прогрессивныя стремленія просвѣщенныхъ людей отъ бунта.

**Сущность душевнаго разлада.** Надежды Пушкина не имѣли, однако, подъ собою твердой почвы. Казнь и ссылка декабристовъ вырвали изъ рядовъ передового русскаго общества наиболѣе просвѣщенныхъ и энергичныхъ его руководителей; дѣйствія новаго правительства не давали беспристрастному наблюдателю основаній ожидать лучшаго будущаго. Крѣпостное право стояло незыблѣмо и считалось однимъ изъ надежнѣйшихъ устоевъ государственного порядка; подготовлялась извѣстная теорія «офиціальной народности», которая скоро и стала заявляться. Прошлое, настоящее и будущее русскаго народа считалось блестящимъ, и всякая критическая мысль беспощадно преслѣдовалась. Доказательства реакціонныхъ стремленій правительства не замедлили явиться. Закрытіе по ничтожному поводу «Литературной газеты» Дельвига, ускорившее смерть этого близайшаго друга Пушкина, закрытіе только что основанаго Кирѣевскимъ журнала «Европеецъ», отношеніе правительства къ польскому восстанию, безконечныя придирики по разнымъ поводамъ къ самому Пушкину, фактическимъ цензоромъ и наблюдателемъ за поведеніемъ котораго сдѣлался шефъ жандармовъ графъ Бенкendorfъ,—все это скоро показало Пушкину, что, во-первыхъ, намѣренія правительства далеко не прогрессивны, а, во-вторыхъ, что самъ поэтъ остается подъ самымъ бдительнымъ надзоромъ и совершенно не пользуется довѣріемъ властей. Немало огорченій причинило, между прочимъ, Пушкину дѣло о стихотвореніи «Андрей Шенье», въ которомъ хотѣли видѣть намекъ на казнь декабристовъ.

**Лирика 1826—1829 г.г.** Чуткій поэтъ очень скоро сталъ замѣтить, что позиція, занятая имъ, въ сентябрѣ 1826 г., чрезвычайно мало подходитъ къ природнымъ его свойствамъ и усвоеннымъ съ ранней юности гуманнымъ и либеральнымъ стремленіямъ, хотя и дѣлаетъ еще попытку защищить свои надежды въ стихотвореніи 1828 г. «Друзьямъ». Между тѣмъ, онъ связанъ былъ даннымъ государю честнымъ словомъ не противодѣйствовать ни въ чемъ видамъ правительства, а кромѣ того благородная душа поэта цѣнила въ государѣ своего освободителя изъ «изгнанія», да и полное разочарованіе въ личныхъ намѣреніяхъ императора Николая наступило

у Пушкина далеко не сразу. Вотъ на этой-то почвѣ вырастаетъ то основное противорѣчіе, тотъ душевный разладъ, который мы замѣчаемъ при внимательномъ и подробномъ ознакомлениі съ лирикой поэта, начиная съ 1827 г. Правда, Пушкинъ по самой своей натурѣ былъ въ высшей степени способенъ сильнѣе воспринимать свѣтлыя стороны дѣйствительности, чѣмъ темныя, и этимъ объясняется то обстоятельство, что стихотвореній, выражавшихъ тяжелыя душевныя состоянія подъ вліяніемъ сознанія указанного противорѣчія, сравнительно немногого. Однако, такія стихотворенія есть, и ихъ безнадежная мрачность свидѣтельствуетъ о силѣ страданій поэта. Изъ трехъ ключей, пробившихся «въ печальной и безбрежной мірской степи»,—ключей юности, вдохновенія и забвенья—поэтъ предпочитаетъ послѣдній; «онъ слаше всѣхъ жаръ сердца утолить». («Три ключа», 1827). Мы видимъ, что уже вскорѣ по желанномъ освобожденіи Пушкинъ испытываетъ минуту чрезвычайной душевной усталости. Такъ же безнадежно стихотвореніе «26 мая 1828 г.». Въ день своего рожденія поэтъ угнетенъ мыслью о безцѣльности жизни, о праздности ума своего и пустотѣ сердца; его «томитъ тоскою однозвучный жизни шумъ». Мысль о смерти, хотя въ менѣе мрачномъ тонѣ, выражена и въ извѣстномъ стихотвореніи 1829 г. «Брожу ли я вдоль улицъ шумныхъ». Чрезвычайно грустно превосходное «Воспоминаніе» (1828). Невеселыми думами и усталостью душевной продиктовано и стихотвореніе 1828 г. «Предчувствіе».

Переживая такія грустныя, а подчасъ и мрачныя до безнадежности настроенія, обращаясь въ иные минуты мыслью къ смерти, когда самъ былъ молодъ и полонъ творческихъ силъ, Пушкинъ, благодаря многосторонности и отзывчивости своей души, откликался, однако, въ эти годы на разныя явленія жизни; онъ остался тѣмъ же гуманнымъ идеалистомъ, какимъ былъ всегда.

Отмѣтимъ три стихотворенія, въ которыхъ Пушкинъ опредѣленно заявляетъ свое глубокое сочувствие друзьямъ-декабристамъ и признаетъ свою кровную связь съ прогрессивнымъ общественнымъ теченіемъ. Первое стихотвореніе—«Во глубинѣ сибирскихъ рудъ»—полно бодрой надежды на наступленіе того времени, когда «свобода радостно встрѣтить» нынѣ заточенныхъ друзей поэта, и на то, что «не пропадетъ ихъ скорбный трудъ и думъ высокое стремленье». Во второй разъ Пушкинъ вспоминаетъ сосланныхъ друзей въ стихо-

твореніі «19 октября 1827 г.», желая имъ Божьей помощи «въ мрачныхъ проастяхъ земли». Наконецъ, въ извѣстномъ стихотвореніи того же 1827 г. «Аріонъ» Пушкинъ изображаетъ себя пѣвцомъ, вдохновлявшимъ своими пѣснями тѣхъ храбрыхъ пловцовъ, чей членъ погибъ, когда «лоно волнъ измѣялъ съ налету вихрь шумный»; пѣвецъ грозою выброшенъ на берегъ и «сушитъ на солнцѣ подъ скалою свою влажную ризу». Если къ этимъ лирическимъ стихотвореніямъ присоединить извѣстное, отчасти эпическое, произведеніе «Анчарь» (1828 г.), въ необыкновенно яркихъ и сильныхъ картинахъ изображающее весь ужасъ рабства вообще, то мы убѣдимся, что свободолюбіе Пушкина осталось столь же глубокимъ, какъ прежде, и послѣ «освобожденія».

**Взгляды Пушкина на поэзію.** Характеризуя пушкинскую лирику первыхъ трехъ лѣтъ послѣ возвращенія поэта изъ ссылки (1826—1829), мы приходимъ къ необходимости остановиться съ большею, чѣмъ прежде, подробностью на вопросѣ о поэзіи и отношеніи поэта къ обществу, какъ ихъ понималъ Пушкинъ. Къ этимъ именно тремъ годамъ относится цѣлый рядъ стихотвореній, посвященныхъ этому жгучему для Пушкина вопросу. Для полноты обзора мы присоединимъ сюда и стихотворенія, написанныя поэтомъ по данному поводу немногого позднѣе, въ 1830—1833 годахъ. Къ 1827 г. принадлежитъ стихотвореніе «Поэтъ» («Пока не требуетъ поэта»), къ 1828—«Чернь», къ 1830—«Поэту» и «Отвѣтъ анониму», къ 1831—«Эхо», къ 1833—«Родословная моего героя» съ отрывкомъ «Зачѣмъ крутится вѣтъ въ оврагѣ».

Мы знаемъ, что въ болѣе раннихъ стихотвореніяхъ о поэзіи и поэтѣ, отъ лицея до Михайловскаго включительно, Пушкинъ сосредоточивалъ вниманіе преимущественно на природѣ поэтическаго творчества, на его божественномъ происхожденіи. Теперь же на первый планъ выступаетъ вопросъ о судьбѣ поэта въ обществѣ, объ отношеніи къ поэту тѣхъ, чьи сердца онъ хотѣлъ бы жечь своимъ словомъ.

Общая мысль почти всѣхъ указанныхъ стихотвореній состоитъ въ требованіи полной свободы творчества для поэта. Онъ самъ—«свой высшій судъ», и мысль о возможности приспособленія ко вкусамъ и требованіямъ читателей глубоко оскорбительна для поэта. Это требованіе—чтобы поэтъ творилъ, повинуясь только внутрен-

нему голосу Божества, чтобы онъ помнилъ, что «не продается вдохновенье», — всегда заявлялось Пушкинъмъ совершенно категорически.

Но въ какія же отношенія со своими читателями, съ обществомъ станеть поэтъ, свято выполняющій завѣтъ Пушкина, «идущій дорою свободной, куда влечеть его свободный умъ»? Это, конечно, всецѣло зависитъ отъ уровня душевнаго развитія большинства въ читающемъ обществѣ. И можно утверждать, что въ идеалѣ отношенія между поэтомъ и обществомъ рисовались Пушкину, какъ отношенія полнаго согласія и взаимнаго пониманія. «Подите прочь...» говорить поэтъ толпѣ въ стихотвореніи «Чернь», «...не оживить васъ лиры гласть...» Вотъ мотивъ, по которому поэтъ гонить толпу; если бы онъ надѣялся, «оживить» ее «голосомъ лиры», онъ бы ея не гналъ. Такимъ образомъ общество, окружающее поэта, по глубокому убѣждению Пушкина, не доросло до пониманія его произведеній. И вотъ имъя въ виду это вполнѣ конкретное русское общество опредѣленной эпохи, Пушкинъ въ нѣкоторыхъ изъ указанныхъ стихотвореній, въ порывѣ раздраженія на легкомысленный и невѣжественный сужденія многихъ читателей объ его лучшихъ созданіяхъ, проявляетъ къ этому обществу рѣзко-враждебное отношеніе. Что такое отношеніе отнюдь не было у Пушкина принципіальнымъ, что поэтъ со скорбью заявлялъ о разладѣ своемъ съ обществомъ, видно изъ трогательного стихотворенія «Отвѣтъ анониму» (И. А. Гульянову). Здѣсь Пушкинъ шлетъ теплый привѣтъ тому изъ своихъ читателей, который отнесся съ глубокимъ сочувствіемъ къ семейному счастью, ожидавшему поэта, и выдѣлился этимъ изъ толпы, «взирающей на поэта, какъ на заѣзжаго фигляра». Въ стихотвореніи «Эхо» Пушкинъ точно такъ же скорбитъ о томъ, что, на все откликаясь, онъ не получаетъ, однако, отвѣта отъ общества. Можно думать, что поэтъ бы вполнѣ удовлетворенъ, если бы такой откликъ къ нему принесся, какъ это однажды и было въ случаѣ Гульяновымъ.

Итакъ, свойство самой среды, окружающей Пушкина, непониманіе этой средой высокаго значенія искусства и права его служителя на полную свободу творчества заставили поэта такъ рѣзко отнестиць къ «свѣтской черни», посовѣтовать поэту бѣжать отъ людей, заслышиавъ голось вдохновенія, и «не дорожить любовью

народной». Людямъ, требовавшимъ отъ поэта, чтобы онъ объяснилъ, «зачѣмъ такъ звучно онъ поетъ», хотѣвшимъ видѣть непосредственную пользу отъ поэтическаго творчества, Пушкинъ предлагаетъ объяснить:

«Зачѣмъ крутится вѣтъ въ оврагѣ,  
Волнуетъ степь и пыль несетъ,  
Когда корабль въ недвижной влагѣ  
Его дыханья жадно ждетъ?  
Зачѣмъ отъ горъ и мимо башень  
Летитъ орель, угрюмъ и страшенъ,  
На пень гнилой?»

Признавая за поэтомъ право на такую безграничную свободу творчества, Пушкинъ, конечно, глубоко возмущался всякой попыткой стѣснить эту свободу, откуда бы такая попытка ни исходила, и впадалъ иногда въ крайности, выражая это свое возмущеніе. Въ особенности раздраженнымъ тономъ отличается стихотвореніе «Чернь», конечно не могущее служить основаніемъ для сужденій о принципиальномъ взгляде Пушкина на поэзію.

Чрезъ 5—6 лѣтъ послѣ того, какъ былъ написанъ охарактеризованный сейчасъ рядъ стихотвореній о поэзіи, Пушкинъ, предвидя близкую кончину и подводя итоги поэтическому своему поприщу, спокойнѣе отнесся къ вопросу объ отношеніи общества къ поэту и, не мѣняя существа своихъ взглядовъ, нашелъ утѣшеніе въ сознаніи, что если большинство современниковъ плохо его понимало, то будущія поколѣнія все вполнѣ будутъ оцѣнивать его поэтический подвигъ.

**«Арапъ Петра Великаго» и «Полтава».** Переживая вслѣдъ за «освобожденіемъ» много волненій и различныхъ душевныхъ противорѣчій, Пушкинъ въ эти годы, естественно, мало создалъ въ эпическомъ родѣ. Оба эпическихъ произведенія этого периода—неоконченный исторический романъ «Арапъ Петра Великаго» (1827) и поэма «Полтава» (1828) имѣютъ своимъ героемъ геніального пращура императора Николая.

Исторические вопросы давно уже, какъ мы знаемъ, занимали Пушкина; личность великаго преобразователя Россіи, «вѣчнаго работника на тронѣ», привлекала особый, исключительный интересъ

поэта. Занималъ его и «сходно купленный арапъ» Ганнибалъ, его прадѣдъ. Романъ «Арапъ Петра Великаго» представляетъ собою попытку изобразить Петра въ сферѣ частныхъ отношеній, съ присущею ему простотою и дѣловитостью, и дать рядъ бытовыхъ картинъ изъ жизни его эпохи. Въ этомъ первомъ опытѣ Пушкина въ прозаической формѣ можно уже наблюдать тѣ главнѣйшія особенности, которыми потомъ отличались всѣ прозаическія произведенія Пушкина, и о которыхъ будеть своевременно сказано.

Поэма «Полтава» первоначально должна была имѣть главнымъ своимъ героемъ Мазепу. Однако, образъ этотъ поэту плохо удался. Характеристика Мазепы, сдѣланная Пушкинымъ въ I пѣснѣ поэмы («Немногимъ, можетъ быть, извѣстно...») рисуетъ гетмана не живымъ лицомъ, а какимъ-то воплощеніемъ злодѣйства. Въ герояхъ поэмы такой Мазепа не годится уже потому, что всѣ его помыслы, мечты и стремленія направлены исключительно къ личнымъ цѣлямъ. Романическій сюжетъ поэмы—отношенія Мазепы и Маріи—отступилъ на второй планъ предъ изображеніемъ тѣхъ историческихъ событій, участникомъ которыхъ явился Мазепа и въ центрѣ которыхъ стоялъ Великий Петръ.

Послѣдній и сдѣлался истиннымъ героемъ поэмы, и полтавскому торжеству геніального царя посвящена самая вдохновенная часть произведенія. Съ начала до конца боя Петръ дѣйствуетъ вдохновенно и вдохновляетъ окружающихъ. Его глаза сияютъ, такъ какъ наступилъ долго жданный имъ день, когда должно рѣшиться: правъ ли онъ быть, напрягая всѣ силы страны для борьбы со Швеціей за Балтійские берега. Для Петра наступившій день—итогъ долгаго пути. Беззавѣтно храбрый воинъ и мудрый, предусмотрительный правитель слились въ могучей личности Петра. Наступаетъ желанный мигъ побѣды,—и царь «за учителей своихъ заздравный кубокъ поднимается». Образъ Петра въ «Полтавѣ» грандіозенъ и могучъ. Въ эпилогѣ Пушкинъ прямо указываетъ на центральную мысль поэмы въ словахъ:

«Въ гражданствѣ сѣверной державы,  
Въ ея воинственной судьбѣ  
Лишь ты воздвигъ, герой Полтавы,  
Огромный памятникъ себѣ».

Величие и бессмертие дѣлъ Петра сравнительно съ ничтожествомъ жизни и судьбы обыкновенныхъ людей—вотъ въ чёмъ можно видѣть идею поэмы.

Значеніе «Полтавы» состоитъ не только въ томъ, что это одно изъ самыхъ яркихъ изображеній любимаго историческаго героя Пушкина, но и во внѣшней сторонѣ этой поэмы. Языкъ и стихъ «Полтавы» замѣчательны своей мужественной простотой. Богатство риѳмъ, плавность стиха, красота языка—отличительныя черты «Полтавы». Кромѣ того, будучи, какъ мы видѣли, не вполнѣ удачной въ психологической разработкѣ образа Мазепы, поэма заключаетъ въ себѣ рядъ отдельныхъ мѣстъ высокаго художественнаго достоинства. Таково, между прочимъ, знаменитое описаніе украинской ночи, томящей своею красотою мрачную душу гетмана.

**Поѣздана 1829 г.** Мы видѣли выше, какъ много горечи стало копиться въ душѣ Пушкина уже почти съ самого начала жизни его «на волѣ». Ко всему, указанному раньше, присоединилось весною 1829 года еще одно обстоятельство, лишавшее поэта душевнаго спокойствія. Пушкинъ посватался въ это время къ одной изъ первыхъ московскихъ красавицъ, семнадцатилѣтней дѣвушкѣ Наталиѣ Николаевнѣ Гончаровой. Къ предложенію поэта, не чиновнаго и даже исключеннаго изъ службы, отнеслись очень сдержанно, но рѣшительнаго отказа не было, дано было право надѣяться. Въ такомъ томительномъ душевномъ состояніи поэтъ въ маѣ 1829 года уѣзжаетъ изъ Москвы въ Грузію на театръ военныхъ дѣйствій съ Турцией, куда еще заранѣе было послано предписаніе и главнокомандующему, графу Паскевичу-Эриванскому, и тифлисскому губернатору слѣдить за поэтомъ и секретно доносить объ его образѣ жизни. Пушкинъ пробылъ въ путешествіи до сентября мѣсяца. Отдохнувъ нѣсколько отъ гнетущихъ противорѣчій и «однозвучнаго шума» столичной жизни, поэтъ, кромѣ прозаического описанія путешествія въ Арзерумъ, на которое испрошено было особое разрѣшеніе и во время котораго Пушкинъ встрѣтилъ тѣло убитаго Грибоѣдова,увѣковѣчилъ свое путешествіе въ цѣломъ рядъ замѣчательныхъ лирическихъ стихотвореній. Таковъ отрывокъ «На холмахъ Грузіи», чудное выраженіе «свѣтлой печали», полной мыслью объ одной любимой женщинѣ; по силѣ и высотѣ выраженного чувства этотъ

отрывокъ можно сопоставить съ извѣстнымъ стихотвореніемъ, написаннымъ передъ поѣздкой:

«Я въсъ любилъ; любовь еще быть можетъ,  
Въ душѣ моей угасла не совсѣмъ».

Сюда же относятся извѣстный «Кавказъ» съ величественными картинаами жизни природы на разныхъ высотахъ; «Донъ», «Обвалъ», замѣчательный, между прочимъ, обилиемъ и богатствомъ риѳмъ и оригинальностью стиха; «Олеговъ щитъ», «Делибашъ». Въ двухъ стихотвореніяхъ этого периода—«Монастырь на Казбекѣ» и «Дорожные жалобы» (послѣднее отдѣлано въ Москвѣ), находимъ чрезвычайно яркое выраженіе того тягостнаго томленія, которое испытывалъ Пушкинъ въ эти годы. Въ первомъ изъ указанныхъ стихотвореній поэтъ выражаетъ страстное желаніе «сказать прости ущелью» и улетѣть повыше, въ сосѣдство Бога; во второмъ въ шутливой формѣ изображена скитальческая жизнь поэта, не имѣвшаго до сихъ поръ прочного пристанища; мысль Пушкина останавливается на созданіи семейнаго очага, какъ на средствѣ покончить съ этимъ вѣчнымъ скитальствомъ. Ко времени поѣздки 1829 г. относится набросокъ замѣчательной поэмы «Галубъ», неоконченной и неотдѣланной. Въ ней трактуется глубокая тема о судьбѣ человѣка, душевно переросшаго воспитавшую его среду.

Въ сентябрѣ 1829 г. Пушкинъ вернулся изъ своей поѣздки; къ ближайшему времени относится глубоко прочувствованное стихотвореніе «Воспоминанія въ Царскомъ Селѣ» («Воспоминаньями смущенный...»), свидѣтельствующее о томъ, что въ душѣ поэта совершилась напряженная и часто мучительная работа. Въ апрѣль 1830 г. Пушкинъ дѣлаетъ вторичное предложеніе Н. Н. Гончаровой и на этотъ разъ получаетъ согласіе.

## VI.

### Въ Болдинѣ осенью 1830 г.

**Осень въ Болдинѣ.** Но прежде, чѣмъ состоялась женитьба Пушкина, въ литературной біографіи поэта является моментъ большой важности. Въ началѣ сентября Пушкинъ отправляется въ подарен-

ное ему отцомъ имѣніе—село Болдино, Нижегородской губерніи, для устройства имущественныхъ своихъ дѣлъ, и карантинъ, учрежденный по случаю холерной эпидеміи, задерживаетъ его тамъ до декабря. Эта осень, проведенная въ Болдинѣ, чрезвычайно богата созданными Пушкинымъ поэтическими произведеніями. Среди этихъ «болдинскихъ» произведеній есть весьма разнородныя, и творчество этого периода необходимо разсмотрѣть прежде, чѣмъ перейти къ женитьбѣ поэта, связаннымъ съ нею надеждамъ, разрушению ихъ и дѣйствительнымъ послѣдствіямъ этого рокового шага.

Болдинское творчество въ значительной мѣрѣ является подведеніемъ итоговъ кончавшемуся периоду жизни и дѣятельности Пушкина. И прежде всего съ этимъ временемъ приходится связывать окончаніе великаго пушкинского романа «Евгений Онѣгинъ». Хотя нѣкоторыя части VIII главы этого романа написаны немнogo позднѣе въ Царскомъ Селѣ, однако, романъ, какъ цѣлое, какъ спутникъ цѣлаго ряда периодовъ въ жизни самого поэта, несомнѣнно, законченъ въ Болдинѣ. Такъ смотрѣлъ и самъ Пушкинъ, выразившій въ чудномъ стихотвореніи «Трудъ» («Мигъ вожделѣній насталъ»), тѣ чувства, которыя охватили его при окончаніи любимаго произведенія.

**«Евгений Онѣгинъ».** Слишкомъ восемь лѣтъ писалъ Пушкинъ свой знаменитый романъ—это безцѣнное сокровище русской литературы, охарактеризованное Бѣлинскимъ, какъ самое задушевное произведеніе Пушкина, наиболѣе тѣсно связанное съ личностью самого поэта и наиболѣе характерное для него, какъ художника. Первые двѣ главы «Онѣгина» и часть третьей написаны на югѣ; конецъ третьей, четвертая, пятая и шестая — въ Михайловскомъ, седьмая—по освобожденіи, въ 1827—8 г.г.; восьмая—въ 1830—31 г.г. Кромѣ того, къ 1827—9 г.г. относилось описание, выпущенное потомъ и сохранившееся лишь въ отрывкахъ, путешествія Онѣгина. Это «Странствіе Онѣгина» должно было составить VIII-ю главу романа, теперешняя же VIII-я являлась IX-й. Кромѣ того, въ настоящее время установлено, что Пушкинъ написалъ и X-ю главу, гдѣ изобразилъ встрѣчу Онѣгина съ декабристами (уже послѣ окончательной разлуки съ Татьяной). Эта глава напечатана пока лишь въ отрывкахъ.

Мы видимъ, что легко связать содержаніе отдѣльныхъ частей

романа съ разными периодами жизни Пушкина. Такъ, описание жизни Онѣгина въ Петербургѣ, ея увеселеній, «баловъ и дѣтскихъ праздниковъ», вообще «прожиганія жизни» «золотою молодежью» создано на основаніи воспоминаній поэта о собственной «легкой» жизни въ столицѣ въ 1817—1820 г.г.; картины деревенской жизни Онѣгина, его знакомства и отношений съ Ленскимъ и Ларинами, несомнѣнно, нарисованы подъ вліяніемъ новыхъ для Пушкина впечатлѣній безвыѣздного, въ теченіе круглого года, пребыванія въ деревнѣ; здѣсь отразились Михайловское и Тригорское съ ихъ обитателями. Въ «Путешествіи Онѣгина» изображались знакомые поэту Москва, Кавказъ, Одесса. Наконецъ, въ послѣднихъ главахъ передъ нами свѣтское столичное общество, въ которое вернулся въ 1826 г. «освобожденный» Пушкинъ.

Тѣсная связь романа съ личною жизнью Пушкина сказалась и обиліемъ лирическихъ отступленій, часто очень обширныхъ и цѣнныхъ для характеристики поэта; стоитъ вспомнить конецъ VI главы «Онѣгина» и начало VIII-й. Впрочемъ, эти лирическія отступленія связаны съ той особой литературной манерой, въ которой написанъ весь романъ и о которой будетъ рѣчь ниже.

**Евгений.** Обратимся, прежде всего, къ данному произведенію, какъ эпическому, и остановимся на отдѣльныхъ образахъ главныхъ действующихъ лицъ и на общихъ картинахъ жизни русскихъ людей.

Въ центрѣ романа стоять два лица, судьба которыхъ прослѣживается авторомъ съ большимъ вниманіемъ и душевная жизнь которыхъ изображается очень подробно: это Евгений Онѣгинъ и Татьяна Ларина.

Личность Онѣгина, какъ она обрисовывается съ первой же главы романа, является для настѣ, въ сущности, чѣмъ-то уже знакомымъ. Читая описание воспитанія Евгения, мы встрѣчаемся съ такими явленіями русской жизни, которыхъ съ первыхъ же шаговъ новой русской литературы, задолго до Пушкина, стали изображаться нашими писателями. Вспомнимъ слова Кантемира въ сатирѣ «Къ уму своему»:

«Коли кто карты мѣшать, разныхъ винъ вкусъ знаетъ,  
Танцуешь, на дудочкѣ пѣсни три играеть,  
Смыслить искусно прибрать въ своемъ платьѣ цвѣты;

Тому ужъ и въ самыя молодыя лѣты  
Всякая высша степень—мѣда ужъ не велика,  
Сѣдьми мудрецовъ себя достойнымъ мнитъ лика».

Въ этихъ неуклюжихъ стихахъ первого нашего сатирика мы видимъ указаніе на ту же легкость заслужить одобреніе «свѣта», показваться «свѣту» «умнымъ и очень милымъ», которая такъ ярко проявилась при воспитаніи и вступленіи въ жизнь Онѣгина.

Мы знаемъ, что такое легкое воспитаніе нашей молодежи, сатирически изображенное Кантемиромъ въ приведенныхъ стихахъ, продолжало вызывать протесты и въ дальнѣйшей нашей литературѣ XVIII и XIX вѣка. «Бригадиръ» и «Недоросль» Фонвизина, сатирические журналы Новикова, особенно «Кошелекъ», «Горе отъ ума», многія басни Крылова — все это произведенія, въ которыхъ вицѣній европеизмъ и поверхностное воспитаніе ярко представлены и осмѣяны. Мы чувствуемъ глубокую внутреннюю связь Онѣгина съ его литературными предшественниками. Развѣ Вральманъ, про которого г-жа Простакова говоритъ: «Онъ дитя не неволить», и monsieur l'Abbé, который «чтобъ не измучилось дитя, училъ его всему шутя», — не однородныя явленія?

Не новъ Евгений Онѣгинъ и въ творчествѣ самого Пушкина, — и здѣсь у него есть предки, но о связи Онѣгина съ болѣе ранними образами пушкинскихъ произведеній мы поговоримъ ниже.

Не измученный ученѣемъ, не обремененный тяжелымъ научнымъ багажемъ, не привыкшій надѣть чѣмъ-либо серьезно задумываться, вступилъ Онѣгинъ въ пустую свѣтскую среду Петербурга и въ первое время, повидимому, чувствовалъ себя отлично. У него были всѣ даннныя, чтобы блестать въ гостиныхъ; онъ умѣлъ «возбуждать улыбку дамъ огнемъ нежданныхъ эпиграммъ», кутиль съ товарищами и былъ «истиннымъ геніемъ» въ «наукѣ страсти нѣжной». Многіе совсѣмъ обыкновенные люди того времени, болѣе бѣдные духовно, чѣмъ Евгений Онѣгинъ, до конца удовлетворялись такой жизнью и всю молодость оставались «проказниками», попадающими въ одинъ вечеръ и на балъ и на дѣтской праздникъ. Но въ лицѣ Евгения Онѣгина Пушкинъ представилъ, по выражению Ключевского, «типическое исключение» изъ «золотой молодежи» того времени, т. е. человѣка, который, хотя и смутно, но протестуетъ

уже противъ охарактеризованной жизни. Протестъ Онѣгина не но-  
сить характера сознательности, какъ у Чацкаго, но во всякомъ слу-  
чаѣ Онѣгина потянуло вонъ изъ душной атмосферы этой жизни, и  
онъ сталъ искать выхода.

Гдѣ же, однако, искать этого выхода, на что опереться въ по-  
искахъ новой жизни? Никакихъ основъ,—ни нравственныхъ, ни  
научныхъ,—въ душѣ Онѣгина воспитаніемъ не заложено. Вотъ по-  
чему терпять полную неудачу сдѣланныя имъ въ Петербургѣ по-  
пытки: сначала писать, потомъ читать. Чтобы писать, нуженъ былъ,  
конечно, прежде всего талантъ, котораго у Онѣгина не было, и легко-  
мысленная попытка Евгенія служить только однимъ изъ доказа-  
тельствъ несознательного отношенія его къ литературѣ. Вторая по-  
пытка—«себѣ присвоить умъ чужой»—не могла быть успѣшной уже  
потому, что Евгенію съ дѣтства совершенно не была привита при-  
вычка къ умственному труду. Не будучи въ состояніи сколько-ни-  
будь разобраться въ читаемомъ материалѣ, не умѣя сдѣлать надле-  
жащій выборъ книгъ и выработать систему для своего чтенія, нельзя  
читать продуктивно и наверстать чтеніемъ пробѣлы своего образо-  
ванія. Конечно, даже и такое случайное и бессистемное чтеніе дало  
кое-что Онѣгину. Когда книги ему надоѣли, и онъ «полку съ пыль-  
ной ихъ семьей задернулъ траурной тафтой», то нѣсколько произве-  
деній было, по выражению Пушкина, исключено имъ изъ опалы;  
бѣлья этихъ книгъ былъ и «властитель думъ» того поколѣнія,  
Байронъ.

Въ жизни такихъ людей, какъ Онѣгинъ, людей безъ твердыхъ  
убѣжденій, безъ привычки къ самостоятельному труду, безъ разви-  
той воли, громадную роль играетъ случай. Случай помогъ и Евгенію  
перемѣнить хоть на что-нибудь свое стolичное прожиганіе жизни.  
Извѣстіе объ опасной болѣзни старика-дяди, богатаго помѣщика,  
заставляетъ Онѣгина поѣхать въ деревню, обладателемъ которой  
онъ, за смертью дяди, и становится. Въ деревнѣ Евгеній, прежде  
всего, замѣняетъ легкимъ оброкомъ тяготу старинной барщины; изъ  
этого поступка Онѣгина видно, что передовыя идеи тогданшней мо-  
лодежи, вдохновлявшія грибоѣдовскаго Чацкаго, затрагивали и умы  
«типическихъ исключений» въ родѣ Онѣгина. Облегченіе, данное  
Онѣгинымъ своимъ крестьянамъ, показалось опаснымъ новше-  
ствиемъ сосѣдямъ Онѣгина. Оправдалось мнѣніе Чацкаго, что въ

чьеи головъ пять-шесть найдется мыслей здравыхъ, тотъ рискуетъ прослыть опаснымъ мечтателемъ. Помѣщики, по словамъ Пушкина, рѣшили про Онѣгина, что онъ «опаснѣйшій чудакъ». Пресыщенному столичными знакомствами Евгенію его сосѣди съ ихъ разговорами «о сѣнокосѣ, о винѣ, о псацѣ, о своей роднѣ», конечно, интересны не были, и Онѣгинъ ни съ кѣмъ въ деревнѣ не сошелся.

Скоро и деревня съ ея «пригорками и ручейками», развлекшими на нѣсколько дней скучающій умъ Онѣгина, надоѣла ему, и молодой, полный силъ, но нелѣпымъ воспитаніемъ оторванный отъ жизни, не знающій ея, Евгеній снова начинаетъ томиться «недугомъ, кото-раго причину давно бы отыскать пора»—русской хандрой. Потерявъ цѣльность душевнаго склада своихъ предковъ въ родѣ дяди, «деревенскаго сторожила», который «лѣтъ сорокъ съ ключницей бранился, въ окно смотрѣлъ и мухъ давилъ» и былъ совершенно этой жизнью удовлетворенъ, Онѣгинъ не сдѣлался, однако, культурнымъ человѣкомъ; онъ остался, по выражению Достоевскаго, «вѣчнымъ скиталь-цемъ» по родной землѣ. Томясь пустотой жизни, Онѣгинъ встрѣ-чается въ деревнѣ съ юнымъ поэтомъ-романтикомъ Владимиромъ Ленскимъ. Онѣгинъ сразу понялъ Ленскаго съ его неглубокими и не-самостоятельными, хотя и искренними, идеальными стремленіями. Романтизмъ Ленскаго такъ же смутенъ и туманенъ, какъ ранній романтизмъ Жуковскаго. Ленскій въ жизни человѣчества и въ міро-зданіи «подозрѣваетъ чудеса»; онъ больше чувствуетъ и, въ особен-ности, воображаетъ, чѣмъ размышляетъ и анализируетъ; весь міръ для него покрытъ поэтической дымкой; пользуясь выраженіями Жу-ковскаго, можно сказать, что свѣтъ еще не разоблачилъ для Лен-скаго своего земного лица, и призракамъ не наступилъ еще конецъ. Ленскій глубоко вѣрить въ людей, въ добро и его конечное торже-ство. Онъ—живая противоположность пушкинскому Демону (1823) и благословляетъ и всю природу, и людей.

Для Онѣгина ясно, что идеализмъ Ленскаго неглубокъ и на-вѣянъ на его душу впечатлѣніями нѣмецкаго романтизма, приве-зенными Ленскимъ изъ Геттингена вмѣстѣ съ черными кудрями и всегда восторженною рѣчью. Но такъ какъ восторженныя рѣчи Лен-скаго искренни и горячи, то Онѣгину нравится бесѣдоватъ со своимъ юнымъ другомъ и вспоминать время, когда и его душа была горячѣе, чѣмъ теперь, и доступнѣе плѣнительнымъ иллюзіямъ. Обченіе съ Ленскимъ развлекаетъ Евгенія.

Дружба съ Ленскимъ привела Онѣгина и къ одному изъ первыхъ въ его жизни серьезныхъ моментовъ, когда предъ нимъ сталъ вопросъ морального характера и когда отъ его поведенія стало зависѣть благо другого лица. Мы разумѣемъ, конечно, полученіе Евгениемъ письма Татьяны. Онѣгину никогда не говорили о нравственномъ долгѣ; его воспитывали въ томъ предположеніи, что «привольная и праздная жизнь покатится щутя». Письмо Татьяны, анализъ котораго намъ предстоитъ при характеристицѣ этой героини, дышало чистымъ и высокимъ чувствомъ, и къ чести онѣгинскаго сердца, къ чести живого природнаго нравственнаго чувства Евгения, не погубленного нелѣпымъ воспитаніемъ и вліяніемъ пустой и часто развращенной свѣтской молодежи, Онѣгинъ «посланъемъ Тани живо тронутъ былъ; языкъ дѣвическихъ мечтаній въ немъ думы роемъ возмутить». Можно думать, что, прочитавъ письмо Татьяны, Онѣгинъ пережилъ нѣкоторую душевную борьбу. Живое нравственное чувство говорило ему, что Татьяну нужно прежде всего пожалѣть и пощадить; привычка, приобрѣтенная въ средѣ столичной молодежи, могла искушать Евгения возможностью поиграть Татьяной, воспользоваться ея дѣтски чистымъ и довѣрчивымъ чувствомъ и потомъ безжалостно бросить ее. Первое побужденіе, однако, побѣждаєтъ, и нельзя не согласиться съ Пушкинымъ въ томъ, что въ своемъ отвѣтѣ на Татьянино письмо Онѣгинъ «явили души прямое благородство».

Правда, что въ своемъ отвѣтѣ въ саду, въ аллеѣ, Евгений не удержался отъ искушенія стать въ эффектную позу и сыграть роль проповѣдника, богатаго жизненнымъ опытомъ наставника наивной дѣвочки. Но по существу рѣчь Онѣгина дышитъ благородной прямотой и доказываетъ бережное отношеніе къ полному любви дѣвическому сердцу. Откровенно нарисовавъ предъ Татьяной печальныя картины ихъ семейной жизни, если бы ихъ бракъ состоялся, Онѣгинъ вполнѣ искренно заявляетъ Татьянѣ, что онъ не способенъ къ прочному чувству; привычка убить въ немъ любовь. Прочувствованныя слова Онѣгина: «Мечтамъ и годамъ нѣть возврата» — совершенно искренни. Нельзя категорически отрицать также искренности признанія Онѣгина, что онъ любить Татьяну, быть можетъ, не только любовью брата, но и еще нѣжнѣй. Татьяна обратила на себя вниманіе Евгения въ первый же прїездъ его къ Ларинамъ («Я выбралъ

бы другую», говорить онъ Ленскому, влюбленному въ Ольгу). Черезъ четыре года, въ Петербургѣ, полюбивъ Татьяну, Онѣгинъ пишетъ ей: «случайно васть когда-то встрѣтъ, въ васть искру нѣжности замѣтъ, я ей повѣрить не посмѣль; привычкѣ милой не далъ ходу».

Не оскорбивъ Татьяны своимъ отвѣтомъ, смягчивъ суровость его признаніемъ, что онъ не остается равнодушенъ къ ея «совершенствамъ», Онѣгинъ, однако, категоричностью своего тона хотѣлъ указать Татьянѣ на необходимость совершенно оставить всякия надежды на счастье съ нимъ. При этомъ, несомнѣнно, Евгеній думалъ не столько о своемъ удовольствіи, сколько о благѣ и спокойствіи Татьяны. Моральное поведеніе Онѣгина въ этомъ серьезномъ случаѣ не заслуживаетъ упрека, что признаетъ и сама Татьяна въ послѣднемъ разговорѣ съ Евгеніемъ: «Въ тотъ страшный часъ вы поступили благородно, вы были правы предо мной, я благодарна всей душой». Если въ только что описанномъ случаѣ Онѣгинъ послушался голоса своей нравственной природы и потому поступилъ хорошо, то въ слѣдующую однородную минуту жизни, когда снова отъ его поведенія стало зависѣть благо другого лица, онъ, наоборотъ, заглушилъ въ себѣ голосъ нравственного чувства. Это случилось при получении Евгеніемъ вызова Ленского. На именинномъ балу у Лариныхъ, скучая и обвиняя въ своей скучѣ Ленского, привезшаго его на этотъ балъ, Онѣгинъ «небрежно подшутилъ» надъ пріятелемъ: онъ сталъ ухаживать за невѣстой Ленского Ольгой, зная пылкій нравъ поэта и его впечатлительность. И вотъ Ленскій «зоветъ друга на дуэль». Онѣгинъ, сообразно кодексу той среды, въ которой онъ привыкъ вращаться, безъ дальнихъ размышеній принимаетъ вызовъ и только по отвѣздѣ секунданта Ленского анализируетъ свой поступокъ. Ему становится ясно, что поступокъ этотъ не хорошъ, что онъ показалъ себя «пылкимъ мальчикомъ» вмѣсто «мужа съ честью и умомъ». Однако, на умъ Евгенію тотчасъ приходитъ, что если онъ возьметъ свое согласіе обратно, то вмѣшавшійся въ дѣло Зарѣцкій, «старый дуэлистъ», прославить его трусомъ. И хотя Онѣгинъ тутъ же мысленно называетъ глупцами тѣхъ своихъ сосѣдей, которые вмѣстѣ съ Зарѣцкимъ будутъ осуждать его трусость, «однако, шантажъ и хохотня» этихъ самыхъ «глупцовъ» пугаютъ Евгенія. «И вотъ общественное мнѣніе», иронически прибавляется Пушкинъ, ука-

зывая этимъ на то, какъ мало похожа эта «хохотня глупцовъ» на общественное мнѣнье въ настоящемъ смыслѣ этого слова. Очевидно, что и прочитавъ Байрона, Онѣгинъ, вслѣдствіе недостатка правильнаго умственнаго развитія, остался въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ близокъ къ Фамусову, такъ хлопотавшему о томъ, «что станетъ говорить княгиня Марья Алексѣевна».

Подчиненіе свѣтскому предразсудку дуэли заставило Онѣгина совершить убийство друга, долго тяготившее совѣсть Евгения. Послѣ дуэли онъ уѣзжаетъ путешествовать, но это мало его успокаиваетъ; смысла жизни Онѣгинъ не нашелъ, и его здоровье и богатство сильно его тяготятъ, какъ блага, которыми онъ не умѣеть пользоваться. Разладъ Евгения съ самимъ собою продолжается, и въ такомъ тяжеломъ душевномъ состояніи онъ возвращается въ столицы, будучи заранѣе увѣренъ, что и здѣсь все осталось попрежнему, и здѣсь его ждетъ все тотъ же недугъ—хандра. Но попавъ, по возвращеніи, въ Петербургъ, «какъ Чацкій, съ корабля на балъ», Онѣгинъ на этомъ балу встрѣчаетъ Татьяну—уже не уѣздной барышнею, а великосвѣтской дамой. И воть Онѣгинъ переживаетъ чувство, совсѣмъ не похожее на тѣ скоропреходящія увлеченія женщинами, какихъ у него было до этого много. Все то, что переживаетъ въ это время Онѣгинъ и что онъ съ большой силой выразилъ въ своемъ письмѣ къ Татьянѣ, свидѣтельствуетъ о серьезномъ характерѣ его безусловно искренняго чувства.

Возникаетъ, однако, вопросъ, способна ли душа Онѣгина къ такому чувству? Откуда такое пожирающее пламя чувства у человѣка, оставшагося почти равнодушнымъ, когда эта самая Татьяна «съ такою простотой, съ такимъ умомъ къ нему писала?». Можно утверждать, что ничего страннаго въ такой перемѣнѣ нѣть. Онѣгину довольно было недолгихъ наблюдений надъ новой, преобразованвшейся Татьяной, чтобы убѣдиться въ исключительной силѣ ея натуры. Притомъ Онѣгинъ увидѣлъ въ Татьянѣ воплощеніе тѣхъ именно чертъ душевной жизни, отсутствіе которыхъ у него самого такъ угнетало его. Татьяна предстала предъ Евгениемъ въ ореолѣ сильнаго и твердаго человѣка, знающаго, куда онъ идетъ, и руководимаго твердыми принципами. Душевная красота Татьяны ослѣпила Онѣгина, и страсть Евгения разгоралась все сильнѣе по мѣрѣ того, какъ онъ убѣждался въ твердости убѣждений Татьяны. Ему

одному изъ окружавшихъ Татьяну людей известно было, что перестрадала и скончила на днѣ души своей эта «равнодушная и смѣлая» великосвѣтская красавица, прежде чѣмъ стать равнодушной и смѣлой. Горкое сознаніе, что онъ самъ не понять всей глубины Татьяны, когда «счастье было такъ возможно, такъ близко», конечно, еще усиливало и страсть и муку Онѣгина.

Мы разстаемся съ Евгеніемъ «въ минуту, злую для него»: онъ выслушалъ изъ устъ Татьяны признаніе, что она его любить, но останется вѣрной тому, что считаетъ своимъ нравственнымъ долгомъ. Сіяніе идеала, горѣвшее для Онѣгина надъ образомъ Татьяны, стало еще ярче, и въ эту же минуту она ушла отъ него навсегда. Можно съ увѣренностью сказать, что душа Онѣгина больше не загорится, и что онъ дотянется равнодушно и безцѣльно свое тусклое существование.

Мы видимъ, что жизнь Онѣгина прошла въ бесплодномъ скиタルчествѣ, и силы Онѣгина остались безъ примѣненія. Не трудно замѣтить, что въ лицѣ Онѣгина Пушкинъ изобразилъ гораздо полнѣе, ярче и жизненнѣе тотъ самый типъ неудачника, который намъ-чался уже въ образахъ кавказского плѣнника и Алеко. Но тамъ предъ нами были блѣдныя тѣни, надуманныя поэтомъ въ значительной мѣрѣ подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ западно-европейскихъ писателей, здѣсь же—живой образъ русскаго человѣка, воспитанаго въ духѣ своего времени и раздѣлившаго судьбу всѣхъ «типическихъ исключений» той эпохи. Онѣгинъ—жертва того крутого перелома, который наступилъ въ русской жизни съ воспріятіемъ европейскихъ интересовъ и стремленій. Оторвавшись отъ берега патріархальной старой Руси, Онѣгинъ не доплылъ до берега сознательного протesta противъ недостатковъ русской жизни и погибъ для общества.

Въ жизненности и яркости этого образа заключается огромное историко-литературное и историко-общественное значеніе Онѣгинскаго типа. Мы видѣли, что Онѣгинъ какъ бы предчувствовались смутно въ нашей литературѣ XVIII и начала XIX столѣтія. Пушкинъ первый облекъ Онѣгина въ плоть и кровь и этимъ началъ длиннѣйшую и поучительнѣйшую галлерею типовъ неудачниковъ, созданныхъ нашей литературой XIX в.

**Татьяна.** «Пророческое» значеніе великаго романа Пушкина состоить, однако, не въ томъ одномъ, что типъ Онѣгина сталъ лите-

ратурнымъ предкомъ цѣлой многочисленной и интересной семьи типовъ. Рядомъ съ Онѣгиномъ, слабовольнымъ и безпринципнымъ, встаетъ передъ нами Татьяна, сильная и непреклонная. Слабый мужчина рядомъ съ сильной духомъ женщиной — это намъ также не разъ приходится наблюдать въ нашей позднѣйшей литературѣ XIX вѣка.

Обращаясь къ Татьянѣ, мы видимъ, что въ дѣствѣ она была окружена атмосферой старинной русской помѣщичьей жизни, и впечатлѣнія этого быта съ его «преданьями простонародной старины, вѣрой въ сны и карточные гаданья», любовь къ этому безхитростному быту, къ русскому складу жизни проникли все существо Татьяны; она была «русская душою, сама не зная почему». Въ ранній періодъ своего развитія Татьяна получала впечатлѣнія гораздо болѣе цѣльныя и болѣе сильныя, чѣмъ Онѣгинъ. Однако, при всей любви Татьяны къ русской жизни и русской природѣ, серьезный умъ дѣвочки не могъ удовлетвориться той жизнью, которая ее окружала. Между тѣмъ здоровой умственной пищи въ домѣ Лариныхъ взять было негдѣ. И вотъ «страшные рассказы зимою въ темнотѣ ночей» плѣнили сердце Татьяны. Фантастика нянинихъ сказокъ развила въ ней воображеніе въ ущербъ всѣмъ другимъ способностямъ и подготовила Татьяну къ восприятію сентиментальныхъ романовъ, которые рано стали «замѣнять ей все». Переводные романы сдѣлались единственными наставниками Татьяны, и чѣмъ дальше сюжеты и герои этихъ романовъ были отъ окружавшей Татьяну дѣйствительности, тѣмъ охотнѣе уносилась она всемогущей мечтой въ тотъ идеальный міръ, «предупреждая на балконѣ зари восходить».

Не было человѣка, не было впечатлѣній, которые указали бы Татьянѣ, что къ романамъ и къ ихъ героямъ надо отнестиась критически, что въ жизни есть иная явленія, иная чувства, чѣмъ тѣ, которыхъ изображены у Ричардсона и Руссо, и что эти романы часто являются обманами.

И вотъ, вполнѣ естественно, Татьяна стала ждать своего героя, который вырвалъ бы ее изъ той скучной и прозаичной среды, гдѣ она томилась, и перенесъ въ иную жизнь, полную глубокихъ чувствъ и неизвѣданныхъ наслажденій. Такіе герои, освобождающіе любящую дѣвшку изъ пошлой и однообразной дѣйствительности и переносящіе въ идеальный міръ, въ изобилії рисовались въ изу-

ченныхъ Татьяною романахъ. Татьяна обратилась въ ожиданіе, въ одинъ вдохновенный порывъ къ иной жизни. Какимъ же представляла себѣ Татьяна своего грядущаго избавителя? Можно съ увѣренностью сказать, что яснаго его образа не было у самой Татьяны, но одно для нея было несомнѣнно: онъ не будетъ похожъ на тѣхъ, кого она встрѣчала до сихъ поръ; онъ придетъ изъ иного міра, гдѣ иначе и думаютъ, и чувствуютъ, и желають, и будетъ презирать всю обстановку теперешняго Татьянинаго прозябанія. Для непроницательного взора Татьяна была заурядной барышней съ французской книжкою въ рукахъ, но взоръ поэта замѣтилъ еще печальную думу въ очахъ Татьяны, и вотъ эта печальная и серьезная дума дѣлала ее такимъ же «типическимъ исключениемъ» среди уѣздныхъ барышень, какимъ былъ Онѣгинъ среди столичной золотой молодежи. Почти всѣ уѣздныя барышни читали французскія книжки, но не у всѣхъ загоралась душа и печальная дума начинала свѣтиться въ очахъ. Явился Онѣгинъ, и у Татьяны, по словамъ Пушкина, «открылись очи»; она сказала: «это онъ». Всѣ герои прочитанныхъ и перечувствованныхъ Татьяною романовъ «въ единый образъ облеклись, въ одномъ Онѣгинѣ слились».

Чувство, охватившее Татьяну, вылилось въ ея письмѣ къ Онѣгину. Письмо это, какъ указано В. В. Сиповскимъ, представляетъ собою не только въ общемъ тонѣ, но и въ рядѣ отдѣльныхъ выражений почти пересказъ нѣкоторыхъ писемъ Юліи къ С.-Прѣ изъ романа Руссо «Новая Элоиза». Приведенные В. В. Сиповскимъ параллели убѣдительно доказываютъ, что Татьяна была усердной ученицей сентиментальныхъ западныхъ писателей, и что Пушкинъ былъ совершенно правъ, когда говорилъ, что его героиня «себѣ присвоила чужой восторгъ, чужую грусть». И тѣмъ не менѣе по своему возвышенному характеру письмо Татьяны принадлежитъ именно ей, вылилось изъ ея души. Про Татьяну въ этомъ случаѣ можно сказать то же, что про Жуковскаго: у нея все чужое и все въ то же время свое.

Анализируя письмо Татьяны, легко замѣтить, что оно опредѣленно распадается на двѣ части. Въ первой дѣвушка еще сама трепещетъ предъ Онѣгиннымъ, ужасается своей смѣлости и ограничивается безконечно скромнымъ пожеланіемъ видѣть Онѣгина разъ въ недѣлю, съ нимъ слово молвить—«и потомъ все думать, думать объ одномъ и день и ночь до новой встрѣчи». Однако, по мѣрѣ того,

какъ Татьяна пишеть, она становится смѣлѣе. И вотъ она доходитъ до выраженія мысли, что, можетъ быть, если бы Онѣгинъ вовсе не встрѣтился ей на жизненномъ пути, она была бы счастливѣе; она «не знала бы горькаго мученья, по сердцу нашла бы друга, была бы вѣрная супруга и добродѣтельная мать».

Эта мысль, однако, ужасаетъ Татьяну и оскорбляетъ ея чувство къ Евгению. «Другой», восклицаетъ она, и тутъ же съ торопливой горячностью прибавляеть: «Нѣть, никому на свѣтѣ не отдала бы сердца я». Съ этихъ словъ начинается вторая часть письма, рѣзко отличная отъ первой; въ этой второй части Татьяна смѣла, такъ какъ вѣритъ въ высшую таинственную силу, породившую душу ея съ душою Онѣгина; она чувствуетъ, что вся ея жизнь была «залогомъ свиданья вѣрнаго съ нимъ», и смѣло вѣряетъ себя его чести.

Глубина и высота чувства, искренность и простота выраженія, наивная, но трогательная вѣра въ рѣшеніе «Высшаго Совѣта», предназначившаго ее для Онѣгина—все это характеризуетъ чистую душу Татьяны, отравленную сладкимъ ядомъ сентиментальныхъ мечтаній. Мы видѣли, что даже въ душѣ Онѣгина, охлажденнаго опытами жизни, «языкъ дѣвическихъ мечтаній думы роемъ возмутилъ». Онѣгинъ оцѣнилъ письмо Татьяны, которому равнаго, по совершенно вѣрному замѣчанію Иванова-Разумника, нѣть въ русской литературѣ.

Намъ извѣстно, какой прямой и безнадежный отвѣтъ, какой «урокъ» смиренно выслушала Татьяна изъ устъ своего героя въ аллеѣ сада. Но чувство Татьяны, выростая изъ того «зерна», которое «пало» въ ея душу при чтеніи Ричардсона и Руссо и было «оживлено отнемъ весны» при появлѣніи Онѣгина, не могло угаснуть, такъ какъ этому чувству не на кого было обратиться; Онѣгинъ остался избранникомъ Татьяны и на немъ сосредоточилась вся сила ея мечтательнаго чувства.

Послѣ отѣзда Онѣгина изъ деревни Татьяна нѣсколько разъ посѣтила пустой Онѣгинскій домъ, побывала въ кабинетѣ своего героя и ознакомилась съ книгами, которая онъ читаль, и съ замѣтками, которая онъ дѣлалъ на поляхъ этихъ книгъ. Описывая въ VII главѣ романа эти посѣщенія Татьяною дома Евгения, Пушкинъ указываетъ на то, что «краткія слова, кресты и вопросительные крючки», въ которыхъ невольно выражалась душа Онѣгина, дали возмож-

ность Татьянъ «слава Богу, яснѣе понять того, по комъ она вздыхать осуждена судьбою властной». Всльдъ за этимъ указаниемъ у Пушкина идетъ рядъ названій, которыхъ онъ предлагаетъ примѣнить къ Онѣгину: «подражанье, ничтожный призракъ, Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ, чужихъ причудъ истолкованье, словъ модныхъ полный лексиконъ» и, наконецъ, «пародія».

При оцѣнкѣ значенія этихъ посѣщеній въ душевной исторіи Татьяны необходимо имѣть въ виду слѣдующее. Во-первыхъ, трудно допустить, чтобы краткія замѣтки на поляхъ книгъ (которыхъ Онѣгинъ, какъ извѣстно, «изъ опалы исключилъ» немногого) были особенно выразительны и достаточны для сколько-нибудь полной характеристики Евгения; во-вторыхъ, врядъ ли и Татьяна была настолько проницательна, чтобы, сопоставляя эти замѣтки съ содержаніемъ соответствующихъ мѣстъ книги, быть въ состояніи сдѣлать правильные выводы объ Онѣгинѣ. Поэтому трудно предполагать, чтобы мнѣніе Татьяны объ Онѣгинѣ существенно измѣнилось съ этого времени. Что же касается перечисленныхъ эпитетовъ, которые Пушкинъ примѣняетъ къ Онѣгину, то совершенно ясно, что прійти въ голову Татьяны такія опредѣленія Онѣгина не могли. Эти опредѣленія слишкомъ тонки, а наиболѣе удачное изъ нихъ, ставшее ходячимъ, — «Москвичъ въ Гарольдовомъ плащѣ» — обнаруживаетъ знакомство съ Байрономъ, котораго Татьяна до этого не знала.

Равнодушная ко всѣмъ провинціальнымъ женихамъ, тоскуя объ Онѣгинѣ, Татьяна покорно ѳдетъ въ Москву, «на ярмарку невѣсть». Такъ какъ «для бѣдной Тани всѣ были жребіи равны», а мать умоляла ее выйти замужъ за богатаго князя, ее полюбившаго, то Татьяна такъ и поступаетъ. Выходитъ Татьяна не по любви и даже любя другого, но винить ее за это врядъ ли возможно: она, несомнѣнно, и не скрывала отъ князя, «изувѣченного въ сраженьяхъ», что кромѣ уваженія, иныхъ чувствъ къ нему не питаетъ. Татьяна нашла въ себѣ довольно силъ, чтобы склонить на днѣ души все пережитое, и находить частичное удовлетвореніе въ томъ, что проживеть честно свою неудавшуюся жизнь и доставить счастье любящему ее человѣку.

Является Онѣгинъ, и его появленіе, несомнѣнно, производить новую бурю въ душѣ Татьяны. Но теперь Татьяна—окрѣпшій и научившійся владѣть собою сильный человѣкъ, и только настойчивыя,

долговременные притязания Онъгина на сближение съ нею заставляют Татьяну высказать ему—своей первой и последней любви—весь глубокий трагизмъ своей судьбы. Татьяна богата и знатна; она равнодушна и горда; но какъ она несчастна:

«А мнѣ, Онъгинъ, пышность эта,  
Постылой жизни мишура,  
Мои успѣхи въ вихрѣ свѣта,  
Мой модный домъ и вечера,  
Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада  
Всю эту ветошь маскарада,  
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ  
За полку книгъ, за дикій садъ,  
За наше бѣдное жилище,  
За тѣ мѣста, гдѣ въ первый разъ,  
Онъгинъ, видѣла я васъ».

Какова бы ни была жизнь Татьяны замужемъ, она не измѣнить даннымъ предъ алтаремъ обѣтамъ и не построить своего личного счастья на разрушенномъ семейномъ очагѣ любящаго человѣка.

Нѣть никакого сомнѣнія, что этотъ героический въ своей простотѣ отвѣтъ Татьяны Онъгину:

«Я вѣсь люблю—къ чему лукавить?—  
Но я другому отдана,  
Я буду вѣкъ ему вѣрна»

продиктованъ глубоко-выработаннымъ убѣжденiemъ, вошедшimъ въ плоть и кровь Татьяны. Она разстается навсегда съ Онъгинымъ, человѣкомъ, котораго любить и высоко ставить («Какъ съ вашимъ сердцемъ и умомъ быть чувства мелкаго рабомъ?». «Я знаю: въ вашемъ сердцѣ есть и гордость и прямая честь»); разстается не потому, чтобы сомнѣвалась въ серьезности его чувства и подозрѣвала здѣсь одно изъ легкихъ увлечений Онъгина, а потому, что, давъ обѣтъ вѣрности другому, лишилась права искать личного счастья съ Онъгинымъ.

Въ лицѣ Татьяны предъ нами первый въ русской литературѣ живой и яркій образъ сильной сознаніемъ долга русской женщины,

не хотяющей строить свое счастье на несчастії другого, чистой душою, глубоко чувствующей и скромной въ своемъ героизмѣ.

**Ленскій и Ольга.** Подробно охарактеризовавъ Онѣгина и Татьяну—два «типическихъ исключенія» своей эпохи, Пушкинъ рисуетъ въ своемъ романѣ и образы болѣе заурядныхъ и менѣе сложныхъ по своему душевному міру представителей молодого поколѣнія. Такими представителями являются Ленскій и Ольга. Послѣдняя — натура совсѣмъ простенъкая, неспособная ни къ глубокимъ чувствамъ, ни къ анализу своей душевной жизни. Напрасно Ленскій подозрѣвалъ въ душѣ Ольги чудеса,—тамъ чудесъ не было, а было заурядное чувство къ юному поэту, скоро и легко послѣ смерти послѣдняго перенесенное на улана, сдѣлавшагося мужемъ Ольги. Такимъ людямъ, какъ Ольга, жизнь дается легко, такъ какъ они скользятъ лишь по ея поверхности. Съ Ленскимъ мы уже знакомы. Идеальные порывы и романтическія настроенія его искренни, но не глубоки. Мы не видимъ въ Ленскомъ признаковъ сильного ума или какихъ-либо яркихъ индивидуальныхъ чертъ. Его увлеченіе моднымъ романтизмомъ, привезеннымъ изъ «Германіи туманной», носить чисто-юношескій характеръ, и въ чувствѣ Ленского къ Ольгѣ, повидимому, важную роль играетъ воображеніе. Можно сказать, что Ленскій во-время сходить съ жизненной сцены. Если бы онъ прожилъ долѣе, то, по указанію Пушкина, его ждалъ бы, вѣроятно, «обыкновенный удѣль»: онъ провелъ бы жизнь зауряднымъ помѣщикомъ, безъ всякихъ высшихъ интересовъ, «подагру бѣ въ сорокъ лѣть имѣль, пиль, ъль, скучалъ, толстѣль, хирѣль и наконецъ въ своей постели скончался бѣ посреди дѣтей, плаксивыхъ бабъ и лѣкарей». Правда, передъ этимъ Пушкинъ дѣлаетъ другое предположеніе о возможномъ будущемъ Ленского: «Быть можетъ, онъ для блага міра иль хоть для славы былъ рожденъ»,—но по всему облику Ленского, да и по тону самихъ предположеній Пушкина чувствуется, что «обыкновенный удѣль» скорѣе можно предположить для юнаго романтика, воспѣвавшаго «нѣчто и туманну даль, романтическія розы и поблеклый жизни цвѣть безъ малаго въ осьмнадцать лѣть».

**Особенности и значеніе романа.** Значеніе романа «Евгений Онѣгинъ» въ творчествѣ Пушкина и въ исторіи русской литературы не исчерпывается, однако, нарисованными въ этомъ произведеніи типическими образами. Романъ изобилуетъ чрезвычайно яркими

картинами быта и превосходными изображеніями русской природы. Таковы, напримѣръ, слѣдующія мѣста въ романѣ: разѣздъ изъ театра послѣ балета, именинныи обѣдъ и балъ у Ларинихъ, сборы изъ деревни и приѣздъ Ларинихъ въ Москву и встрѣча съ родными, описание осени («Ужъ небо осеню дышало»), зимы («Зима, крестьянинъ, торжествуя»), весны («Гонимы вешними лучами»). Всѣ бытovыя сцены и картины, нарисованныя Пушкинымъ, дышать глубокимъ реализмомъ; поэтъ иногда въ нѣсколькихъ стихахъ представляеть намъ цѣлую много-говорящую сферу жизни. Стоитъ для примѣра вспомнить описание покоевъ, въ которыхъ поселился Онѣгинъ послѣ смерти дяди. Особенность реалистического письма Пушкина, между прочимъ, заключается въ томъ безстрашіи, съ которымъ поэтъ переходитъ отъ самыхъ обыденныхъ и заурядныхъ предметовъ и явленій къ лицамъ и событиямъ большой исторической важности. Такъ, характеризуя геніальность юнаго Онѣгина въ «наукѣ страсти нѣжной», Пушкинъ вспоминаетъ по этому ловоду трагическую судьбу Овидія; въ описание вѣзда Ларинихъ въ Москву вставлены размышенія Пушкина о нашествіи Наполеона. Реалистическая природа таланта Пушкина сказалась въ мастерскомъ изображеніи, правда, большою частью краткомъ, лицъ и сценъ прозаическихъ, иногда пошлыхъ, чисто-гоголевской окраски. Упомянутое описание жизни дяди Онѣгина, гости Ларинихъ 12 января, возможное будущее Ленскаго, образъ Зарѣцкаго, изображеніе перехода Татьяниной матери отъ сентиментальной мечтательности къ заурядному крѣпостническому хоziйничанью—все это и многое другое въ романѣ свидѣтельствуетъ о томъ, что Пушкинъ не боялся и не избѣгалъ «пошлости пошлаго человѣка» и рисовалъ ее увѣренной рукою мастера. Вполнѣ гармонируетъ со строго-реалистической манерой пушкинского письма и обилие лирическихъ отступленій въ романѣ. Для поэта-реалиста его собственная душевная жизнь—такой же фактъ, какъ и бытъ, и природа, и, когда ходъ изображаемыхъ событий наводитъ поэта на тѣ или иные размыщенія, чувства или воспоминанія, то онъ и ихъ художественно выражаетъ на равныхъ правахъ съ эпическимъ элементомъ своего произведенія. Заканчивая въ Михайловскомъ VI-ю главу своего романа и чувствуя наступленіе полной зрѣлости своего ума и таланта, Пушкинъ въ прочувствованныхъ стихахъ прощается съ юностью и въ полу-шутливой формѣ

выражает свои горькие размышления о «святом». Въ началѣ VIII-ой главы, прежде чѣмъ привести Онѣгина «съ корабля на балль», поэтъ даётъ въ шести строфахъ свою краткую, но очень красивую поэтическую автобіографію, незамѣтно отожествляя къ концу свою подругу-музу съ Татьяной. Реализмъ Пушкина носить притомъ вполнѣ сознательный характеръ, и въ двухъ мѣстахъ романа мы встрѣчаемся съ сатирическимъ, хотя и добродушнымъ изображеніемъ двухъ отжившихъ литературныхъ направлений: ложно-классического и сентиментально-романтическаго. Первое мастерски пародировано въ шутливомъ «вступлениі», которымъ заканчивается VII глава романа; второе также шутливо осмѣяно въ приводившейся уже у насъ характеристиکѣ поэзіи Ленскаго.

Изъ всего, сказанного о романѣ, можно заключить, что значеніе его чрезвычайно велико и въ развитіи Пушкина, какъ поэта и человѣка, и въ развитіи русской литературы. Для Пушкина романъ знаменовалъ пору полной нравственной зрѣлости. Глубокій и поучительный смыслъ, заключенный въ величественномъ образѣ Татьяны, сдѣлалъ романъ однимъ изъ драгоценныхъ украшеній русской поэзіи и служилъ пророчествомъ обѣ одной изъ характернейшихъ особенностей нашего національного творчества—его морально-учительной роли. Безупречно-реалистичное письмо романа, одинаково правдивое и яркое изображеніе поэтомъ великаго и малаго, грандіознаго и пошлого, свидѣтельствовало о полной зрѣлости Пушкина, какъ художника-реалиста, и сдѣлало романъ его первымъ звеномъ въ длинной цѣпи развитія русского реальнаго романа, занявшаго почетное положеніе среди европейскихъ произведеній этого вида творчества.

Пушкинъ любилъ свой чудесный романъ, вмѣстѣ съ которымъ росъ самъ и какъ человѣкъ, и какъ художникъ. Въ концѣ романа, прощаясь со своими героями, изъ которыхъ особенно любилъ «Татьяну милую свою», поэтъ дѣлаетъ цѣнное признаніе, что его произведеніе складывалось постепенно, безъ заранѣе выработанного плана, складывалось вмѣстѣ со взглядами самого Пушкина, по мѣрѣ обогащенія его жизненнымъ опытомъ. Вотъ это признаніе:

«Промчалось много, много дней  
Съ тѣхъ поръ, какъ юная Татьяна

И съ ней Онъгинъ въ смутномъ снѣ  
 Явилися впервые мнѣ—  
 И даль свободнаго романа  
 Я сквозь магический кристаллъ  
 Еще неясно различалъ.

Великое искусство Пушкина въ созданіи эпитетовъ сказалось въ великолѣпномъ опредѣленіи—свободный романъ.

**Болдинская лирика.** Переидемъ къ Болдинской лирикѣ, которая также отчасти служить подведеніемъ итоговъ кончившемуся «скиタルческому» періоду жизни Пушкина. Изъ произведеній, выражающихъ чисто личныя чувства поэта, отмѣтимъ три стихотворенія, представляющихъ собою поэтическое прощеніе Пушкина съ его прежними увлеченіями, иногда очень сильными. Это—«Разставаніе», «Заклинаніе» и «Для береговъ отчизны дальней». Проникнутыя глубокимъ чувствомъ, выдающіяся по силѣ и красотѣ его выраженія (особенно послѣднее), эти произведенія свидѣтельствуютъ о томъ, что душа поэта далеко не всецѣло занята была любовью къ Н. Н. Гончаровой и надеждами на счастье украсить свою обитель этой «мадонной» («Мадонна», 1830). Изъ остальныхъ лирическихъ и мелкихъ эпическихъ стихотвореній этого времени нужно указать прежде всего на элегію «Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье». Въ этомъ дивномъ произведеніи поэтъ пророчески предвидѣть «трудъ и горе», которые ожидаютъ его въ будущемъ. Но это предвидѣніе нисколько не мѣшаетъ ему жаждать жизни. Среди мелочей и надобливыхъ заботъ повседневнаго существованія поэтъ ожидаетъ минутъ высокаго восторга предъ «вымысломъ», т. е. предъ идеаломъ, воплощеннымъ въ искусствѣ, и умиленного до слезъ наслажденія гармоніей. Будни жизни потонуть въ этихъ восторгахъ. «Можетъ быть», прибавляетъ поэтъ въ концѣ, «на мой закатъ печальный блеснетъ любовь улыбкою прощальной». Послѣдняя надежда подтверждается высказанное выше предположеніе, что любовь къ невѣстѣ не была у Пушкина чувствомъ всепоглощающимъ.

Чрезвычайно цѣнны, далѣе, два лиро-эпическихъ стихотворенія данного періода: «Осень» (отрывокъ) и «Румянный критикъ мой». Изъ первого мы получаемъ цѣнныя данные объ особомъ значеніи осени для творчества Пушкина; наряду съ яркими картинами осен-

ней природы мы находимъ здѣсь характеристику самого творческаго процесса поэта, къ сожалѣнію, далеко не оконченную, но все же весьма интересную. Второе изъ указанныхъ стихотвореній является чрезвычайно убѣдительнымъ доказательствомъ того, что Пушкинъ умѣлъ уловить частицы красоты и поэтической прелести даже въ самыхъ будничныхъ и печальныхъ картинахъ родной жизни и природы. Убогій пейзажъ, мастерски набросанный здѣсь поэтомъ, и грустная кратина своеобразныхъ похоронъ ребенка—это тѣ самыя «бѣдность да бѣдность да несовершенство нашей жизни», которыя потомъ стали предметомъ изображенія у Гоголя. Поражая своимъ глубокимъ и безнадежнымъ реализмомъ, стихотвореніе Пушкина дышитъ любовью къ этой бѣдной природѣ и забитому народу, и, несомнѣнно, это одинъ изъ тѣхъ случаевъ, когда поэтъ «чувствуетъ добрыя лирическия пробуждѣнія». Къ этому же времени относится знаменитая баллада «Бѣсы», съ чрезвычайною мѣткостью сближающая религіозно-поэтическія представленія нашего народа съ впечатлѣніями отъ русской природы. Если къ этому прибавить, что въ данный періодъ написаны: остроумная «Моя родословная», «Испанскій романъ», пѣсня въ шотландскомъ духѣ «Пью за здравіе Мери», посвященное Ломоносову четверостишие «Неводъ рыбакъ разстилалъ» и чудное подражаніе народнымъ сказкамъ: «Какъ весенней теплою порою», замѣчательное великодушно выдержанымъ эпическимъ тономъ повѣствованія, то изъ этого краткаго перечня для насъ станетъ ясно, какъ разнообразна, богата и глубока по содержанію и безукоризненна по выражению Болдинская лирика Пушкина.

**«Повѣсти Бѣлкина».** Къ этому же періоду, однако, принадлежитъ, кромѣ всего охарактеризованнаго, рядъ крупнѣйшихъ и значительнейшихъ произведеній великаго поэта. Таковы: «Повѣсти Бѣлкина», «Исторія села Горюхина» и такъ называемыя Болдинскія драмы.

Первые два изъ названныхъ произведеній написаны Пушкинымъ отъ имени вымышленного лица—помѣщика Ивана Петровича Бѣлкина, краткую біографію которого поэтъ предполагаетъ «Повѣстямъ». Обрисовалъ Бѣлкина, какъ человѣка мало образованнаго и простодушнаго, Пушкинъ хотѣлъ выдержать «Повѣсти» въ тонѣ, соотвѣтствующемъ этимъ свойствамъ ихъ мнемаго автора. Искусственность такой литературной формы нѣсколько стѣснила поэта, но тѣмъ не менѣе «Повѣсти Бѣлкина»—значительное событие въ

исторії нашей прозаической повѣствовательной литературы и литературного языка. Правда, въ нѣкоторыхъ изъ нихъ интересъ разсказа сосредоточенъ на случайностяхъ и совпаденіяхъ, не представляющихъ ничего характерного и типичнаго. Таковы: «Выстрѣль» и «Метель». Незначителенъ по сюжету также разсказъ «Барышня-крестьянка». Заключая въ себѣ отдѣльные черты и указанія, характерная для помѣщичьяго и военнаго быта, указанныя повѣсти въ цѣломъ не могутъ быть названы художественными обобщеніями русской дѣйствительности. Приблизительно то же можно сказать и о повѣсти «Гробовщикъ», хотя здѣсь мы имѣемъ дѣло съ довольно новой для того времени попыткой реально воспроизвести черты быта мелкихъ ремесленниковъ. Но вполнѣ выяснить значеніе данного произведения можно только на повѣсти «Станціонный Смотритель». Главный герой этой повѣсти, Симеонъ Выринъ,—прямой литературный предокъ героя гоголевской «Шинели». Простой, скромный и забитый служака, всю жизнь занимающійся вписываніемъ подорожныхъ проѣзжающихъ въ свою книгу и только благодаря своей хорошенъкои и обходительной дочки спасающейся отъ жестокой расправы со стороны нѣкоторыхъ изъ этихъ проѣзжающихъ, «почтовой станціи диктаторъ» дожилъ бы свой вѣкъ въ этой незатѣйливой обстановкѣ убогаго благополучія, если бы, вслѣдствіе ограниченности и довѣрчивости, не сталъ жертвой обмана со стороны хитраго гусара, увезшаго обольщенную Дуню на забаву себѣ и на позоръ ей, къ великому отчаянію старика. Напрасно пытался несчастный отецъ разыскать и вернуть дочь; въ Петербургѣ гусаръ дважды вытолкалъ за дверь Симеона Вырина, въ первый разъ съ оскорбительной денежной подачкой за позоръ дочери, а во второй съ одними ругательствами. Бѣдный спившійся стариkъ скоро умираетъ. Нельзя не замѣтить глубокаго общественного смысла въ этой простой исторіи. Горько было положеніе Симеона Вырина, когда онъ былъ станціоннымъ смотрителемъ. Никому изъ многаго множества проѣзжавшихъ чрезъ его станцію «господъ» никогда не приходило въ голову отнести къ нему, какъ къ человѣку, и, когда не было лошадей, смотритель часто рисковалъ подвергнуться грубой физической расправѣ. Въ это время, однако, утѣшениемъ ему въ его безправномъ и горькомъ положеніи служила любимая дочь. Потерявъ ее, стариkъ еще больнѣе ощутилъ свое безправие и погибъ его невинной жертвой.

Простой и правдивый рассказъ объ этой гибели наводитъ на читателя тяжелое раздумье.

**«Исторія села Горюхина».** Такимъ же глубокимъ общественнымъ смысломъ проникнута и «исторія села Горюхина», родовой отчина дворянъ Бѣлкиныхъ. Стоить вспомнить картину храмового праздника въ Горюхинѣ, когда присланный помѣщикомъ приказчикъ не могъ найти трезваго человѣка для прочтенія «грозновѣщей помѣщичьей грамоты». Вступивъ въ управлениѣ Горюхинамъ, приказчикъ положилъ въ основу своихъ дѣйствій слѣдующую мысль: чѣмъ мужикъ богаче, тѣмъ онъ избалованнѣе; чѣмъ бѣднѣе, тѣмъ смиреннѣе. Исходя изъ этой «аксіомы», приказчикъ началъ систематически разорять обитателей Горюхина. «Рекрутство», говорить между прочимъ историкъ Горюхина, «было торжествомъ корыстолюбивому правителю, ибо отъ него по очереди откупались всѣ богатые мужики, пока наконецъ выборъ не падалъ на негодяя или разореннаго». Если къ приведеннымъ указаніямъ «Исторії» прибавить краснорѣчивыя выдержки изъ «лѣтописи», веденной прадѣдомъ Ивана Петровича Бѣлкина на вплетенныхъ въ календари листахъ бумаги и послужившей однимъ изъ источниковъ для «Исторії», то картина горькаго существованія Горюхинцевъ станетъ еще ярче. Вотъ эти выдержки: «4 мая... Тришка за грубость бить. 6-го... Сенька за пьянство бить. 9-го... Тришка бить по погодѣ. 10-го. Тришка за пьянство бить».

Какъ сдѣланныя изъ «Исторії» извлеченія, такъ и общій тонъ этого произведенія не оставляютъ сомнѣнія въ томъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ замѣчательно яркимъ художественнымъ протестомъ противъ крѣпостного права. Пушкинъ съ беспощадною правдивостью изображаетъ весь ужасъ положенія закрѣпощенного народа и чрезвычайно низкое умственное и нравственное развитіе распорядителей его судебъ.

Такія произведенія, какъ «Румяный критикъ мой», «Станціонный смотритель» и «Исторія села Горюхина», убѣдительно доказываютъ, что ужасы русской крѣпостной дѣйствительности, бѣдность и убожество нашей жизни открылись художническому взору Пушкина до самой своей глубины. Несмотря на краткость и нѣкоторый схематизмъ этихъ произведеній, они по оставляемому въ читателѣ удручающему впечатлѣнію, по глубокой правдивости изображенія и по гуманному отношенію автора къ забитымъ и притѣсненнымъ

людямъ, въ родѣ Симеона Вырина или Горюхинцевъ, могутъ быть поставлены въ прямую связь со значительно позднѣйшими произведеніями Гоголя, Достоевскаго, Тургенева, Некрасова.

**Болдинскія драмы.** «Каменный Гость». Въ то самое время, какъ въ рядѣ своихъ произведеній поэтъ выразилъ свое глубокое знакомство съ отрицательными сторонами родной дѣйствительности и скорбь надъ ними, является другой рядъ высокихъ созданій Пушкина, въ которыхъ онъ доказываетъ ту свою геніальную способность—къ «перевоплощенію», къ перенесенію въ иные условія національностей и эпохъ,—которую Достоевскій считалъ одною изъ главныхъ національныхъ особенностей русскаго человѣка. Четыре драмы, написанныя Пушкинымъ въ Болдинѣ, переносятъ насъ въ четыре европейскихъ страны: Германію, Италію, Испанію и Шотландію. Изъ этихъ четырехъ драмъ только одна—«Пиръ во время чумы»—не носитъ характера законченного произведенія, а представляетъ собою лишь отрывокъ, притомъ переводный изъ Вильсона. Однако, и въ этомъ «отрывкѣ» Пушкинъ далъ настоящіе перлы поэзіи. Такова пѣсня «задумчивой Мери», пѣсня сентиментальная, но не приторная, а трогательная по той простотѣ и сердечности, съ которой Мери выражила свое глубокое чувство. И рядомъ съ этой трогательной пѣсней мы читаемъ мрачную и гордую пѣсню предсѣдателя, этотъ вызовъ грядущей смерти, проникнутый настроениемъ безумной и отчаянной смѣлости. Эти настроенія переданы Пушкинымъ съ великимъ мастерствомъ, и данную драму можно признать произведеніемъ отчасти лирическимъ. Остальные три названныхъ произведенія — цѣльныя, стройно развитыя и гармонически законченныя драмы. Сюжетомъ «Каменного гостя» является испанское народное преданіе о Донъ-Жуанѣ, разработанное разными писателями въ Европѣ много разъ. Между прочимъ, въ формѣ комедіи изобразилъ судьбу Донъ-Жуана Мольеръ, а въ формѣ поэмы Байронъ. Главный интересъ пушкинской драмы сосредоточенъ на личности Д.-Жуана, характеръ котораго раскрыть съ исчерпывающей полнотой. Въ III сценѣ Д.-Жуанъ, только что убившій у прелестной Лауры своего соперника Д.-Карлоса, ждетъ на кладбищѣ, подъ видомъ монаха, «смиреннаго отшельника», прїѣзда Донны Анны, вдовы убитаго когда-то Д.-Жуаномъ командора. Самовольно вернувшись изъ скучнаго изгнанія и скрываясь отъ властей, неутомимый, неустрешимый, неунывающій Д.-

Жуанъ ставить предъ собою трудную, но именно потому-то и заманчивую задачу завоевать сердце Донны Анны, ежедневно пріѣзжающей на могилу мужа и здѣсь плачущей. Д.-Жуану въ привычку быстрой и натискомъ побѣждать женскія сердца, и онъ еще до пріѣзда Д.-Анны рѣшаетъ, что будетъ дѣйствовать по отношенію къ ней по вдохновенію, безъ заранѣе обдуманного плана: «... что въ голову придется, то и скажу, безъ предуготовленія, импровизаторомъ любовной пѣсни...». По пріѣздѣ Д.-Анны Д.-Жуанъ начинаетъ разговоръ съ ней съ заявленія, что онъ не достоинъ молиться съ ней вмѣстѣ; что онъ можетъ только завидовать счастью того, чей мраморъ «согрѣть ея дыханіемъ небеснымъ и окропленъ любви ея слезами». Признаваясь тутъ же Д.-Аннѣ, что онъ не монахъ, Д.-Жуанъ выскаживается безконечно скромное желаніе—умереть и быть похороненнымъ у дверей кладбища, чтобы Д. Анна касалась ногой его могильного камня, проходя ко гробу мужа. На замѣчаніе Д. Анны, что его рѣчи обнаруживаются безуміе, Д.-Жуанъ, съ большою находчивостью подхватывая ея мысль, говорить, что, будь онъ безуменъ, онъ не сталъ бы «страдать въ безмолвіи», а громко заявлялъ бы о своей страстной любви къ Д. Аннѣ. Выражая, такимъ образомъ, всю силу своего чувства, Д.-Жуанъ, какъ мы видимъ, въ то же время льтеть въ душу Д. Анны сладкую отраву лести, ставя ее, Д. Анну, на недосягаемый для себя пьедесталъ святости. На вопросъ Д. Анны, давно ли онъ ее любить—вопросъ, ясно доказывающій, что ея сердце уже дрогнуло,—Д.-Жуанъ прибавляетъ, что «цѣну мгновенной жизни» онъ узналъ лишь съ тѣхъ поръ, какъ полюбилъ Д. Анну. Онъ желаетъ одного—видѣть Д. Анну, «когда уже на жизнь онъ осужденъ». Безконечно скромная и страстная рѣчи Д.-Жуана приводятъ къ тому, что Д. Анна сама предлагаетъ принять его у себя на другой день вечеромъ. Д.-Жуанъ счастливъ такимъ легкимъ рѣшеніемъ трудной задачи и на радостяхъ приглашаетъ статую убитаго имъ командора прійти къ Д. Аннѣ завтра вечеромъ и стать у двери на часахъ. Такая мальчишеская выходка вполнѣ соответствуетъ беззаботному нраву Д.-Жуана, не привыкшаго обдумывать свои поступки. Въ томъ же видѣ является передъ нами Д.-Жуанъ и въ IV сценѣ въ комнатѣ Д. Анны. Какъ на кладбищѣ отъ скромнаго желанія лежать въ землѣ у ногъ Д. Анны онъ дошелъ постепенно до назначенія свиданія, такъ теперь отъ мечты о томъ, чтобы «свой сань, свои бо-

гатства,—все отдать за единый благосклонный взглядъ» Д. Анны, Д.-Жуанъ быстро доходитъ до рѣшимости открыть ей, что онъ—убийца ея мужа. «Я убилъ супруга твоего», говоритъ Д.-Жуанъ,—«и не жалѣю о томъ, и нѣтъ раскаянья во мнѣ», прибавляеть онъ, прекрасно зная, что эти послѣднія слова, свидѣтельствуя еще разъ о силѣ его страсти къ Д. Аннѣ, не отягчать, а смягчать въ ея глазахъ его вину. Шагъ за шагомъ проникнувъ въ сердце Д. Анны, Д.-Жуанъ получаетъ возможность смѣло предложить ей вонзить ему кинжалъ въ грудь, какъ убийцѣ командора; Д.-Жуанъ знаетъ, что не только останется живъ, но получить и поцѣлуй и любовь утѣшившейся вдовы. Гибель Д.-Жуана изображена Пушкинымъ согласно съ испанской легендой—онъ проваливается вмѣстѣ съ приглашенной имъ статуей командора и такимъ образомъ терпитъ наказаніе за свое безвѣріе. Мы видимъ, какъ выдержанъ, ярокъ и оригиналъ образъ пушкинского Донъ-Жуана. Безстрашный, вдохновляющійся трудными задачами, которыя онъ самъ передъ собою ставитъ, беззаботный, искренній въ своихъ быстро смыняющихся увлеченіяхъ, Д.-Жуанъ представляеть собою богатую натуру, не получившую, однако, правильнаго развитія.

**«Скупой Рыцарь».** Соблюдая въ характерахъ дѣйствующихъ лицъ и обстановкѣ дѣйствія «Каменного гостя» мѣстный испанскій колоритъ, Пушкинъ создалъ, однако, въ лицѣ своего Донъ-Жуана интересный обще-человѣческій типъ, превосходно выдержаный и всесторонне обрисованный. Столъ же яркій типъ общечеловѣческаго значенія, но съ чертами, прямо противоположными Донъ-Жуану, имѣемъ мы въ другой драмѣ—«Скупой рыцарь». Здѣсь предъ нами человѣкъ, вся душевная жизнь котораго порабощена одною все-поглощающею страстью— страстью къ золоту. Глубокій трагизмъ судьбы старого барона состоять въ тѣхъ страданіяхъ, которыя ему пришлось пережить прежде, чѣмъ процессъ этого полнаго подчиненія своей страсти закончился. Съ любовью перебирая свои дорогіе червонцы въ тотъ счастливый день, когда ему удалось всыпать горсть золота въ шестой, еще не полный сундукъ, баронъ припоминаетъ исторію нѣкоторыхъ изъ этихъ монетъ. Одинъ дублонъ принесла ему голодная вдова одного изъ его должниковъ; полдня она, съ тремя дѣтьми стоя на колѣняхъ, умоляла простить ей долгъ, но баронъ не простила. Взять онъ деньги и отъ Тибо, «лѣнивца

и плута», будучи уверены, что Тибо или укралъ ихъ, или ночью, на большой дорогѣ, отнялъ у убитаго проѣзжаго. Не безъ борьбы далась барону эта твердость и совершенная нравственная неразборчивость при взысканіи денегъ. Онъ говорить—и, несомнѣнно, это выстраданныя слова,—что «если бы всѣ слезы, кровь и потъ, пролитые за все, что здѣсь хранится, изъ нѣдръ земныхъ всѣ выступили вдругъ, то былъ бы вновь потопъ», и онъ, баронъ, захлебнулся бы въ своихъ вѣрныхъ подвалахъ. Та моральная борьба, которую пришлось выдержать барону, даетъ ему право утверждать, что золото, хранящееся въ его сундукахъ, досталось ему далеко не даромъ. Онъ выстрадалъ это богатство; онъ заплатилъ за него лучшими чувствами души, погибшими въ борбѣ съ ужасною страстью.

Когда-то барономъ руководила при собираніи золота та мысль, что только золото даетъ человѣку власть и является источникомъ всѣхъ возможныхъ наслажденій. Эту мысль рыцарь выражаетъ въ извѣстномъ чрезвычайно красивомъ монологѣ: «Что не подвластно мнѣ?» Но по мѣрѣ того, какъ баронъ привыкалъ наслаждаться червонцами, не какъ средствомъ къ получению удовольствія, а какъ чѣмъ-то самодовлѣющимъ,—разстаться съ золотомъ становилось для него невозможно и немыслимо. Онъ потерялъ духовную свою свободу и сталъ рабомъ своихъ монетъ, сталъ служить имъ, по выражению его сына Альбера, «какъ алжирскій рабъ, какъ песь цѣпной».

Мы указали, что ко времени дѣйствія пушкинской драмы та тяжелая борьба, которая изнуряла душу барона, уже закончилась; скупость взяла свое и вытравила изъ этой души всѣ благородныя человѣческія чувства, всякую здравую и свободную мысль. Является, однако, обстоятельство, которое заставляетъ барона вновь пережить сильную душевную бурю, на этотъ разъ губящую старика. Это обстоятельство—жалоба сына барона, Альбера, герцогу на нежеланіе отца содержать его такъ, какъ прилично жить молодому рыцарю. Призванный герцогомъ, старый баронъ попадаетъ въ тяжелое до безысходности положеніе; онъ понимаетъ, что требованія, предъявляемыя ему герцогомъ, совершенно справедливы и соглашаются съ обычаями и традиціями того сословія, къ которому онъ принадлежитъ; но всецѣло порабощенный скупостью, ужасаясь одной мысли начать тратить крупныя суммы на доставленіе удо-

вольствій сыну, баронъ вынужденъ прибѣгнуть ко лжи относительно Альбера. Изобличенный послѣднимъ и названный лжецомъ, старикъ глубоко оскорбленаъ этимъ названіемъ, такъ какъ онъ по природѣ вовсе не лжецъ, и только особое, совершенно болѣзньенное душевное состояніе вынудило его ко лжи. Бросивъ вызовъ сыну, баронъ не выдерживаетъ пережитыхъ потрясеній и умираетъ.

Въ противоположность ясной, открытой и обыкновенно счастливой душѣ Донъ-Жуана, предь нами болѣзньено спрятавшаяся въ свою скорлупу, боязливая, недовѣрчивая и надорванная страданіемъ и борьбой душа скупого рыцаря. Поэтъ съ необычайной ясностью изобразилъ процессъ постепенного омертвѣнія этой души, вся жизнь которой прошла въ напряженной борьбѣ съ «когтистымъ звѣремъ»—совѣстью.

**«Моцартъ и Сальери».** Замѣчательного совершенства достигаетъ Пушкинъ въ четвертой изъ «Болдинскихъ» драмъ—въ «Моцартѣ и Сальери». Первый монологъ Сальери сразу вводить насъ въ то тяжелое душевное состояніе, которое Сальери переживаетъ. Мы узнаемъ, что, горячо любя музыку, Сальери съ дѣтства съ великимъ прилежаніемъ, шагъ за шагомъ, совершенствовался въ этомъ искусствѣ, рано научившись отгонять отъ себя соблазнъ творчества и трудиться надъ сухой техникой музыки. Достигнувъ техническаго совершенства, Сальери осмѣлился творить, но первыя попытки его къ творчеству оказывались часто неудачными,—и онъ безощадно уничтожалъ написанное. Когда онъ убѣжался въ томъ, что шель ложнымъ путемъ, то отказывался отъ всего сдѣланнаго и начиналъ напряженную работу въ другомъ направлѣніи. При этомъ онъ радовался не только своимъ успѣхамъ, но и успѣхамъ другихъ композиторовъ, такъ какъ ему дорого было само искусство, а не одна лишь личная слава.

Изъ этой части монолога Сальери мы имѣемъ право заключить, что передъ нами благородный, безкорыстно любящій искусство музыкантъ, усиленнымъ и напряженнымъ трудомъ достигшій въ музыкѣ «степени высокой». Талантъ Сальери, повидимому, не очень крупенъ,—это можно заключить изъ рассказа Сальери о вліяніи на него Глюка: очевидно, своего, прочнаго и самобытнаго, Сальери ничего не создалъ.

И вотъ этотъ благородный служитель тончайшаго изъ искусствъ

уязвленъ ужасной, все разростающейся страстью-завистью къ своему другу, генальному композитору Моцарту. Зависть эта вовсе не является результатомъ только славы Моцарта, далеко превзошедшей славу Сальери; такая мелкая зависть, исходящая изъ побуждений чисто личного характера, глубоко чужда натуры Сальери, и онъ отъ души презираетъ такихъ завистниковъ, называя ихъ змѣями, людьми растоптанными, вживѣ песокъ и пыль грызущими безсильно. Зависть, разгорѣвшаяся въ душѣ Сальери, имѣеть болѣе глубокіе корни, и для пониманія ея происхожденія нужно уяснить себѣ личность Моцарта. Сдѣлаемъ нѣсколько наблюдений надъ поведеніемъ послѣдняго въ драмѣ Пушкина. Весело войдя къ Сальери, Моцартъ предлагаетъ «угостить» послѣдняго «нежданной шуткой». Онъ привель съ собою слѣпого скрипача, который съ ужасными искаженіями исполняетъ на своесть убогомъ инструментѣ арію изъ моцартовской оперы «Донъ-Жуанъ»; такая профанація искусства нисколько не возмущаетъ автора оперы, наоборотъ, веселить его, и онъ награждаетъ скрипача деньгами. Вслѣдъ за этимъ Моцартъ исполняетъ на фортепиано «бездѣлицу», пришедшую ему въ голову во время бессонницы. Эта «бездѣлица» приводить Сальери въ восторгъ своею «глубиной, смѣлостью и стройностью», и Сальери называетъ Моцарта «богомъ», но Моцартъ не придаетъ значенія словамъ Сальери и, шутливо замѣчая, что «его божество проголодалось», условливается съ Сальери отобѣдать вмѣстѣ въ трактирѣ Золотого Льва.

Уже изъ поведенія Моцарта у Сальери можно заключить, что натура Моцарта вовсе не похожа на натуру Сальери. Творчество дается, очевидно, Моцарту совсѣмъ легко; онъ творить «играющи» и самъ не придаетъ никакого серьезнаго значенія ни своимъ твореніямъ, ни славѣ. Онъ не задумывается, подобно своему другу, надъ смысломъ искусства и остается «добрый малымъ». За обѣдомъ въ трактирѣ личность Моцарта выясняется предъ нами еще полнѣе. Онъ разсказываетъ Сальери о произшедшемъ съ нимъ странномъ случаѣ: неизвѣстный черный человѣкъ позвонилъ къ нему, когда онъ «игралъ на полу съ своимъ мальчишкой» (характерное для Моцарта занятіе), и заказалъ ему Requiem. Съ тѣхъ поръ заказчикъ не является, хотя Requiem готовъ. Моцартъ признается, что ему жаль было бы разстаться со своей работой, и прибавляеть, что ему

всюду мерещится тотъ черный человѣкъ. Requiem Моцарта оказывается дивнымъ музыкальнымъ произведеніемъ.

Изъ всего, сказаннаго о Моцартѣ, видно, что это довѣрчивый и веселый человѣкъ съ открытой и ясной душою, человѣкъ одного типа съ пушкинскимъ Донъ-Жуаномъ и Дмитриемъ Самозванцемъ. Своему дарованію онъ не придаетъ значенія и щедро надѣляеть именемъ генія своего вовсе не геніального друга. Моцартъ добръ, спокоенъ и счастливъ; и это счастье, какъ можно догадываться, дается ему величайшимъ изъ наслажденій — наслажденіемъ творчества. Ощущая въ душѣ своей неисчерпаемый источникъ этого творчества, Моцартъ разсыпаетъ безъ сожалѣнія созданные имъ дивные звуки, какъ миллионеръ мелкую монету, и только весело хохочеть, слушая искаженіе своихъ созданій.

Всѣ сейчасъ кратко формулированныя свойства Моцарта должны были поднять бурю въ душѣ Сальери и заставить его взбунтоваться противъ міровой несправедливости. Прочтемъ, какъ формулируетъ самъ Сальери эту лишившую его покоя несправедливость:

«О небо!

Гдѣ жъ правота, когда священный даръ,  
Когда бессмертный геній — не въ награду  
Люби горящей, самоотверженья,  
Трудовъ, усердія, моленій посланъ,  
А озаряетъ голову безумца,  
Гуляки празднаго?»

Жгучая зависть Сальери къ Моцарту основана, какъ мы видимъ, не на одной досадѣ на неудачное соревнованіе. Она усиливается до размѣровъ страсти потому, что Моцартъ является для Сальери воплощеніемъ высочайшей несправедливости Божества: не трудясь и не страдая, онъ легко достигаетъ въ искусствѣ неизмѣримо болѣе высокаго совершенства, чѣмъ труженикъ Сальери, и самъ не цѣнить своего великаго дара и тѣмъ унижаетъ искусство.

Вполнѣ естественно, что, нося такой характеръ, будучи бунтомъ противъ высшей несправедливости, воплощеніемъ которой является судьба Моцарта, зависть Сальери должна дойти до высочайшей степени и привести къ трагическому концу. Уже въ началѣ

драмы, въ первомъ монологѣ Сальери, чувствуется возможность такого трагического конца. Послѣ посѣщенія Моцарта Сальери окончательно рѣшается отравить своего друга. Отношеніе Моцарта къ слѣпому скрипачу и къ своей «бездѣлкѣ» было послѣднимъ ударомъ, убѣдившимъ Сальери въ томъ, что Моцартъ недостоинъ своего генія, а слѣдовательно и жизни. Въ трактирѣ разсказъ Моцарта о черномъ человѣкѣ, съ яснымъ намекомъ на предчувствіе Моцартомъ своей скорой смерти, и наконецъ, замѣчаніе Моцарта, что геній и злодѣйство—две вещи несовмѣстныя,—замѣчаніе, ударившее по самомульному мѣstu души Сальери и напомнившее ему, что онъ, несмотря на всѣ свои неусыпные труды, ничто въ сравненіи съ геніальнымъ «гулякой празднымъ»—все это даеть Сальери силу тутъ же привести въ исполненіе свой давній замыселъ и погубить «херувима, занесшаго къ намъ нѣсколько райскихъ пѣсенъ».

По богатству и глубинѣ содержанія, по сосредоточенной силѣ выраженія, по полнотѣ раскрытия характеровъ и строгой послѣдовательности дѣйствія, при крайне малыхъ размѣрахъ, драма «Моцартъ и Сальери» одно изъ геніальнѣйшихъ созданій Пушкина.

## VII.

### Послѣдніе годы жизни и дѣятельности Пушкина. Итоги.

**Новый періодъ жизни поэта.** Никогда, ни прежде, ни послѣ, творчество Пушкина не достигало такого напряженія, и не давало столь богатыхъ количественно и качественно результатовъ, какъ осенью 1830 г. въ Болдинѣ. Поэтъ простился здѣсь съ изжитымъ «скитальческимъ» своимъ періодомъ и подготовился къ вступленію въ «тихую пристань» семейной жизни.

18 февраля 1831 г. въ московской церкви Старого Вознесенія состоялась свадьба Пушкина съ Н. Н. Гончаровой, а 4 декабря того же года поэтъ опредѣленъ на службу въ коллегію иностранныхъ дѣлъ. Такъ вошелъ Пушкинъ въ столичную придворно-свѣтскую сферу, въ которой и протекли послѣднія 5 лѣтъ его жизни.

Обратимся сначала къ ознакомленію съ эпическими и драматическими произведеніями, созданными поэтомъ за это время, а по-

томъ уже прослѣдимъ душевную жизнь и судьбу великаго поэта въ связи съ его лирикой послѣднихъ лѣтъ.

**«Русалка».** Къ 1832 году относится оставшаяся неоконченной драма «Русалка», относительно которой есть правдоподобное предположеніе, что она начата въ Болдинѣ. Въ этой драмѣ знаніе и пониманіе Пушкинъ русской дѣйствительности, исторіи и народной поэзіи доставили поэту возможность дать рядъ превосходно написанныхъ картинъ, въ которыхъ міръ живой народной дѣйствительности гармонически соединенъ съ міромъ поэтической народной фантазіи. Дышитъ жизнью и плутоватый, себѣ на умѣ, мельникъ, учацій дочь извлекать выгоду изъ любви къ ней молодого князя, и дѣвушка, беззаботно и безкорыстно любящая, и самъ князь — слабовольный человѣкъ, подчиняющійся обычаю и бросающей по случаю женитьбы любимую дѣвушку. Покинутая любимымъ человѣкомъ, дочь мельника бросается въ Днѣпъ и тамъ дѣлается русалкой, что даетъ поводъ поэту изобразить картину подводной жизни по народно-поэтическимъ представлениямъ и появленіе русалокъ на берегу, съ ихъ великолѣпной пѣсней. Связью между двумя мірами — реальнымъ и фантастическимъ — служить картина свадебнаго княжескаго пира, на которомъ раздается пѣсня погубленной княземъ дѣвушки. Глубокимъ драматизмомъ исполнена встрѣча князя, котораго и послѣ свадьбы «влечетъ къ грустнымъ берегамъ» Днѣпра, съ отцомъ утопившейся дѣвушки. Таинственная пѣсня, пропѣтая на свадебномъ пиру, не перестаетъ звучать въ душѣ князя и напоминаетъ ему о совершенномъ имъ грѣхѣ. Душевная страданія служатъ для князя ужаснымъ возмездіемъ за этотъ грѣхъ. Послѣднія написанныя Пушкинъ строки драмы даютъ основаніе предполагать, что возмездіе это, въ концѣ концовъ, должно было завершиться въ духѣ народныхъ представлений гибелю князя, завлеченаго маленькой русалочкой на дно Днѣпра. Картина жизни мельника, княжескаго пира, сумасшествія несчастнаго отца, одиночества нелюбимой княгини свидѣтельствуютъ о глубочайшемъ знаніи поэтомъ русскаго народнаго и древняго быта и міровоззрѣнія.

**«Дубровскій».** Въ томъ же 1832 г. и въ началѣ 1833 г. написана Пушкинъ повѣсть «Дубровскій». Она примыкаетъ къ тѣмъ, уже знакомымъ намъ, произведеніямъ Пушкина, въ родѣ «Стан-

ционного смотрителя», въ которыхъ поэтъ правдиво изображаетъ самыя непрятливыя явленія русской жизни. Описаніе того, какъ у Дубровскаго отнято было завѣдомо ему принадлежавшее имѣніе, какъ подкупъ судей и ихъ страхъ предъ сильнымъ Троекуровымъ довели до помѣшательства и смерти честнаго, но бѣднаго и потому безсильнаго въ своей правотѣ человѣка—является однимъ изъ очень яркихъ изображеній нашего безправія, произвола и злоупотреблений администраціи. Типичны полудикие, наглые и циничные исправникъ и засѣдатель, пріѣхавшіе отбирать имѣніе у молодого Дубровскаго и погибшіе въ отпѣ. Чрезвычайно характеренъ для крѣпостнаго строя русской жизни властный самодуръ Троекуровъ, имѣвшій привычку за哩вать гостей для потѣхи въ одну комнату съ голоднымъ медвѣдемъ. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что въ фабулѣ «Дубровскаго» довольно силенъ романтическій элементъ («благородный разбойникъ»). Это ставить «Дубровскаго» ниже другихъ произведеній Пушкина въ прозѣ.

**«Сказки» и пѣсни западныхъ славянъ.** Обращаясь къ остальнымъ крупнымъ по объему произведеніямъ послѣдняго періода, возьмемъ изъ нихъ прежде всего «Сказки». Интересъ Пушкина къ русской народной поэзіи и прекрасное знаніе ея давно намъ извѣстны; нѣть, поэтому, ничего удивительнаго въ замыслѣ поэта создать подражанія народнымъ сказкамъ, про которыхъ Пушкинъ писалъ, что «каждая изъ нихъ есть поэма». Съ 1831 по 1833 годъ Пушкинъ создаетъ пять своихъ сказокъ. Изъ нихъ три—«О царѣ Салтанѣ», «О мертвѣй царевнѣ» и «О золотомъ пѣтушкѣ»—написаны оригинальнымъ, очень живымъ и быстрымъ размѣромъ, четырехстопнымъ хореемъ съ риѳмами, и уже этимъ значительно отличаются по формѣ отъ народнаго повѣствованія. Пушкинскія сказки изящны, интересны, картины, но нельзѧ сказать, чтобы въ нихъ чувствовалось дыханіе народной поэзіи. Онѣ слишкомъ индивидуальны для этого. Двѣ другія сказки—«О попѣ и работнике его Балдѣ» и «О рыбакѣ и рыбѣ»—своимъ медлителійнымъ изложеніемъ, съ длинными строчками, въ первой неразмѣренными, а только риѳмованными, гораздо ближе къ сказкамъ народнымъ. Далѣе, въ концѣ 1832 г. начаты и въ половинѣ 1833 г. окончены «Пѣсни западныхъ славянъ», переведенные и отчасти передѣланыя Пушкинъ изъ сборника, изданнаго французскимъ писателемъ Мериме и оказавшагося потомъ не

собралиемъ иллирійскихъ народныхъ пѣсенъ, а сочиненiemъ самого Мериме. По мнѣнію изслѣдователя этого произведенія, Пушкинъ, внеся нѣкоторыя измѣненія въ текстъ Мериме, во многихъ случаяхъ подошелъ гораздо ближе къ духу народнаго эпоса, чѣмъ французскій авторъ.

**«Мѣдный Всадникъ».** Переидемъ къ тѣмъ эпическимъ произведеніямъ Пушкина, возникновеніе которыхъ связано съ научными занятіями поэта русской исторіей. Мы знаемъ, что эти занятія начались у Пушкина еще на югѣ, во время первой ссылки, и затѣмъ не прекращались. Намъ извѣстенъ также особый интересъ поэта къ Петру Великому. Послѣ новаго поступленія на службу Пушкинъ испросилъ у императора Николая разрѣшеніе пользоваться всякими архивными документами, не исключая секретныхъ, для составленія исторіи Петра Великаго. Исторія эта написана не была; точную причину этого установить трудно, но, на основаніи замѣтокъ Пушкина о времени Петра допустимо, между прочимъ, предположеніе, что по мѣрѣ болѣе подробнаго знакомства съ эпохой Петра I и его личными дѣйствіями отношеніе поэта къ этому царю переставало быть безусловно восторженнымъ, и тѣневыя стороны его личности становились ясны для Пушкина. Можетъ быть, въ связь съ этимъ обстоятельствомъ можно поставить вопросъ, лежащій въ основѣ поэмы «Мѣдный Всадникъ», написанной въ 1833 году.

Въ этой не совсѣмъ отдѣланной поэмѣ Пушкинъ изобразилъ, въ лицѣ мелкаго чиновника Евгенія, самаго обыкновеннаго и довольно ограниченного человѣка, одну изъ косвенныхъ жертвъ Петровской преобразовательной дѣятельности. Во время знаменитаго Петербургскаго наводненія въ ноябрѣ 1824 г. Евгеній теряетъ свою невѣstu, домикъ которой уносятъ волны, и лишается отъ ужаса разсудка; Евгеній произноситъ дерзкія слова, обращаясь къ памятнику Петра Великаго, основавшаго Петербургъ на такомъ опасномъ мѣстѣ, и несчастному безумцу начинаетъ казаться, что мѣдный всадникъ всюду преслѣдуjeтъ его, звонко скача «по потрясенной мостовой». Скоро Евгеній умираетъ у порога ветхаго домишкі, и его хоронять ради Бога.

Мы видимъ, что Евгеній достоинъ во всякомъ случаѣ глубокаго сожалѣнія. Счастье и благополучіе Евгенія разрушено, и причиной этому, дѣйствительно, служить государственная дѣятельность Петра

Великаго. То, что сдѣлано преобразователемъ Россіи для блага цѣлаго государства и народа, является источникомъ бѣдствій и гибели для множества отдельныхъ лицъ. Вопросъ о справедливости такого положенія дѣлъ, о томъ, имѣлъ ли право несчастный Евгений протестовать противъ дѣйствій «чудотворнаго строителя», или это непрощительная дерзость со стороны Евгения,—остается въ поэмѣ безъ всякихъ рѣшеній. Повидимому, этотъ вопросъ для самого поэта остается вопросомъ. Но несомнѣнно, во всякомъ случаѣ, что образъ Петра Великаго не такъ свѣтель въ данной поэмѣ, какъ въ прежнихъ произведеніяхъ Пушкина. Петръ пріобрѣтаетъ черты властителя, грозного и беспощаднаго къ «дрожащей твари». Это не помѣшало, впрочемъ, Пушкину, яркими красками нарисовать дѣйствительно «чудотворную» постройку величественной столицы, въ сто лѣть «вознесшейся пышно, горделиво изъ тьмы лѣсовъ, изъ топи блатъ». Поэма украшена бессмертнымъ по картинности изображеніемъ «творенія Петра» и мощнымъ описаніемъ наводненія, знакомаго Пушкину только по рассказамъ, такъ какъ въ ноябрѣ 1824 г. поэтъ жилъ «отшельникомъ» въ Михайловскомъ. Прибавимъ тутъ же, что послѣднимъ художественнымъ воспроизведеніемъ образа Петра Великаго у Пушкина было замѣчательное своей мужественной простотой эпическое стихотвореніе 1835 г. «Пиръ Петра Великаго».

**«Капитанская Дочка».** Занимаясь историческими изученіями, связанными съ планомъ исторіи Петра Великаго, Пушкинъ предпринялъ другой исторический трудъ, меньшаго объема, «Исторію Пугачевскаго бунта», которая въ самомъ концѣ 1834 г. и вышла въ свѣтъ. Съ этимъ трудомъ связана знаменитая повѣсть Пушкина «Капитанская дочка», представляющая собою художественную иллюстрацію къ эпохѣ Пугачевскаго бунта, интересовавшаго Пушкина, какъ вообще интересовали его всякия народныя движенія въ русской исторіи.

Въ повѣсти «Капитанская дочка», написанной въ 1833 году, Пушкинъ оправдалъ отчасти то пророчество о самомъ себѣ, которое высказалъ когда-то въ XIII-й строфѣ 3-й главы «Евгения Онѣгина», въ слѣдующихъ словахъ:

«Быть можетъ, волею небесъ,  
Я перестану быть поэтомъ,  
Въ меня вселится новый бѣсъ,

И, Фебовы презрѣвъ угрозы,  
 Унижусь до смиренной прозы:  
 Тогда романъ на старый ладъ  
 Займетъ веселый мой закать.  
 Не муки тайныя злодѣйства  
 Я грозно въ немъ изображену,  
 Но просто вамъ перескажу  
 Преданья русскаго семейства,  
 Любви плѣнительные сны  
 Да нравы нашей старины».

Именно такой «простой пересказъ» «преданій русскаго семейства» мы и имѣемъ въ «Капитанской дочкѣ». Повѣсть написана отъ лица честнаго, но простого и не особенно развитого человѣка—Петра Андреевича Гринева, помѣщичьяго сына и офицера. Среда, въ которой приходится жить Гриневу, служа въ Бѣлогорской крѣпости, еще проще его самого. Командиръ крѣпости, капитанъ Мироновъ, слушается во всемъ своей энергичной и храброй супруги, и чета эта въ ежедневной жизни производить довольно комическое впечатлѣніе. Уровень понятій Мироновыхъ характеризуется слѣдующимъ совѣтомъ, даннымъ Василисой Егоровной поручику Ивану Игнатьевичу и ни въ комъ изъ окружающихъ не возбудившимъ удивленія: «Разбери Прохорова съ Устиньей, кто правъ, кто виноватъ. Да обоихъ и накажи». Такъ же скромна по своему развитію, понятіямъ и стремленіямъ и дочь Мироновыхъ, Марія Ивановна, дѣвушка простая, малообразованная, нерѣчистая, вѣрующая въ Бога и хранящая традиціи, съ дѣтства ей внущенные. Такъ, Марія Ивановна ни за что не желаетъ и думать о выходѣ замужъ за любимаго ею Гринева безъ согласія его родителей. Такіе же цѣльные, простые, живущіе безъ душевной борѣбы и безъ какихъ-либо высшихъ стремленій люди и старики Гриневы, родители Петра Андреевича, и дядька его Савельичъ, и всѣ дѣйствующія лица повѣсти, кромѣ Швабрина—низкаго предателя и негодяя—и Пугачева, о которомъ поговоримъ немного ниже.

Мы видимъ, что и въ «Капитанской дочкѣ», подобно болѣе раннимъ произведеніямъ Пушкина въ прозаической формѣ («Повѣсти Бѣлкина», «Дубровскій», «Арапъ Петра Великаго»), дѣйствующими

лицами являются, главнымъ образомъ, уравновѣшенные, близкіе къ природѣ людей, скорѣе склонны толковать «о сѣнокосѣ, о винѣ, о псаиѣ, о своей роднѣ», чѣмъ «о Байронѣ и о материахъ важныхъ». Эти не оторвавшіеся отъ почвы люди—прямая противоположность «скитальцамъ» Онѣгинского типа; они психологически просты, и ихъ душевная жизнь не нуждается въ сколько-нибудь подробнѣ аанализѣ. Всесторонне изображая этихъ простыхъ и цѣльныхъ людей, Пушкинъ показалъ читателямъ и ихъ глубокое сознаніе долга и готовность пожертвовать жизнью ради исполненія этого долга. Нисколько не идеализируя своихъ героеvъ, поэтъ рисуетъ намъ однако поучительныя картины безтрепетной гибели обоихъ стариковъ Мироновыхъ отъ руки Пугачева и такого же безтрепетнаго приготовленія къ смерти семьи Гриневыхъ, запертой въ хлѣбномъ амбарѣ.

Мы указали, что особнякомъ стоять въ повѣсти Пугачевъ. Психологическая сущность Пугачева выясняется изъ разсказанной имъ Гриневу калмыцкой сказки объ орлѣ и воронѣ. Пугачевъ, очевидно, натура сильная; онъ, подобно орлу, не желающему питаться падалью и этимъ покупать долголѣтіе, хочетъ жить полно, ярко, но въ силу малаго развитія, невѣжества и темной среды, его окружающій, находить одинъ только способъ развернуть свои силы—грабежъ и разбой. При иныхъ условіяхъ изъ Пугачева вышелъ бы иной человѣкъ—это видно изъ того, что даже въ своемъ теперешнемъ полу-дикомъ душевномъ состояніи Пугачевъ сохранилъ способность къ благороднымъ порывамъ: такова благодарность Гриневу за заячій тулуpъ и освобожденіе Маріи Ивановны, терзаемой Швабринымъ. Пугачевъ—тоже своеобразный «скиталецъ по родной землѣ», своеобразный «байронический типъ».

Въ полномъ соотвѣтствіи съ охарактеризованными чертами большинства главныхъ дѣйствующихъ лицъ произведеній Пушкина въ прозаической формѣ стоять и особенности изложенія этихъ произведеній. Въ противоположность той своеобразной манерѣ письма, которую Пушкинъ примѣнилъ въ романѣ «Евгений Онѣгинъ» и о которой мы говорили при разборѣ этого произведенія, «Капитанская дочка» и другія прозаическія произведенія Пушкина написаны необыкновенно выдержанымъ эпическимъ стилемъ. Повѣстование неудержимо движется впередъ, не прерываемое почти вовсе ни оли-

саніями, ни лирическими отступленіями. Слогъ этихъ произведеній энергической и отрывочный.

**Жизнь поэта «въ свѣтѣ».** Обращаемся къ положенію и обстоятельствамъ Пушкина послѣ женитьбы и вторичнаго поступленія на службу. Надежды поэта найти въ семьѣ «тихую пристань» не оправдались. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ свадьбы въ письмахъ поэта начинаетъ ясно слышаться разочарованіе въ этихъ надеждахъ. Разныя причины привели къ такому результату. Н. Н. Пушкина была женщиной пустою, съ малой умственной самостоятельностью, и не обнаружила способности оцѣнить нравственную высоту поэта. Письма послѣдняго къ женѣ, въ особенности во время поѣздки осенью 1833 г. на Волгу и въ Оренбургъ за материалами для исторіи Пугачевскаго бунта, дышатъ исключительной утонченной деликатностью нѣжнаго чувства, и тѣ легкіе и осторожные вопросы, которые поэту приходится дѣлать «жонкѣ», указываютъ на то, что изъ писемъ Н. Н. Пушкинъ узнавалъ о частыхъ и многочисленныхъ безтактностяхъ, допускавшихся женой въ его отсутствіе. Убѣдившись въ томъ, что у Н. Н. нѣть никакихъ сколько-нибудь серьезныхъ интересовъ, и что ее привлекаютъ преимущественно балы и разныя увеселенія, Пушкинъ со свойственнымъ ему безконечнымъ благородствомъ натуры счѣль себя нравственно обязаннѣмъ (на что есть немало указаній въ письмахъ поэта) постараться доставить женѣ возможность блестать въ обществѣ съ ея молодостью и красотой. Результатомъ признанія за собою такой обязанности явилась для поэта необходимость входить въ долги. Въ одномъ изъ писемъ онъ признается, что, женясь, онъ разсчитывалъ на увеличеніе расходовъ, сравнительно съ прежнимъ, втрое, а они увеличились вдѣсятеро. Такъ женитьба привела Пушкина къ сближенію съ чуждой ему пустой свѣтской средой и въ то же время отяготила рядомъ дѣнежныхъ обязательствъ.

Наряду съ этимъ разрушениемъ надеждъ на мирное счастіе «въ тихой пристани» семейной жизни надо поставить усиленіе зависимости Пушкина отъ правительства и лично отъ императора Николая. Мы знаемъ, что Пушкинъ еще съ августа 1826 г. считалъ себя обязаннѣмъ благодарностью государю; послѣ женитьбы поэтъ получилъ рядъ новыхъ милостей: это были приемъ на службу, допущеніе въ архивы и рядъ ссудъ изъ казны. Наконецъ, въ декабрѣ 1833 г.

поэтъ былъ пожалованъ въ камеръ-юнкеры Двора Е. И. Величества. Камеръ-юнкерство, для которого Пушкинъ былъ уже недостаточно молодъ, причинило немало тяжелыхъ минутъ поэту.

Такъ женитьба втянула Пушкина въ гораздо болѣе тѣсную, чѣмъ прежде, связь съ придворно-свѣтской средой и съ правительствомъ. Между тѣмъ, общее направлѣніе правительственной политики рѣзко расходилось съ убѣжденіями поэта. Опираясь на дво-рянство и армию, власть оставляла въ полной неприкосновенности крѣпостное право, какъ одинъ изъ устоевъ государственного порядка; никакихъ реформъ ни въ какихъ сферахъ управлѣнія не производилось, да и не могло быть произведено, такъ какъ начать необходимо было съ крѣпостного права; судь и администрація оставались въ томъ волющемъ состояніи, которое такъ ярко было изображено самимъ Пушкинымъ въ описаніи процесса Троекурова съ Дубровскимъ. Цензурные уставы—1826 и 1828 г.—предусматривали строжайшую опеку надъ мыслью и словомъ подданныхъ; гласность изгонялась совершенно изъ сферы дѣйствій правительства, и всякия предположенія о преобразованіяхъ обсуждались въ многочисленныхъ «секретныхъ» комитетахъ. Шефъ жандармовъ графъ Бенкендорфъ, ближайший опекунъ Пушкина и посредникъ въ его сношеніяхъ съ государемъ, фактический цензоръ сочиненій Пушкина, провозглашалъ, что «прошедшее Россіи удивительно, настояще болѣе, чѣмъ великколѣпно, что же касается ея будущаго, оно выше всего, что только можетъ представить себѣ самое пылкое воображеніе». Всѣ сколько-нибудь прогрессивные журналы и газеты безпощадно закрывались; такая участь постигла «Литературную Газету» Дельвига, «Европеецъ» Кирѣевскаго, «Московскій Телеграфъ» Полевого и «Телескопъ» Надеждина. Самому Пушкину лишь послѣ долгихъ проволочекъ было разрѣшено издавать журналъ «Современникъ», да и то не ежемѣсячно, а лишь 4 раза въ годъ. 4 тома своего журнала поэтъ и выпустилъ въ свѣтъ въ 1836 г.

Тяжелое противорѣчіе, которымъ характеризуется положеніе Пушкина съ «освобожденіемъ» изъ Михайловскаго, не только не сладилось, но чрезвычайно углубилось послѣ женитьбы поэта и все больше и больше чувствовалось имъ. Нерѣдко Пушкинъ искалъ хотя бы частичнаго освобожденія и отдыха въ поездкахъ—то въ Болдино, то въ Михайловское, то въ мѣста Пугачевскаго бунта.

Въ Оренбургѣ, конечно, за поэтомъ попрежнему былъ учрежденъ «секретный надзоръ».

**Лирика послѣднихъ лѣтъ.** Творчество Пушкина въ это тяжелое послѣднее пятилѣтие его жизни количественно слабѣеть. Мы видѣли, какъ сравнительно мало законченныхъ крупныхъ произведеній создано поэтомъ за это время. Притомъ весьма многое Пушкинъ оставляетъ ненапечатаннымъ. Еще бѣднѣе, сравнительно съ прежними періодами, лирика послѣднихъ годовъ, къ которой и переходимъ.

Выдѣлимъ прежде всего три стихотворенія 1831 г., въ которыхъ выразился подъемъ патріотического чувства поэта: «Къ тѣни полководца», «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская годовщина». Вызванныя отчасти нападками на Россію въ западно-европейской печати, стихотворенія эти, особенно «Клеветникамъ Россіи», врядъ ли могутъ считаться характерными для Пушкина; вызывающій и угрожающій тонъ ихъ не гармонируетъ съ мягкой, гуманной и любвеобильной душой поэта. По силѣ же выраженія произведенія эти—одни изъ лучшихъ въ пушкинской лирикѣ. Изъ перловъ пушкинской лирики, не связанныхъ прямо съ тѣми тяжелыми противорѣчіями, которыя угнетали поэта въ послѣднее пятилѣтие и о которыхъ выше шла рѣчь, отмѣтимъ: «Нѣть, нѣть, не долженъ я» (1832), «Туча» (1835), «Вновь я посѣтилъ тотъ уголокъ земли» (1835), великолѣпный переводъ оды Горація къ Помпею (1835). Но наиболѣе важенъ для настъ тотъ рядъ лирическихъ стихотвореній Пушкина этого времени, въ которомъ въ той или иной степени, по разнымъ поводамъ и въ разной формѣ, выражались горькія чувства и скорбныя настроенія гибнувшаго поэта. Обратимъ особое вниманіе на необыкновенно сильную, безпощадную сатиру 1836 г.: «Когда великое свершалось торжество». Здѣсь чувствуется сосредоточенная сила долго наипавшаго негодованія. Увидавъ двухъ солдатъ, приставленныхъ къ изображенію Распятія у одного изъ храмовъ, Пушкинъ справедливо усмотрѣлъ здѣсь символъ казенной религіозности Николаевской эпохи и заклеймилъ ее стихами, въ которыхъ не знаешь, чему больше дивиться: чистотѣ ли и глубинѣ религіознаго чувства поэта (засвидѣтельствованной въ эту же эпоху чудной «Молитвой»: «Отцы-пустынники и жены непорочны»), или силѣ его благороднаго гнѣва. Бичуя лицемѣре и мелкость души правящихъ сферъ, Пушкинъ про-

должалъ болѣзненно ощущать мелочность и пустоту людской массы вообще, съ ея повседневными заботами и интересами. Этимъ сознаниемъ вызваны стихотворенія: «Полководецъ», «Изъ VI Пинденмонте» и «Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума». Въ первомъ изъ этихъ стихотвореній, замѣчательномъ своимъ величаво-прекраснымъ стихомъ, Пушкинъ съ присущею ему гуманною чуткостью изображаетъ трагическую судьбу Барклай-де-Толли, не понятаго современниками и вынужденного передать другому «и власть, и замыселъ, обдуманный глубоко». Стихотвореніе заканчивается горькимъ и негодующимъ обращеніемъ къ жалкому людскому роду. Третье изъ указанныхъ стихотвореній: «Не дай мнѣ Богъ сойти съ ума» — едва ли не самое скорбное. Измученный поэтъ прямо заявляетъ, что если бы онъ лишился разума и его отпустили на волю, то онъ бы былъ бы очень радъ. Сумасшествие страшить его не само по себѣ, а лишь потому, что лишенного разсудка его станутъ стеречь еще строже, чѣмъ стерегутъ теперь. Его будутъ дразнить, какъ звѣрька, и ночью будетъ слышаться ему брань смотрителей и звонъ оковъ.

Такъ погибалъ великий поэтъ. Не цѣнившее и не любившее его свѣтское общество, съ которымъ судьба такъ крѣпко его связала, считало поэта «выскочкой» и не упускало удобныхъ случаевъ «подразнить» его. Попытка Пушкина въ 1834 г. выйти въ отставку, чтобы уѣхать въ деревню и освободиться отъ томившихъ его трагическихъ противорѣчий, неувѣнчалась успѣхомъ, и онъ взялъ обратно свое прошеніе объ отставкѣ, когда ему было указано, что онъ проявляеть черную неблагодарность за всѣ милости, коими былъ осыпанъ.

**Гибель Пушкина.** Приблизительно съ 1834 г. въ горькую чашу, которую пилъ Пушкинъ, стали вливаться еще разные слухи и сплетни, ходившіе про поведеніе его жены и услужливо сообщавшіеся поэту его врагами. Безупречно честное отношеніе Пушкина къ своему долгу защищать добroe имя жены было всѣмъ извѣстно, поэтому и удобно было сыграть на этой чувствительной струнѣ души поэта, подобно тому, какъ гр. Бенкендорфъ постоянно игралъ на струнѣ благодарности. Въ особенности упорно говорили въ свѣтѣ объ ухаживаніяхъ за Н. Н. Пушкиной поручика кавалергардскаго полка барона Дантеса, усыновленнаго нидерландскимъ посланникомъ барономъ Геккерномъ. 4 ноября 1836 г. Пушкинъ получилъ три экземпляра анонимнаго письма съ оскорбительными указаніями

на поведение Н. Н. и въ тотъ же день послалъ Дантеzu вызовъ на дуэль. Послѣдняя, однако, не состоялась, такъ какъ Дантеzъ выразилъ намѣреніе жениться на свояченицѣ Пушкина, фрейлинѣ Е. Н. Гончаровой; это заставило поэта отказаться отъ поединка. Свадьба Дантеza съ дѣвицей Гончаровой дѣйствительно состоялась, что однако не отвратило рокового для поэта конца. 27 января произошла дуэль Пушкина съ Дантеzомъ, поэтъ получилъ смертельную рану, и послѣ двухдневныхъ тяжелыхъ страданій, 29 января 1837 г., около трехъ часовъ дня, Пушкина не стало.

Великій поэтъ предчувствовалъ свою гибель; недаромъ онъ подвелъ итогъ своему поэтическому поприщу въ знаменитомъ стихотвореніи «Я памятникъ себѣ воздвигъ нерукотворный», недаромъ волненіе и слезы не дали ему дочитать на лицейскомъ празднике 19 октября 1836 г. свое задушевное стихотвореніе: «Была пора—нашъ праздникъ молодой сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался». Но для широкой массы читателей Пушкина его гибель была неожиданнымъ ударомъ. Лучшая часть читающей общества была глубоко и скорбно поражена. Въ краткой замѣткѣ «Литературныхъ прибавленій къ Русскому Инвалиду» было высказано, что всякое русское сердце будетъ растерзано, когда узнаетъ о безвременному закатѣ «солнца русской поэзіи»; Лермонтовъ, Тютчевъ и Кольцовъ откликнулись вдохновенными произведеніями на кончину Пушкина; Гоголь безутѣшно и горько скорбѣлъ о потерѣ своего великаго друга и вдохновителя.

**Личность Пушкина. Его значеніе.** По мѣрѣ того, какъ жизнь и поэтическая дѣятельность Пушкина отодвигались въ прошлое, выяснялось великое значеніе Пушкина для русской литературы и русского общества. Въ дѣтствѣ и юности Пушкинъ впиталъ въ себя всѣ наши литературные традиціи. Литературу XVIII вѣка онъ зналъ чуть не наизусть и съ нею былъ кровно неразрывно связанъ. Прощель онъ и черезъ ложный классицизмъ, и черезъ русский сентиментализмъ и романтизмъ, и всѣ эти направленія переработалъ и побѣдилъ. Усвоивъ духъ нашей народности, Пушкинъ 25-и лѣтъ первыми главами «Онѣгина» и «Годуновымъ» вывелъ русское художественное слово на широкій путь реализма, тѣсно связавъ родную литературу съ жизнью и изъ ученицы западно-европейского творчества сдѣлалъ ее самостоятельной и могучей силой. Своимъ свѣт-

лымъ и глубокимъ умомъ и отзывчивостью на всѣ явленія жизни, исторіи и поэзіи всего міра Пушкинъ сравнился съ величайшими писателями всѣхъ временъ. Онъ истолковалъ русскимъ людямъ ихъ жизнь, ихъ природу, исторію и душу.

Въ цѣломъ рядъ разнообразныхъ произведеній въ стихахъ и прозѣ Пушкинъ заложилъ прочныя основы нашего дальнѣйшаго литературного развитія, геніально выразивъ двѣ главныхъ особенности нашего національного творчества: реализмъ и гуманность. Обнаруживъ изумительную способность къ «перевоплощенію», поэтъ далъ безсмертные образы и картины общечеловѣческаго психологического смысла. «Онѣгинымъ», «Моцартомъ и Сальери», лирикой Пушкинъ поднялъ русское слово на непревзойденную высоту.

Свѣтлая душа великаго поэта отличалась поразительной отзывчивостью на всякое явленіе жизни внѣшней и жизни человѣческой души. Письма Пушкина—книга, бессмертная по глубинѣ и широтѣ интересовъ, по остроумію выраженія,—свидѣтельствуютъ о томъ, съ какой жадностью воспринималъ великій поэтъ, какъ быстро и правильно истолковывалъ всѣ «впечатлѣнья бытія».

При такихъ особенностяхъ души поэта вполнѣ естественно, что лиризмъ пропиталъ, такъ сказать, насквозь творчество Пушкина, и можно указать лишь немного произведеній, въ которыхъ душевная жизнь поэта не выражается; главнымъ образомъ, это произведенія въ прозаической формѣ. Будучи, подобно своему Моцарту, совершенно свободенъ отъ всякихъ чувствъ и страстей узко-личного характера, Пушкинъ всѣ разнообразныя чувства, настроенія и ихъ оттенки выражалъ общедоступнымъ и многоговорящимъ всякому истинно человѣческому сердцу языкомъ. Вотъ почему лирика Пушкина не только изумительно разнообразна и богата выраженнымъ въ ней душевными состояніями, но и изумительно общедоступна. За рѣдкими исключеніями лирическія стихотворенія Пушкина (особенно до женитьбы поэта) заканчиваются гармоническимъ аккордомъ любви къ жизни и ко всему живому. Про Пушкина можно съ полнымъ правомъ повторить слова Баратынского о Гете: «на все отзывался онъ сердцемъ своимъ, что просить у сердца отвѣта».

За семьдесятъ пять лѣтъ, протекшихъ со скорбнаго дня гибели величайшаго русскаго поэта въ расцвѣтѣ его дивнаго генія, русское общество въ значительной мѣрѣ уяснило себѣ національное значеніе

Пушкина. Доказательствомъ этому служать статьи Бѣлинского, рѣчи Достоевского и Тургенева, праздникъ въ Москвѣ въ 1880 году при открытии памятника Пушкину, всенародное празднованіе столѣтія рожденія поэта и усиленное изученіе, въ послѣдніе годы, всѣхъ возможныхъ матеріаловъ о жизни и творчествѣ Пушкина,—изученіе, приведшее къ появлению такихъ выдающихся памятниковъ благоговѣйной любви къ памяти поэта, какъ книга Н. О. Лернера «Труды и дни Пушкина».

Прошло то время, когда было справедливо заявленіе, что «Пушкинъ—наше все». У насъ есть богатѣйшая національная литература, у насъ есть такие міровые и общепризнанные геніи, какъ Достоевскій и Толстой. Но чѣмъ богаче и пышнѣе всходы на нивѣ русского художественного слова, тѣмъ свѣтлѣе и дороже бессмертная память того, кто бросилъ первыя сѣмена на эту ниву, кто первый въ красотѣ и силѣ явилъ геній русской души. Чѣмъ дальше мы отходимъ отъ Пушкина во времени, тѣмъ больше оправдываются вѣщія слова Тютчева, обращенные къ великому поэту: «Тебя, какъ первую любовь, Россіи сердце не забудетъ».

Богъ знаетъ, близко ли то время, когда Пушкина «назоветъ всякой сущій въ Россіи языкъ», какъ увѣренъ былъ самъ поэтъ. Но время это наступить; надежда Пушкина, что народная тропа къ его памятнику не зарастетъ, вполнѣ оправдалась, и все больше становится русскихъ людей, понимающихъ всю радость сознанія, что мы имѣли Пушкина, и все беззѣрное значеніе поэта, имѣвшаго полное право сказать о себѣ, что

«Не унизилъ ввѣкъ измѣнной беззаконной  
Ни гордой совѣсти, ни лиры непреклонной».

---

## Н. В. ГОГОЛЬ.

(1809—1852).

---

### I.

**Дѣтство. Лицей. „Вечера на хуторѣ“.**

**Дѣтство Гоголя.** Въ то время, когда Пушкину было десять лѣтъ, въ 1809 году родился въ Полтавской губерніи, въ селѣ Васильевкѣ, другой великий писатель, которому суждено было стать не только личнымъ другомъ Пушкина, но и прямымъ продолжателемъ его литературного дѣла, и обогатить русскую литературу рядомъ гениальныхъ произведеній. Это былъ Николай Васильевичъ Гоголь.

Проведя дѣтство, до десятилѣтняго возраста, на родинѣ, Гоголь, въ противоположность Пушкину, получалъ сильныхъ и однородныхъ впечатлѣнія родной малороссийской жизни и природы и остался свободенъ отъ какихъ-либо иноземныхъ вліяній. Родители Гоголя стояли къ нему гораздо ближе, чѣмъ родители Пушкина къ своему сыну. Отецъ Гоголя былъ даровитымъ человѣкомъ, но дарованія его не получили сколько-нибудь правильного развитія. Литературный талантъ его сказался въ двухъ веселыхъ комедіяхъ. Что касается матери будущаго писателя, то, будучи чрезвычайно доброй, заботливой и гостепріимной хозяйкой, она въ то же время отличалась сильнымъ религіознымъ чувствомъ. Въ этомъ направленіи вліяла она и на впечатлительную натуру сына. Есть извѣстіе, что однажды мать чрезвычайно ярко представила сыну въ своемъ разсказѣ картину загробной жизни праведниковъ и грѣшниковъ. Мы убѣдимся, что религіозные размышленія и настроенія сыграли очень важную роль въ душевной жизни и судьбѣ Гоголя.

Имѣло значеніе для развитія Гоголя въ раннюю пору его жизни также то обстоятельство, что недалеко отъ усадьбы Гоголя въ своемъ

имѣніи Кибинцахъ поселился отставной сановникъ Трощинскій, родственникъ отца Гоголя. Въ домѣ Трощинского будущій писатель получалъ немало эстетическихъ впечатлѣній; у Трощинского былъ домашній оркестръ и домашній театръ, на которомъ, между прочимъ, были представлены и пьесы Гоголя-отца. Всѣ впечатлѣнія, полученные Гоголемъ въ дѣтствѣ, внушили ему горячую любовь къ Малороссіи, къ ея природѣ, къ особенностямъ ея быта и нравовъ. Эти особенности Гоголь рано умѣлъ подмѣщать самъ, благодаря проявившейся съ дѣтства исключительной наблюдательности; немало дали ему и мастерскіе разсказы отца изъ народной жизни.

**Лицей.** Съ десятилѣтняго возраста Гоголю удавалось, однако, только на каникулы попадать въ эту идиллическую жизнь, на всегда оставшуюся ему милой. Его отдаютъ въ Полтавскую гимназію, гдѣ, впрочемъ, онъ пробылъ недолго и откуда перешелъ во вновь открывшееся учебное заведеніе—«гимназію высшихъ наукъ» въ Нѣжинѣ (лицей кн. Безбородко; нынѣ нѣжинскій историко-филологический институтъ). Семь лѣтъ, съ 1821 по 1828, провелъ Гоголь въ лицѣї. Воспитанниковъ этого заведенія не обременяли серьезными учебными требованиями, въ лицейскомъ пансионѣ царствовала значительная свобода, и въ этомъ смыслѣ Нѣжинъ, кажется, превзошелъ даже Царское Село. Гоголь съ начала пребыванія въ лицѣї сталъ уже проявлять нѣкоторыя характерныя особенности какъ личного своего душевнаго склада, такъ и литературнаго таланта. Какъ товарищъ, Гоголь мало съ кѣмъ сходился, любилъ уединеніе и никому почти не открывалъ своихъ душевныхъ состояній. Но присущая ему наблюдательность и особенная способность подмѣщать разныя смѣшныя мелочи, ускользающія отъ взгляда большинства людей, проявлялись уже здѣсь. Гоголь умѣлъ смѣшить товарищѣй удачнымъ подражаніемъ чужимъ манерамъ и мѣткими прозвищами, на которыхъ былъ мастеръ. Даровитая натура ищетъ примѣненія своимъ силамъ. Гоголь бросается то на рисованіе, то на чтеніе, то на театръ. Въ стѣнахъ лицея Гоголь имѣетъ большой успѣхъ, какъ комической актеръ, исполняя, между прочимъ, роль госпожи Простаковой въ «Недоросль».

Шестнадцати лѣтъ Гоголь теряетъ отца. Естественно, что это событие заставляетъ юношу серьезно взглянуть на свое положеніе въ настоящемъ и въ будущемъ. И до этого, какъ мы знаемъ, Гоголю

была свойственна склонность къ размышленіямъ; теперь въ письмахъ его начинаютъ очень ярко и опредѣленно выражаться тѣ выводы, къ которымъ привели его эти размышленія и наблюденія надъ собою и окружающими. Гоголь чувствуетъ въ себѣ особыя силы душевныя, обязывающія его подумать серьезно о призваніи, о дѣлѣ жизни. Онъ начинаетъ вѣрить, что ему не суждена «черная квартира неизвѣстности въ мірѣ». Уже въ этотъ періодъ—въ послѣдніе годы пребыванія въ лицѣй—можно подмѣтить у Гоголя мысль объ особомъ высшемъ руководительствѣ, ощущаемомъ имъ надъ собою. Однако, помышляя о великому и отвѣтственному будущемъ, Гоголь не представлялъ себѣ пока достаточно ясно, на какомъ именно по-прищѣ проявятся его дарованія и его высокое призваніе. Во всякомъ случаѣ, о роли великаго писателя Гоголь не мечталъ. Исторія и литература интересуютъ его, правда, все сильнѣе, но своего будущаго Гоголь ни теперь, ни нѣкоторое время послѣ лицѣя не предугадываетъ. Нужно при этомъ сказать, что знакомиться съ русской литературой Гоголю приходилось самостоительно, такъ какъ въ лицѣй профессоромъ этого предмета былъ какой-то литературный старовѣръ, считавшій (въ 1828 году) Державина за послѣднее слово русской поэзіи. Больше всего склоняется Гоголь въ мечтахъ о своемъ будущемъ къ службѣ государственной, которая дастъ ему возможность проявить свои силы и принести пользу родинѣ. Такія мечтанія юнаго Гоголя объясняются, съ одной стороны, общимъ уровнемъ понятій той среды, въ которой писатель росъ, и той эпохи; тогда въ Полтавѣ, Нѣжинѣ, Кибинцахъ и Васильевкѣ, конечно, не знали другихъ видовъ служенія родинѣ, кромѣ службы казнѣ. Съ другой же стороны, здѣсь могли имѣть значеніе и личные взгляды Гоголя на государственную службу,—взгляды, съ которыми намъ предстоитъ ознакомиться при разборѣ нѣкоторыхъ гоголевскихъ произведеній. Нужно сказать при этомъ, что мечты Гоголя носили весьма наивный характеръ. Онъ вѣрилъ, что по прїѣздѣ въ Петербургъ послѣ окончанія лицѣя онъ сразу получитъ значительное мѣсто по службѣ, которое дастъ ему возможность проявить свои силы и вліять на судьбы Россіи; думалъ, что поселится въ прекрасной квартирѣ съ окнами на Неву. Понятно, что Гоголя ждало въ столицѣ горькое разочарованіе. А между тѣмъ, юноша къ концу пребыванія въ лицѣй начинаетъ наскѣпливо относиться къ пошлой и будничной жизни

окружающихъ его людей, клеймить своихъ товарищей и учителей злымъ эпитетомъ «существователей», полагая, что «жизнь» онъ увидеть только въ столицѣ, куда и рвется все нетерпѣливѣе. Наконецъ, наскоро наверставъ къ выпускному экзамену наиболѣе важныя упущенія въ своихъ познаніяхъ—весьма небогатыхъ,—Гоголь въ іюнѣ 1828 г. кончаетъ лицей и вмѣстѣ съ однимъ изъ немногихъ тогдашнихъ друзей своихъ, товарищемъ по классу, Данилевскимъ, устремляется въ Петербургъ, избирая путь не черезъ Москву, чтобы не испортить впечатлѣнія отъ вѣзда въ столицу.

**«Ганцъ Кюхельгарденъ».** Прежде, чѣмъ перейти къ петербургскимъ впечатлѣніямъ Гоголя, скажемъ нѣсколько словъ объ одномъ изъ первыхъ литературныхъ опытовъ его, въ которомъ отразились мечты и размышенія послѣднихъ лѣтъ лицейской жизни. Это идиллія въ 18-ти картинахъ въ стихахъ «Ганцъ Кюхельгарденъ», напечатанная Гоголемъ по пріѣздѣ въ Петербургъ подъ псевдонимомъ В. Арова, не имѣвшая никакого успѣха и уничтожавшаяся затѣмъ самимъ авторомъ, который для этого скупалъ въ магазинахъ экземпляры своего произведения. Неусігъхъ «Ганца» вполнѣ понятенъ: «Идиллія до крайности слаба во всѣхъ отношеніяхъ,—и по мысли, и по формѣ. Характеръ дѣйствующихъ лицъ совершенно неопределѣленъ, картины утомительно блѣдны и расплывчаты, все произведеніе многословно и написано чрезвычайно плохимъ стихомъ и языкомъ. Слова въ родѣ: невыразный (невыразимый), посунулась (осунулась), заплата (расплата), разрѣзвлялся, выраженія въ родѣ «принесъ мольбу» (помолился)—встрѣчаются очень часто. При всемъ своемъ поэтическомъ ничтожествѣ идиллія имѣть, однако, біографический интересъ. Герой произведенія, Ганцъ, любимый простой и скромной дѣвушкой, внучкой пастора, Луизой, и любящій ее, отказывается, однако, отъ ожидающаго его незатѣйливаго счастья и уходитъ искать сильныхъ впечатлѣній и широкаго поприща для примѣненія своихъ силъ. Въ 8-й картинѣ идилліи излагаются думы Ганца передъ уходомъ съ родной стороны, и нельзя не видѣть, что въ мечтахъ Ганца обѣ иной, дивной природѣ, которую онъ увидѣть въ «роскошныхъ краяхъ земли», о произведеніяхъ искусства, вообще о полнотѣ жизни, его ожидающей и не похожей на идиллическое существованіе его деревенскихъ друзей, отразились мечты самого автора. Конецъ идилліи можетъ разматриваться, какъ указаніе на то, что самъ

Гоголь временами сомневался въ успѣхѣ своихъ широкихъ предпріятій: Ганцъ разочарованъ въ своихъ надеждахъ и возвращается къ роднымъ пенатамъ, гдѣ и женится на Луизѣ. Во всякомъ случаѣ, основной мотивъ идилліи—противоположеніе «существованія» и «настоящей, полной жизни»; и этотъ мотивъ, какъ мы увидимъ, явится господствующимъ въ цѣломъ рядѣ произведеній Гоголя въ первый периодъ его дѣятельности.

**Петербургъ. «Вечера на хуторѣ».** Быстро разочаровавшись, по пріѣздѣ въ Петербургъ, въ тѣхъ радужныхъ надеждахъ, которая давнѣо связывались для него съ этимъ городомъ, Гоголь съ лихорадочною поспѣшностью бросается отъ одного плана и занятія къ другому. Видя, что рекомендательная письма Троцкаго къ разнымъ чиновнымъ людямъ не приносятъ быстрыхъ результатовъ, Гоголь дѣлаетъ попытку поступить въ актеры, но его чтеніе не произвело благопріятнаго впечатлѣнія на лицъ, отъ которыхъ это дѣло зависѣло: Гоголь читалъ слишкомъ, какъ имъ казалось, просто, совсѣмъ не «театрально». Послѣ неудачи съ «Ганцомъ» Гоголю приходитъ мысль воспользоваться богатымъ матеріаломъ своихъ наблюденій надъ природой Малороссіи и бытомъ и нравами малороссовъ, чтобы выпустить въ свѣтъ повѣсти изъ украинской жизни и пойти навстрѣчу тому интересу къ Малороссіи, который онъ правильно подмѣтилъ въ столичной публикѣ. Съ этою же цѣлью Гоголь предполагалъ поставить на сцену комедіи своего отца, но этотъ планъ не удался.

Задумавъ малороссійскія повѣсти, Гоголь вдругъ, съ тою порывистостью, которая вообще характерна для всѣхъ его дѣйствій этого времени, рѣшается Ѳхать за границу, вѣроятно, надѣясь тамъ найти ту полноту впечатлѣній и широту поприща, которыхъ не нашелъ въ Петербургѣ. Поѣзда, однако, была чрезвычайно кратковременна, и, побывавъ въ Любекѣ и Гамбургѣ, Гоголь поспѣшилъ возвращаться въ Петербургъ. Здѣсь ему даютъ мѣстечко въ департаментѣ удѣловъ, конечно, его неувдовлетворившее. Воспоминанія объ этомъ департаментѣ, можетъ быть, потомъ отразились въ повѣсти «Шинель». Принявши за работу надъ задуманными малороссійскими повѣстями, Гоголь за недостававшими ему свѣдѣніями объ обычаяхъ, нравахъ и разныхъ бытовыхъ особенностяхъ Малороссіи обращался письменно къ матери, которая, конечно, охотно исполняла

просьбы сына, сообщая ему разныя подробности о малороссийскомъ бытѣ до описанія костюма сельского дѣячка включительно.

Результатомъ этой работы Гоголя явились «Вечера на хуторѣ близъ Диканки. Повѣсти, изданныя пасичникомъ Рудымъ Панькомъ». Повѣсти выпущены были Гоголемъ въ двухъ частяхъ, изъ которыхъ первая вышла въ свѣтъ въ сентябрѣ 1831 г., а вторая въ мартѣ 1832 г.

Всматриваясь въ содержаніе «Вечеровъ на хуторѣ», мы замѣчаемъ, что въ нихъ легко выдѣляются два основныхъ элемента. Съ одной стороны «Вечера» даютъ рядъ образовъ, картинокъ и сценокъ, характеризующихъ малороссийскій бытъ. Припомнимъ, напримѣръ, ярмарку («Сорочинская ярмарка»), калядованіе («Ночь передъ Рождествомъ»), биографію Ивана Федоровича Шпоньки, образъ головы въ «Майской ночи» и т. п. Эти бытовыя картинки иногда очень ярки и всегда веселы. Но наряду съ этими чисто реальными картинами въ «Вечерахъ» имѣется и очень много фантастического. Вмѣстѣ съ бытомъ малороссовъ здѣсь изображены и ихъ повѣрья. Красная свитка въ «Сорочинской ярмаркѣ», чортъ, носящій на себѣ кузнеца Вакулу въ «Ночи передъ Рождествомъ», русалки и вѣдьма-мачеха въ «Майской ночи», игра дѣда въ карты въ пеклѣ въ «Пропавшей грамотѣ» и многое другое въ «Вечерахъ»—продукты народной малороссийской фантазіи; эти фантастическія картины, какъ и бытовыя, большую частью веселы, но въ разсказѣ «Страшная месть» вызываютъ жуткое чувство.

Въ художественномъ отношеніи «Вечера» не безъ крупныхъ недостатковъ. Отдѣльные образы въ этомъ произведеніи большою частью блѣдны, особенно образы красивыхъ молодыхъ дѣвушекъ; описанія красотъ малороссийской природы довольно однообразны и часто гиперболичны, хотя есть между ними и превосходныя, въ родѣ знаменитаго описанія Днѣпра въ X главѣ «Страшной мести». Не въ частностяхъ, однако, состоять цѣнность и значеніе этой книги Гоголя. Они состоять въ томъ особомъ ея свойствѣ, которое сразу опѣнили Пушкинъ и Бѣлинскій и которое возмутило менѣе чуткихъ критиковъ, въ родѣ Полевого. Это свойство—искренняя, непринужденная веселость «Вечеровъ». Въ самомъ дѣлѣ, съ первыхъ словъ предисловія къ первой части «Вечеровъ» читатель чувствуетъ, что имѣеть дѣло со свѣжимъ, непосредственнымъ дарованіемъ истинно-

веселаго рассказчика. Припомнимъ эти слова Рудаго Панька. Они любопытны, какъ первое обращеніе Гоголя къ читающей публикѣ: «Это что за невидалъ: Вечера на хуторѣ близъ Диканьки? Что это за «Вечера»? И швырнуль въ свѣтъ какой-то пасичникъ. Слава Богу, еще мало ободрали гусей на перья и извели тряпья на бумагу. Еще мало народу всякаго званія и сброду вымарало пальцы въ чернилахъ. Дернула же охота и пасичника потащиться вслѣдъ за другими. Право, печатной бумаги развелось столько, что не придумаешь скоро, что бы такое завернуть въ нее. Слышало, слышало г҃вѣщее мое всѣ эти рѣчи еще за мѣсяцъ». Пушкинъ отмѣтилъ, что Рудый Панько умѣеть смѣяться такъ, какъ большинство столичныхъ жителей смѣяться не умѣеть. И это правда: смѣхъ пасичника большою частью звонкій, беззаботный. Вспомните хозяйку Солопія Черевика, получившую комъ грязи отъ Грыцка на свой новый нарядъ; вспомните флегматического Пацюка, уплетающаго галушки; вспомните сонъ бѣднаго Шпоныки, котораго хотятъ женить.

Но при всей беззаботности гоголевскаго смѣха въ «Вечерахъ» внимательный читатель замѣчаетъ, что есть здѣсь и зародыши иныхъ настроений и иного отношенія къ дѣйствительности. Прежде всего мы уже отмѣтили, что въ «Страшной мести» Гоголь изобразилъ и мрачную сторону малороссійской фантастики, нарисовалъ такія картины, при созерцаніи которыхъ не до смѣха. Да лѣтъ, среди веселаго разсказа прорываются у автора и выраженія совершенно противоположныхъ настроений, минутами его охватывающихъ. Таковы заключительныя строки веселой «Сорочинской ярмарки». «Не такъ ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетаетъ отъ насъ, и напрасно одинокій звукъ думаетъ выразить веселье? Въ собственномъ эхѣ слышить уже онъ грусть и пустыню и дико внемлеть ему. Не такъ ли рѣзво други бурной и вольной юности, поодиночкѣ, одинъ за другимъ, теряются по свѣту и оставляютъ, наконецъ, одного стариннаго брата ихъ? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечѣмъ помочь ему!» Однако, эти ноты раздумья, характерныя для позднѣйшаго Гоголя, не были услышаны большинствомъ тогдашнихъ критиковъ, и Полевой, напримѣръ, предостерегалъ публику отъ «Вечеровъ» въ томъ же родѣ, какъ «Житель Бутырской Слободы» предостерегалъ ее отъ «Руслана и Людмилы». «Вечера» казались ему собраніемъ малорос-

сійскихъ анекдотовъ, далеко не всегда приличныхъ и совершенно недостойныхъ вниманія просвѣщенной читающей публики.

Литературная манера Гоголя въ «Вечерахъ» отличается также значительною пестротою. Взаимная любовь молодыхъ людей, «партубковъ» и дѣвицъ, ихъ свиданія при лунѣ, а также картины природы и фантастическая картины нарисованы въ тонахъ романтическихъ и отчасти сентиментальныхъ; но цѣлый рядъ образовъ и сценъ и цѣлая повѣсть «Іванъ Федоровичъ Шпонька и его тетушка» могутъ служить образцами безукоризненно реального письма.

## II.

### „Миргородъ“.

**«Миргородъ». «Старосвѣтскіе помѣщиковъ».** Прежде, чѣмъ перейти къ слѣдующему произведенію Гоголя, отмѣтимъ, что въ 1830—31 г.г. онъ уже познакомился съ Дельвигомъ, Плетневымъ, Жуковскимъ и Пушкинымъ. Плетневъ, бывшій инспекторомъ Патріотического Института, доставилъ Гоголю уроки исторіи въ этомъ заведеніи, а равно и частные уроки въ нѣкоторыхъ домахъ. Лѣтомъ 1831 г. Гоголь жилъ въ Царскомъ Селѣ, гдѣ Жуковскій и Пушкинъ состязались въ это время въ подражаніи русскимъ народнымъ сказкамъ. Знакомство и затѣмъ дружба съ Пушкинымъ сыграли громадную роль въ развитіи Гоголя и его таланта, которую мы охарактеризуемъ въ дальнѣйшемъ изложеніи.

Обратимся ко второй книгѣ Гоголя «Миргородъ». Здѣсь, какъ показываетъ самое название книги, авторъ продолжаетъ жить воспоминаніями о своей любимой Малороссіи. Книга состоитъ изъ четырехъ произведеній гораздо болѣе обширнаго объема и сложнаго содержанія, чѣмъ разсказы «Вечеровъ на хуторѣ». Разбираясь въ содержаніи «Миргорода», приходится выдѣлить, прежде всего, повѣсть «Вій». Она примыкаетъ къ многочисленнымъ разсказамъ «Вечеровъ на хуторѣ» съ фантастическимъ содержаніемъ. Правда, въ этой повѣsti мы находимъ чрезвычайно яркія и цѣнныя картины и типы изъ бурсацкаго быта, и ихъ однихъ хватило бы на цѣлую интересную реальную повѣсть; но въ центрѣ произведенія все же стоитъ грандиозный образъ страшнаго Вія, созданный народнымъ

воображеніемъ. По сочетанію обоихъ этихъ элементовъ—бытового и фантастического—«Вій» стоять ближе другихъ рассказовъ «Миргорода» къ «Вечерамъ на хуторѣ».

Изъ остальныхъ частей «Миргорода» остановимся сначала на «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» и «Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ». Общее между этими двумя повѣстями то, что обѣ онъ рисуютъ малороссійскихъ «существователей», только разнаго типа. Въ первомъ изъ указанныхъ произведеній изображена чета двухъ стариковъ, не знающихъ никакого подобія умственныхъ интересовъ и ведущихъ совершенно растительное существованіе. Если образъ Пульхеріи Ивановны, въ нѣкоторыхъ чертахъ, является воспроизведеніемъ личности матери Гоголя, отличавшейся тѣмъ самымъ безмѣрнымъ гостепріимствомъ и добродушіемъ, которая составляютъ отличительные свойства Пульхеріи Ивановны, и если вообще легко представить себѣ такую помѣщицу—суевѣрную, мало развитую умственно, но безконечно заботливую о мужѣ и гостяхъ, то въ изображеніи Аѳанасія Ивановича, съ его почти непрерывной, въ теченіе круглыхъ сутокъ, Ѣдой, разговорами о возможномъ пожарѣ и сборами на войну, Гоголемъ допущена нѣкоторая доля карикатурности.

Что оба старичка—«существователи», въ этомъ нѣть никакого сомнѣнія. Но, убѣдившись въ Петербургѣ, что и тамошніе «господа» зачастую ничѣмъ не выше, а иной разъ и ниже провинціальныхъ жителей, скромныхъ и далекихъ отъ идеала человѣка, Гоголь нашелъ, по крайней мѣрѣ, для нѣкоторыхъ изъ миргородскихъ существователей, смягчающія вину обстоятельства. Тонь повѣсти «Старосвѣтскіе помѣщики» чрезвычайно мягкий и даже любовный. Гоголь и начинаетъ-то повѣсть съ заявленія, что онъ очень любить скромную жизнь людей, подобныхъ Аѳанасію Ивановичу и его супругѣ. Въ ихъ домѣ все нравится автору повѣсти, начиная отъ хозяевъ и кончая поющими дверьми. И въ дальнѣйшемъ ходѣ разсказа есть немало такого, что въ значительной степени мириТЬ нась съ изображенными Гоголемъ существователями. Такова взаимная любовь ихъ другъ къ другу, ихъ безкорыстіе и мягкость къ крѣпостнымъ людямъ. Такова поистинѣ трогательная сцена предсмертаго завѣта Пульхеріи Ивановны ключницѣ Явдохѣ, чтобы она бѣргла «pana», и, наконецъ, таково описание обѣда у Аѳанасія Ива-

новича черезъ пять лѣтъ послѣ смерти старушки. Неутѣшныя слезы бѣднаго вдовца наводятъ Гоголя на мысль о томъ, какъ подъ не-  
приглядною внѣшностью жизни человѣка можетъ таиться способ-  
ность къ глубокому и прочному чувству, болѣе прочному, чѣмъ  
выраженная громкими фразами и подтвержденная попытками къ  
самоубийству любовь молодого офицера.

Мы видимъ, что въ лицѣ своихъ скромныхъ старичковъ Гоголь  
нарисовалъ такихъ существователей, которые не только не вызы-  
ваютъ отвращенія или презрѣнія, но многими своими чертами за-  
служиваютъ симпатіи. Походитъ на Аѳанасія Ивановича и Пуль-  
херію Ивановну, конечно, никому не захочется, и они, конечно,  
очень далеки отъ идеала человѣка; но провести нѣсколько часовъ  
въ ихъ жарко натопленномъ, уютномъ и гостепріимномъ домикѣ—  
очень пріятно.

**«Повѣсть о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ».** Совсѣмъ не таковы существователи второй изъ  
указанныхъ повѣстей. Изображая Ивана Ивановича Перерепенко,  
Гоголь ничѣмъ не смягчилъ пошлыхъ и отвратительныхъ чертъ его  
души. Будучи тупымъ и бездарнымъ, совершенно необразованнымъ  
человѣкомъ, отличаясь чрезвычайной скучностью и крайнимъ без-  
сердечиемъ, ярко проявляющимся въ его разговорѣ съ нищей на  
церковной паперти, Иванъ Ивановичъ держится, однако, чрезвы-  
чайно высокаго мнѣнія о себѣ, своемъ достоинствѣ и значеніи. Эта  
ни на чемъ не основанная самоувѣренность Ивана Ивановича под-  
держивается тѣмъ восхищеніемъ и почтеніемъ, которыми онъ окру-  
женъ у ограниченныхъ жителей Миргорода. Его бекеша, его умѣ-  
ніе держать себя, его краснорѣчіе высоко цѣнятся простодушными  
малороссами. Отъ лица одного изъ нихъ Гоголь и ведетъ свой раз-  
сказъ, что значительно усиливаетъ комическое впечатлѣніе, произ-  
водимое повѣствованіемъ. Нельзя безъ отвращенія наблюдать нари-  
сованную въ началѣ 2-й главы картину—Ивана Ивановича, лежа-  
щаго утромъ іюльскаго дня подъ навѣсомъ у себя на дворѣ и само-  
довольно думающаго про себя: «Господи, Боже мой, какой я хо-  
зянинъ. Чего у меня нѣть?».

Не менѣе низокъ и пріятель Ивана Ивановича, Иванъ Никифо-  
ровичъ Довгочхунъ. Онъ такъ равнодушенъ ко всему, что никуда  
и не выходитъ, а лежитъ почти хронически у себя въ покояхъ на

лавкѣ или на коврѣ «въ натурѣ», такъ какъ ему постоянно жарко отъ чрезмѣрной толщины.

Наиболѣе удручающимъ въ повѣсти Гоголя является, однако, не то, что могутъ существовать такие «граждане», какъ Иванъ Ивановичъ и его пріятель, а потомъ врагъ; не то, что они считаютъ себя почтенными людьми и тратятъ весь остатокъ жизни на нелѣпый процессъ изъ-за слова «гусакъ». Ужаснѣе всего то, что сограждане ихъ, жители Миргорода, считаютъ ихъ своими дѣйствительно лучшими людьми. 3-я глава повѣсти начинается слѣдующими краснорѣчивыми словами разсказчика: «Итакъ, два почтенные мужа, честь и украшеніе Миргорода, поссорились между собою». Здѣсь, какъ и вездѣ въ позднѣйшихъ произведеніяхъ Гоголя, весь общественный и нравственный смыслъ изображаемаго не въ томъ или иномъ отдѣльномъ лицѣ, а въ общей картинѣ жизни, уровня и понятій массы. Какова должна быть среда, взлѣгавшая Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича и почитающая ихъ своею «честью» и «украшеніемъ»? Каковъ уровень гражданскихъ понятій и нравственныхъ идеаловъ этой среды? Нѣкоторый отвѣтъ на этотъ вопросъ даетъ картина засѣданія миргородскаго повѣтоваго суда. Административно-судебные порядки и традиціи, здѣсь передъ нами раскрывающіеся,—это краткій набросокъ тѣхъ порядковъ, которые потомъ подробнѣ изображены въ «Ревизорѣ».

Значеніе данной повѣсти состоитъ, во-первыхъ, въ томъ, что это—первое произведеніе Гоголя, написанное въ безупречно-реальной манерѣ, и, во-вторыхъ, здѣсь впервые обнаружилась наиболѣе яркая черта, отличающая талантъ Гоголя: способность рисовать смѣшное такъ, что оно «митомъ обратится въ печальное, если только долго застоишься передъ нимъ» (выраженіе Гоголя въ 3-й главѣ 1-го тома «Мертвыхъ Душъ»). Намъ смѣшно при чтеніи многихъ страницъ «Повѣсти», но чѣмъ ближе подходимъ мы къ концу миргородской эпопеи, тѣмъ больше сжимается наше сердце; намъ становится не до смѣха, когда мы убѣждаемся, что кромѣ этой «тины мелочей», надъ которыми мы смѣялись вмѣстѣ съ авторомъ, въ жизни миргородцевъ ничего другого и нѣтъ; когда мы узнаемъ, что, пріѣхавъ въ Миргородъ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ ссоры двухъ друзей, разсказчикъ никакихъ другихъ новостей не услышалъ, кромѣ хода тяжбы Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ. И мы глу-

боко сочувствуемъ заключительнымъ словамъ «Повѣсти»: «Скучно на этомъ свѣтѣ, господа».

Въ заключеніе обзора «Повѣсти» укажемъ на то, что въ Иванѣ Ивановичѣ можно видѣть литературнаго предка Чичикова, въ чёмъ мы и убѣдимся при подробномъ ознакомленіи съ образомъ послѣдняго.

Сравнивая охарактеризованныя части «Миргорода» съ «Вечерами на хуторѣ», мы видимъ существенную, хотя и не неожиданную перемѣну въ характерѣ гоголевскаго смѣха. Изъ веселаго и беззаботнаго смѣхѣ этотъ переходитъ постепенно въ задушевный и грустный.

Мы уже указывали, что проживъ нѣкоторое время въ Петербургѣ, Гоголь убѣдился въ томъ, что и здѣсь все «мокро, гладко, ровно, блѣдно, сѣро, туманно» (выраженіе изъ повѣсти «Невскій проспектъ»). Цѣлый рядъ произведеній, написанныхъ Гоголемъ приблизительно одновременно съ «Миргородомъ», свидѣтельствуютъ объ этомъ полномъ разочарованіи въ столицѣ и ея жителяхъ. Сюда можно, между прочимъ, отнести: «Нось», «Невскій проспектъ», «Записки сумасшедшаго», «Портретъ», «Шинель». По значенію для разныхъ сторонъ гоголевскаго творчества наиболѣе важны двѣ послѣднія повѣсти, а такъ какъ ихъ окончательный видъ выработался значительно позднѣе, то мы разберемъ ихъ не теперь, а послѣ комедіи Гоголя. Во всякомъ случаѣ содержаніе и тонъ всѣхъ названныхъ повѣстей доказываютъ ясно, что Петербургъ не отвѣтилъ ожиданіямъ Гоголя.

**«Тарась Бульба».** Не находя воплощенія своего идеала яркой, полной и осмысленной жизни ни въ Малороссіи, ни въ Петербургѣ, убѣждаясь, что современное общество больше просто существуетъ, чѣмъ живеть, и избыткомъ идеализма не отличается, Гоголь естественно обратилъ свои поиски грандіозныхъ людей и высокихъ душевныхъ движеній въ другую сферу жизни—въ исторію. Извѣстно, что романтики вообще любили поэтизировать прошлое и украшать его своей художнической фантазіей. Что касается Гоголя, то интересъ къ исторіи Малороссіи сталъ проявляться у него довольно рано и выразился въ эпоху написанія «Миргорода», между прочимъ, въ смѣломъ замыслѣ написать многотомную исторію Малороссіи. Первая проявленія этого интереса есть въ «Страшной мести». Но съ

чрезвычайной яркостью этот интересъ проявился въ четвертой повѣсти «Миргорода»—«Тарасъ Бульба».

Если условиться называть романтизмомъ у Гоголя все то, что нарушало въ «Вечерахъ на хуторѣ», въ «Віи» и даже отчасти въ «Старосвѣтскихъ помѣщикахъ» строгій реализмъ гоголевскихъ изображеній,—т. е. идеализацію малороссійской жизни и природы, обилье фантастически грандіозныхъ образовъ, а въ связи съ этимъ и приподнятый и нѣсколько высокопарный стиль,—то мы можемъ сказать, что въ повѣсти «Тарасъ Бульба» этотъ романтизмъ вспыхнулъ въ послѣдній разъ, но вспыхнулъ съ чрезвычайною яркостью.

Прежде всего замѣтимъ, что художникъ-реалистъ сказался въ цѣломъ рядѣ картинъ и сценъ данной повѣсти. Пріѣздъ Бульбы съ сыновьями на Сѣчь, выборы кошевого, переговоры Тараса съ Янкелемъ и многое другое нарисовано Гоголемъ красками реально-бытовыми. Но обращаясь къ тѣмъ центральнымъ лицамъ, которыхъ занимаютъ Гоголя въ данной повѣсти, а также и ко многимъ картинаамъ борьбы казаковъ съ поляками, мы убѣдимся, что повѣсть далека отъ реализма.

Всматриваясь въ душевную жизнь Тараса Бульбы и двухъ его сыновей—Остапа и Андрія, не трудно замѣтить, что эти люди чувствуютъ, желаютъ и стремятся не такъ, какъ обыкновенные люди; ихъ душевныя движенія неизмѣримо сильнѣе, грандіознѣе. Относительно Тараса вспомнимъ, прежде всего, убіеніе имъ своего младшаго сына Андрія. Любовь къ родинѣ, присущая, конечно, казачеству той эпохи, которая изображается въ повѣсти, сама по себѣ не противорѣчитъ реализму обрисовки Бульбы. Возможно и рѣшеніе такого горячаго патріота убить своей рукой сына, перешедшаго на сторону ненавистныхъ враговъ. Но если мы обратимся къ самой сценѣ убійства Андрія, то придется признать, что въ лицѣ Тараса передъ нами не обыкновенный, хотя бы и доблестный человѣкъ, а герой. Вспомнимъ часть гоголевскаго описанія. «Ну, что жъ теперь мы будемъ дѣлать?» сказалъ Тарасъ, смотря прямо ему въ очи... «Такъ продать? продать вѣру? продать своихъ? Стой же, слѣзай съ коня...» «Стой и не шевелись. Я тебя породилъ, я тебя и убью...» «Остановился сынуубійца и глядѣль долго на бездыханный трупъ...» «Чѣмъ бы не казакъ былъ?» сказалъ Тарасъ: «и станомъ высокій, и чернобровый, и лицо, какъ у дворянина, и рука была крѣпка въ

бою. Пропалъ, пропалъ безславно, какъ подлая собака». «...Это ты убилъ его?» сказалъ подъѣхавшій въ это время Остапъ. Тарасъ кивнулъ головою».

Конечно, при оцѣнкѣ этой сцены надо имѣть въ виду жестокіе нравы той эпохи вообще и казацкой среды въ частности. Но все же нельзя не замѣтить, что въ Бульбѣ въ жертву патріотическому долгу принесено естественное, не исчезающее ни въ какой эпохи и ни въ какой средѣ чувство человѣка и отца. Гоголь подчеркиваетъ эту безтрепетность Тараса при исполненіи ужаснаго дѣла, которое онъ считалъ своимъ долгомъ. Тарасъ «смотрѣть прямо въ очи» Андрію. Лицо Тараса не дрогнуло, когда онъ разсмотрывалъ убитаго сына, и ему жаль только погибшей понапрасну военной силы, а не сына. И для мертваго Андрія у Тараса нѣть иныхъ словъ, кромѣ бранныхъ. На вопросъ Остапа Тарасъ киваетъ головой, повидимому, совершенно равнодушно.

Тѣ же черты душевной силы, далеко превосходящей обычные человѣческие размѣры, обнаруживаются въ описаніи «поминокъ», устроенныхъ Бульбой «вражьимъ ляхамъ», казнившимъ Остапа. Безощадность Тараса къ полякамъ въ данномъ случаѣ, опять-таки, совершенно понятна, но и здѣсь Гоголь не пожалѣлъ чрезвычайно яркихъ красокъ, чтобы описать нечеловѣческую твердость Тараса. Такъ, онъ указываетъ, что Тараса не смущали такие крики убиваемыхъ вмѣстѣ съ младенцами молодыхъ полячекъ, «отъ которыхъ подвигнулась бы самая сырья земля и степовая трава поникла бы отъ жалости долу». Но настоящій апоеозъ героизма Тараса находимъ въ описаніи Тарасовой смерти. Когда поляки «притянули его желѣзными цѣпями къ древесному стволу, гвоздемъ прибили ему руки и... принялись тутъ же раскладывать подъ деревомъ костеръ», то Тарасъ, не думая о мукахъ смерти, его ожидающихъ, старается спасти своими совѣтами товарищѣй, и ему дѣйствительно удается указать имъ на члены, въ которыхъ они уплываютъ отъ польской погони. Проявивъ такое презрѣніе къ страданіямъ и смерти, Тарасъ уже въ то время, когда «огонь подымался надъ костромъ, захватывалъ его ноги и разостлался пламенемъ по дереву», произноситъ вдохновенный монологъ: «Прощайте, товарищи...», въ которомъ патріотический и религіозный подъемъ Бульбы сообщаетъ его рѣчи пророческій паѳосъ. Приведя эти предсмертныя слова своего героя, Го-

голь прибавляет оть себя: «Да развѣ найдутся на свѣтѣ такие огни, муки и такая сила, которая бы пересилила русскую силу». Эти слова автора повѣсти по тону и по смыслу такъ полно гармонируютъ съ монологомъ Бульбы, что составляютъ какъ бы его продолженіе и смѣло могли бы быть въ него вставлены. Уже изъ этого можно заключить о томъ, что при всей жизненности и яркости многихъ чертъ характера Тараса это для Гоголя не только объективный образъ, но и носитель и выразитель патріотическихъ увлеченій автора и воплощеніе идеала человѣка, не ограничивающагося существованіемъ, а влагающаго въ свою жизнь нѣкоторую высокую идею, которой подчиняются рѣшительно всѣ личные интересы и стремленія.

Сыновья Тараса по основнымъ чертамъ своей душевной жизни близко подходятъ къ только что очерченнымъ свойствамъ главнаго героя повѣсти. Двигателемъ дѣйствій старшаго изъ нихъ, Остапа, является то же патріотическое и религіозное одушевленіе, которое руководитъ и самимъ Тарасомъ. Отличаясь оть отца большою сдержанностью и замкнутостью, не любя высказываться, Остапъ обладаетъ тою же желѣзною волею и проявляетъ то же презрѣніе къ мукамъ и смерти. Это доказывается героическимъ его поведеніемъ во время его мучительной казни. Знаменитое восклицаніе Остапа передъ смертью: «Батько, гдѣ ты? Слышишь ли ты все это?», какъ будто нарушающее нѣсколько впечатлѣніе героизма Остапа, приходится признать литературнымъ эффектомъ, какихъ въ данной повѣсти вообще не мало. Вопросъ Остапа вызываетъ дѣйствительно поразительный по силѣ производимаго впечатлѣнія отвѣтъ Тараса: «Слышишь».

Натура Андрія иная, чѣмъ у Тараса и Остапа. Будучи доступенъ чувству любви, заставляющему его даже измѣнить родинѣ, Андрій, какъ будто, ближе къ обыкновеннымъ людямъ съ ихъ слабостями, чѣмъ его отецъ и братъ. Но присматриваясь къ Андрію, мы замѣчаемъ, что и онъ чувствуетъ иначе, чѣмъ обыкновенные смиренные. Вспомнимъ монологъ Андрія къ любимой имъ полячкѣ: «Царица! Что тебѣ нужно, чего ты хочешь?», кончающійся словами: «Мы не годимся быть твоими рабами; только небесные ангелы могутъ служить тебѣ», и второй его монологъ къ ней же: «А что мнѣ отецъ, товарищи и отчизна?» Эти монологи— это религіозные гимны, это выраженіе такой высокой, такой пожирающей страсти, какой не

встрѣтишь среди обыкновенныхъ людей. И обѣщаніе Андрія «попнести въ сердцѣ своеемъ» прекрасную полячку, замѣнившую ему отчизну, отца и товарищей, пока станетъ его вѣка, сдержано Андріемъ: умирая отъ руки отца, онъ, по словамъ Гоголя, шепталъ имя прекрасной полячки.

Давь скорѣе воплощеніе своихъ идеаловъ, чѣмъ реальные жизненные образы, въ лицѣ главныхъ героевъ своей повѣсти, Гоголь, какъ мы видѣли, изложилъ главные моменты изъ жизни этихъ героевъ соотвѣтствующимъ стилемъ и языккомъ торжественнымъ и патріотическимъ. Такимъ же стилемъ изложены Гоголемъ и нѣкоторые моменты борьбы казаковъ съ поляками.

Наиболѣе характерна въ этомъ отношеніи манера изложенія при описаніи битвы въ VII главѣ повѣсти. По справедливому указанію проф. Котляревскаго, стиль этого описанія—пѣсенныій. Гоголь не повѣствуетъ о подвигахъ казаковъ, а воспѣваетъ ихъ. Обилие и иногда подробность сравненій (кровь сравнивается съ надрѣчной калиной, Остапъ съ плавающимъ въ небѣ ястребомъ), подробность въ описаніяхъ отдѣльныхъ схватокъ, съ описаніемъ того, какъ палашъ «вышибаетъ сахарные зубы», и какая добыча снимается съ убитаго,—все это, вмѣстѣ съ плавною рѣчью, состоящею изъ длинныхъ періодовъ, начинающихся обыкновенно со сказуемаго, дѣлаетъ Гоголя въ этихъ частяхъ его повѣсти своеобразнымъ Гомеромъ георгической казацкой борьбы.

**Профессурा.** Интересуясь исторіей и преподавая ее въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, Гоголь сталъ думать и о профессорской каѳедрѣ и при содѣйствіи вліятельныхъ друзей получилъ право читать въ Петербургскомъ университѣтѣ, въ качествѣ адъюнкта, среднюю исторію. Хотя Гоголь самоувѣренно полагалъ, что ему легко будетъ затмить «толпу вялыхъ профессоровъ», но попытка Гоголя не удалась. Вступительная лекція его, очень красавая, произвела сильное впечатлѣніе, но такъ читать цѣлый курсъ было невозможно. Одного умѣнья художественно излагать для профессора мало, а достаточно глубокихъ и одинаково полныхъ во всѣхъ частяхъ курса познаній у Гоголя не было. Вотъ почему онъ скоро охладѣлъ къ своей затѣѣ и покинулъ университетъ.

## III.

## Комедія.

**Комедія «Женитьба».** Мы знаемъ, какъ рано проявилась у Гоголя театральная жилка. Невозможность часто посещать театры была для Гоголя одною изъ самыхъ досадныхъ сторонъ его печального материального положенія въ Петербургѣ. Пріѣхавъ лѣтомъ 1832 г. на родину, Гоголь по дорогѣ остановился въ Москвѣ, гдѣ завязалъ нѣсколько знакомствъ, оставшихся, какъ мы увидимъ, прочными и имѣвшихъ большое значеніе въ судьбѣ Гоголя. Таково было, между прочимъ, знакомство съ С. Т. Аксаковымъ и знаменитымъ комикомъ Императорской московской сцены М. С. Щепкинымъ. Съ 1832 г. стала Гоголь мечтать о комедіи, причемъ думалъ взять сюжетъ изъ жизни и дѣятельности столичнаго чиновничества. Начавъ работу, Гоголь убѣдился, однако, что «перо толкается о такія мѣста, которыхъ цензура никогда не пропуститъ». Комедія, которая должна была называться «Владимиръ 3-й степени», такъ и не была написана въ цѣломъ видѣ, и мы имѣемъ отъ нея лишь нѣсколько отдѣльныхъ сценъ: «Утро дѣлового человѣка», «Тяжба», «Лакейская» и «Отрывокъ».

Въ серединѣ тридцатыхъ годовъ, простиившись «Миргородомъ» со своимъ «романтизмомъ», Гоголь создаетъ два произведенія въ томъ родѣ, который давно привлекалъ его особый интересъ. Это были комедіи: «Женитьба» и «Ревизоръ», въ которыхъ гений Гоголя, какъ художника-реалиста, проявился въ полномъ своемъ блескѣ. Остановимся сначала на значеніи комедіи «Женитьба». Въ ней можно различать два элемента: бытовой и психологический. Въ бытовомъ отношеніи наиболѣе цѣнны образы Агаѳы Тихоновны, купеческой дочери, ищущей въ мужья непремѣнно дворянина, Арины Пантелеимоновны, убѣжденной купчихи, если можно такъ выразиться, и свахи Феклы Ивановны. Понятія, выражаемыя теткой и племянницей въ ихъ бесѣдахъ между собою и со свахой, весьма характерны для купеческой среды, и въ этихъ сценахъ комедіи можно видѣть первую постановку той темы, многочисленныя разработки которой далъ потомъ Островскій въ своихъ комедіяхъ изъ купеческаго быта. Гоголь опередилъ Островского на 13 лѣтъ. Въ психологиче-

скомъ же смыслъ заслуживаетъ вниманія образъ главнаго дѣйствующаго лица комедіи—чиновника Подколесина. Слѣдя за поведеніемъ Подколесина, мы легко убѣждаемся, что отличительною его чертою является крайняя слабость воли и полная неспособность къ сколько-нибудь рѣшительному и самостоятельному дѣйствію, при сильно развитомъ воображеніи. Это видно изъ самыхъ первыхъ сценъ комедіи, когда мы видимъ Подколесина лежащимъ на диванѣ и поминутно призывающимъ слугу своего Степана, чтобы задать ему рядъ никому ненужныхъ, незначительныхъ вопросовъ. Продолжая лежать, принимаетъ Подколесинъ и частую свою гостю—сваху, которая далеко не въ первый разъ принимается рисовать ему достоинства Агаѣи Тихоновны и богатство ея приданаго. Третій мѣсяцъ слушая разсказы щеклы, Подколесинъ не знаетъ, однако, до сихъ порь даже имени невѣсты; настолько, очевидно, мало склоненъ онъ перейти къ дѣйствію отъ пассивной роли слушателя разсказовъ свахи. Прослушавъ еще разъ сообщеніе о домѣ, двухъ флигеляхъ, огородѣ, бѣлизнѣ и румянцѣ Агаѣи Тихоновны, съ прибавкой краткой характеристики того купца, который нанималъ этотъ огородъ подъ капусту, и сыновей этого купца, Подколесинъ спокойно приглашаетъ щеклу послѣ завтра прійти снова, со блазнѧя ее пріятной перспективой: «Мы съ тобой, знаешь, опять вотъ этакъ: я полежу, а ты разскажешь».

Будучи лишены способности предпринимать что-либо по собственному почину, какъ бы хорошо ни было обдумано предпріятіе, такие люди, какъ Подколесинъ, страдая избыткомъ воображенія, въ высшей степени легко поддаются чужому вліянію и, если не дать имъ остить, способны совершить самые смѣлые поступки, когда ихъ воображеніе разгорячено. Такимъ руководителемъ Подколесина, возбудителемъ его энергіи является его пріятель Кочкиревъ, чрезвычайно безтолковый и пустой человѣкъ, изъ числа тѣхъ, которымъ рѣшительно все равно, что и зачѣмъ дѣлать, лишь бы не сидѣть сложа руки, а хлопотать и суетиться. Кочкиревъ искусно пользуется податливостью Подколесина на всякие разсказы, пытающіе воображеніе, и въ XI-мъ явленіи первого дѣйствія комедіи рисуетъ своему другу плѣнительныя картины семейной жизни. Раззадоривъ Подколесина рассказомъ объ экспедиторчатахъ, которые будуть удивительно похожи на отца, Кочкиревъ, не давая пріятелю опомниться,

заставляет его надѣть фракъ и, когда Подколесинъ все же не рѣшается выѣхать, осыпаетъ его градомъ отборныхъ ругательствъ и увозить къ невѣстѣ. Здѣсь дѣло продолжаетъ итти попрежнему, т. е. Подколесинъ выполняетъ задуманный планъ лишь до тѣхъ поръ, пока надѣнь нимъ пребываетъ и его подгоняетъ Кочкаревъ. Всякий же разъ, какъ надзоръ Кочкарева ослабѣваетъ, Подколесинъ начинаетъ безъ толку топтаться на мѣстѣ. Такъ, напримѣръ, когда, благодаря энергіи и рѣшительности Кочкарева, всѣ соперники Подколесина устраниены, и онъ остается наединѣ съ Агаѳеей Тихоновой, то вмѣсто предложения онъ ведеть съ ней разговоръ: о катаны лѣтомъ на дачѣ въ лодкѣ, о пріятности цвѣтовъ для дамъ, о Екатерингофскомъ гулянїи, о храбости штукатурщиковъ, и на вопросъ Кочкарева заявляетъ, что онъ «все уже сказалъ, что слѣдуетъ». Оказывается, однако, что онъ позабылъ «открыть ей сердце». Когда Кочкаревъ дѣлаетъ это за него и, соединивъ руки Агаѳы Тихоновны и Подколесина, благословляетъ ихъ, то, казалось бы, дѣло сдѣлано; рѣшительное слово произнесено помимо Подколесина, и ему остается теперь пожинать плоды чужихъ трудовъ. Рѣчи Подколесина въ концѣ 19-го и въ 20-мъ явленіи 3-го дѣйствія свидѣтельствуютъ, повидимому, о томъ, что Подколесинъ теперь самъ оцѣнилъ услугу Кочкарева и жаждетъ только скорѣйшаго окончанія дѣла. Оказывается, однако, что стоило Подколесину остатся на короткое время одному, безъ непрерывныхъ подталкиваній Кочкарева,—и привычка замѣнять дѣйствія размышеніями и пугливость воображенія берутъ свое. Монологъ Подколесина, наединѣ съ самимъ собою, въ 21-мъ явленіи 3-го дѣйствія, великодѣльно выражаетъ весь ходъ размышеній Подколесина въ зависимости отъ работы его воображенія. До ремарки Гоголя: *Послѣ нѣкотораго молчанія* Подколесинъ тѣшился свѣтлыми картинами будущей семейной жизни; онъ, преувеличивая все подобно всѣмъ людямъ этого типа, находитъ, что его ждетъ «блаженство, какое точно бываетъ только развѣ въ сказкахъ, котораго, просто, даже не выразишь, да и словъ не найдешь, чтобы выразить». Но вотъ услужливая фантазія напоминаетъ Подколесину, что наряду съ розами Гименей готовить ему и терніи. Еще тогда, когда Кочкаревъ плѣнялъ его трогательнымъ сходствомъ будущихъ экспедиторчатъ съ отцомъ, Подколесинъ сейчасъ же представилъ себѣ разные неблаговидные поступки этихъ «канальчатъ»

въ родѣ разбрасыванія бумагъ. Очевидно, что теперь неудобства и тягости семейной жизни стали рисоваться воображенію Подколесина съ тою же яркостью, съ какою за нѣсколько мгновеній до этого онъ представлялъ себѣ «райское блаженство», его ожидающее. И самымъ страшнымъ для Подколесина, какъ для всѣхъ нерѣшительныхъ людей, представилась невозвратность того шага, который ему предстоитъ. Незамѣтно и, вѣроятно, неожиданно для самого себя Подколесинъ выскакиваетъ въ окно, наглядно доказывая этимъ, что подъемъ энергіи у такихъ людей можетъ быть лишь кратковременнымъ и прекращается съ удаленіемъ возбудителя этой энергіи.

Въ лицѣ Подколесина мы имѣемъ одинъ изъ первыхъ въ русской литературѣ типовъ съ рѣзко обозначенными нарушеніемъ равновѣсія отдѣльныхъ душевныхъ силъ. Размышеніе (правда о предметахъ ничтожныхъ, сообразно со слабымъ развитиемъ Подколесина) и воображеніе не уравновѣшены у Подколесина соответствующимъ развитиемъ воли и практическаго смысла. Такое явленіе—бездѣлная трата силъ и времени на обдумываніе разныхъ пустяковъ и бесплодные разговоры, при страхѣ предъ всяkimъ рѣшительнымъ и серьезнymъ дѣйствиемъ—стало одною изъ центральныхъ чертъ нашего національнаго душевнаго склада, какъ онъ выразился въ цѣломъ рядѣ типовъ, нарисованныхъ позднѣе Гоголемъ, Лермонтовымъ, Тургеневымъ и особенно Гончаровымъ. Главными историко-общественными причинами возникновенія и распространенія такого типа людей явились крѣпостное право и слабое развитіе общественной самодѣятельности въ русской исторіи.

Историко-литературное значеніе комедіи «Женитьба», потонувшей въ лучахъ славы «Ревизора», нерѣдко забывается — и совершенно несправедливо.

**«Ревизоръ».** Обратимся къ анализу «Ревизора», произведенія истинно-бессмертнаго по своей геніальности, составившаго эпоху въ исторіи русской комедіи и сыгравшаго чрезвычайно важную роль въ дѣятельности и судьбѣ Гоголя. Мы видѣли, какъ о цензурныхъ препятствіяхъ разбрѣлся замыселъ Гоголя создать комедію изъ быта и нравовъ столичнаго чиновничества. Въ «Ревизорѣ», сюжетъ котораго, какъ и сюжетъ «Мертвыхъ душъ», данъ Гоголю Пушкинскимъ, дѣйствіе перенесено въ небольшой уѣздный городокъ, глухое мѣсто-положеніе котораго характеризуется извѣстными словами городни-

чаго: «Да отсюда, хоть три года скачи, ни до какого государства не доѣдешь».

Завязка «Ревизора» задумана съ чрезвычайнымъ мастерствомъ. Предъ нами застоявшееся болото провинціального существованія; чиновники, привыкшіе вершать дѣла и судьбу зависящихъ отъ нихъ обывателей келейно, въ своемъ тѣсномъ кружкѣ. Трудно избрать болѣе удобный моментъ для наблюденія надъ этими людьми, какъ моментъ ожиданія приѣзда ревизора. Извѣстіе объ этомъ угрожающемъ бѣдствію до глубины всколыхнуло и взволновало души чиновниковъ, и въ эту-то самую минуту мы и сводимъ съ ними первое знакомство. Естественно, что понятія, привычки, идеалы этихъ людей именно при этомъ случаѣ раскрываются съ исчерпывающей полнотою. И дѣйствительно, первыя два явленія 1-го дѣйствія комедіи вводятъ нась въ мірь чиновничихъ интересовъ, взглядовъ и стремлений такъ полно, что къ 3-му явленію мы здѣсь уже свои люди. Общею чертою чиновниковъ, приготовляющихся къ приему ревизора, является, прежде всего, вполнѣ отсутствіе у нихъ какой-либо мысли о гражданскихъ своихъ обязанностяхъ. Они смотрятъ на свое служебное положеніе по-древне-русски, какъ на кормленіе, и не считаютъ вовсе нужнымъ разграничивать сферы частной жизни и общественного служенія. Такъ, мы узнаемъ, что въ присутственныхъ мѣстахъ въ просительской комнатѣ такъ и шныряютъ принадлежащіе сторожамъ гуси съ маленькими гусятами; что въ самомъ присутствіи высушивается всякая дрянь; надъ самымъ шкаломъ съ бумагами виситъ охотничій арапникъ. Такъ относясь къ своему положенію, чиновники, естественно, ничего не дѣлаютъ по службѣ, такъ какъ не признаются за собою никакого долга по отношенію къ населенію. Кромѣ того, врядъ ли эти люди и могли принести какую-либо существенную пользу, такъ какъ ихъ невѣжество не знаетъ предѣловъ. Считающійся наиболѣе образованнымъ изъ нихъ судья высказываетъ предположеніе, что ревизора начальство послало, намѣреваясь вести войну и желая узнать, нѣть ли гдѣ измѣны. Попечитель богоугодныхъ заведеній полагаетъ, что «если человѣкъ умретъ, то и такъ умретъ; если выздоровѣеть, то и такъ выздоровѣеть», а потому лѣкарства являются излишними; врачъ не знаетъ ни слова по-русски, и уже изъ этого можно заключить, какъ онъ исполняетъ свои обязанности.

Нѣть ничего удивительного, что при такомъ уровнѣ гражданскаго и умственнаго развитія эти люди берутъ взятки и, если и считають это «грѣшками», то такими, которые имѣеть за собою всякий человѣкъ и противъ которыхъ могутъ возставать только вольтеріанцы—название, примѣняемое чиновниками, очевидно, ко всякому, въ комъ хоть въ малѣйшей степени пробудилась критическая мысль.

Когда мы читаемъ первыя два явленія «Ревизора», то мы очень быстро убѣждаемся, что взгляды чиновниковъ на службу и на взятки, охарактеризованные выше, кажутся имъ единственными возможными. «Это такъ самимъ Богомъ устроено», прямо говорить про взятки городничий. Такие порядки, такое отношение къ службѣ, очевидно, впитаны ими изъ всей окружающей атмосферы, слагавшейся въ теченіе многихъ поколѣній. При такой крѣпкой сплоченности чиновниковъ между собою, при однородности и крѣпости ихъ традицій и воззрѣній мы заранѣе могли бы предсказать, какъ отнесутся эти люди къ извѣстію о предстоящемъ прѣѣздѣ ревизора. Они должны смотрѣть на него, какъ на несчастье, противъ котораго нужно заранѣе выработать мѣры борьбы. И дѣйствительно, городничий высказываетъ именно такой взглядъ въ отвѣтъ на вопросъ смотрителя училищъ, зачѣмъ ѳдетъ ревизоръ. «Зачѣмъ? Такъ ужъ, видно, судьба (*вздохнувъ*). До сихъ поръ благодареніе Богу, подбирались къ другимъ городамъ; теперь пришла очередь къ нашему». Мы видимъ, что ревизоръ для городничаго нѣчто въ родѣ стихійнаго бѣдствія: голода, эпидеміи, землетрясенія. Судьба посыпаетъ эти бѣдствія то на ту, то на другую мѣстность. «Начальство», посылающее ревизоровъ, представляется чиновникамъ какою-то невѣдомой, а потому грозной силой. Про него извѣстно только, что оно «имѣеть тонкіе виды». Извѣстно, впрочемъ, еще, что оно не любить взяточъ и требуетъ отъ чиновниковъ исполненія своихъ обязанностей. Для борьбы съ ревизорами, какъ со всякимъ начальствомъ и со всякимъ бѣдствиемъ, опытъ указываетъ извѣстныя средства. Начальство можно обмануть, и Богъ, посылающій на людей за грѣхи ревизоровъ, вразумляетъ и на борьбу съ ними. «Бывали трудные случаи въ жизни», говорить нѣсколько дальше городничий, «сходило, еще даже и спасибо получалъ. Авось, Богъ вынесетъ и теперь». Низкій уровень религіознаго развитія,

обнаруживаемый городничимъ, вполнѣ соответствуетъ его развитию умственному, нравственному и гражданскому. Призывая Бога на помощь противъ ревизора, городничій увѣренъ, что свои «грѣшки», состоящіе въ обкрадываніи казны и грабежѣ населенія, онъ вполнѣ искупаетъ усерднымъ посвѣщеніемъ богослуженія. «Ну, а что изъ того, что вы берете взятки борзыми щенками?» язвительно замѣчаетъ онъ судѣй. «Зато вы въ Бога не вѣрюете; вы въ церковь никогда не ходите; а я по крайней мѣрѣ въ вѣрѣ твердъ». Обѣщаю, въ случаѣ удачнаго исхода ревизіи, «поставить такую свѣтку, какой еще никто не ставилъ», и для этого на каждого купца наложить доставку трехъ пудовъ воска, городничій увѣренъ, что Богу будетъ угодна свѣтла, сфабрикованная столь оригинальнымъ способомъ.

Таковы люди, съ которыми мы знакомимся въ началѣ комедіи. Понятно, какъ взволнованы они и перепуганы, когда узнаютъ изъ полученного городничимъ письма, что ревизоръ долженъ пріѣхать *инкогнито*. Это страшное слово, «проклятое инкогнито» крѣпко сидитъ, по словамъ городничаго, у него въ головѣ. Сидитъ оно и въ головахъ достойныхъ его сотрудниковъ, и понятно, что всѣ они до такой степени угнетены сознаніемъ обилія своихъ «грѣшковъ» и въ то же время такъ темны умственно, что среди нихъ создается чрезвычайно благопріятная почва для распространенія какихъ угодно нелѣпыхъ слуховъ, связанныхъ съ ожидаемымъ бѣдствіемъ. На эту благодарную почву и падаютъ сообщенія двухъ городскихъ помѣщиковъ, Бобчинского и Добчинского (явленіе 3-е). Разумѣется, свѣтлого человѣка разсказъ Бобчинского съ его нелѣпой увѣренностью, что Хлестаковъ—ревизоръ, только разсмѣшилъ бы; но мы знаемъ, въ какомъ угнетенномъ душевномъ состояніи находятся должностные лица, слушающія этотъ разсказъ. И аргументы, которыми Бобчинский и Добчинский доказываютъ, что видѣнныи ими въ трактирѣ молодой человѣкъ и есть ожидаемый ревизоръ, кажутся слушателямъ Петровъ Ивановичъ вполнѣ убѣдительными. Вспомнимъ эти аргументы. Во-первыхъ, рассказчикамъ показалось, что у незнакомаго молодого человѣка «въ лицѣ этакое разсужденіе» и «много, много всего» въ головѣ. Во-вторыхъ, онъ чиновникъ, юдущій изъ Петербурга; въ третьихъ, подорожная прописана въ Саратовъ; въ четвертыхъ, «другую ужъ недѣлю живеть, изъ трактира не ёдетъ, забираетъ все на счетъ и ни копейки не

хочетъ платить». Наконецъ, въ пятыхъ, молодой человѣкъ проявилъ большую наблюдательность, заглянувъ въ тарелки, изъ которыхъ Петры Ивановичи ъли семгу. Согласно съ русской пословицѣ: «у страха глаза велики», чиновники, не исключая и городничаго, человѣка вовсе не глупаго, присоединились къ увѣренности рассказчиковъ, что такъ живописно изображенный Бобчинскимъ молодой человѣкъ съ «разсужденіемъ въ лицѣ» и есть тотъ чиновникъ, о которомъ городничій «изволилъ получить нотицію». Послѣ послѣднихъ распоряженій по службѣ, городничій сломя голову устремляется въ гостиницу умилостивлять ревизора, къ великой досадѣ своей супруги, не желающей цѣлыхъ два часа томиться въ неизвѣстности, полковникъ ли пріѣзжай и черные ли у него глаза.

Изъ такой завязки съ неизвѣстностью вытекаетъ весь дальнѣйшій ходъ комедіи и ею обусловленъ чрезвычайный комизмъ цѣлаго ряда дальнѣйшихъ сценъ. Прослѣдимъ связь между нѣкоторыми изъ этихъ сценъ и сущность ихъ комизма. 8-е явленіе 2-го дѣйствія изображаетъ первую встрѣчу городничаго съ Хлестаковымъ. Мы уже знаемъ, что городничій проникся увѣренностью въ томъ, что Хлестаковъ—ревизоръ, соблодающій свое инкогнито; городничій полагаетъ, что этому ревизору уже извѣстенъ рядъ во-плюющихъ злоупотребленій, допущенныхъ властями за время съ его пріѣзда, и что чиновникъ въ бесѣдѣ съ нимъ, городничимъ, будетъ всячески хитрить, чтобы не обнаружить своей настоящей роли. При такихъ предположеніяхъ городничаго вполнѣ понятно, что чѣмъ менѣе въ обращеніи и рѣчахъ неизвѣстнаго молодого человѣка найдется похожаго на ревизора, тѣмъ это убѣдительнѣе будетъ доказывать, съ точки зреінія городничаго, что предъ нимъ ревизоръ. Такое отношеніе городничаго къ чиновнику, которому онъ пріѣхалъ представляться, заранѣе обѣщаетъ сдѣлать комичной ихъ встрѣчу. Но комизмъ этой встрѣчи значительно еще усиливается тѣмъ обстоятельствомъ, что Хлестаковъ, въ свою очередь, со страхомъ ждетъ городничаго, которымъ угрожаетъ ему за неплатежъ трактирный хозяинъ. Въ началѣ разговора Хлестаковъ чрезвычайно скроменъ и робокъ: онъ просить о немногомъ—не сажать его въ тюрьму, подождать, пока ему пришлютъ деньги. Видя, однако, въ предложеніи городничаго перѣѣхать на другую квартиру прямое приглашеніе въ тюрьму, Хлестаковъ, по ремаркѣ Гоголя, *храбрится*, и вотъ эта съ

горя напущенная имъ на себя храбрость окончательно убѣждаетъ городничаго въ томъ, что передъ нимъ ревизоръ. Крикъ Хлестакова, въ сущности крикъ испуга—городничій принимаетъ за привычный властный окликъ важнаго петербургскаго чиновника, забывшаго на минуту о своемъ инкогнито, а откровенное признаніе Хлестакова, что онъ «потому и сидить здѣсь, что у него нѣть ни копейки», кажется городничему «туманомъ», который хочетъ «напустить» эта «тонкая штука»—ревизоръ.

Естественно, что городничій рѣшается «приняться» за Хлестакова съ той стороны, съ которой онъ привыкъ всю жизнь приниматься за ревизоровъ и разныхъ властныхъ людей: онъ предлагаетъ Хлестакову денегъ. Это сразу развязываетъ языкъ Хлестакову, дѣлаетъ его любезнымъ и добродушнымъ хозяиномъ, такъ какъ Хлестаковъ принадлежитъ къ разряду пустыхъ людей, готовыхъ подъ вліяніемъ какихъ-нибудь внѣшнихъ впечатлѣній въ одинъ мигъ переходить изъ одного настроенія въ другое, иногда прямо противоположное. Для городничаго же эта перемѣна въ поведеніи Хлестакова служить доказательствомъ того, что подъ вліяніемъ денегъ ревизоръ смягчился; чѣмъ самоувѣреннѣе и беззаботнѣе тонъ Хлестакова, тѣмъ яснѣе для городничаго, что его предположенія были правильны, и что онъ имѣеть дѣло со «столичной штучкой», съ которой надо держать ухо востро. Такъ шли навстрѣчу другъ другу Хлестаковъ и городничій, и глубокій комизмъ какъ данной сцены, такъ и ряда послѣдующихъ заключается именно въ томъ, что чѣмъ меньше становится Хлестаковъ похожимъ на ревизора въ глазахъ всякаго свѣжаго человѣка, тѣмъ больше благоговѣютъ передъ нимъ городничій съ сослуживцами, одурманенные «проклятымъ инкогнито» и потерявшіе всякий остатокъ здраваго разсудка.

Высокое художественное достоинство комедіи состоить въ полной естественности и правдоподобіи этихъ комическихъ положеній и столкновеній. Отношеніе уѣздныхъ чиновниковъ къ рисующемуся своими столичными свойствами Хлестакову вполнѣ гармонируетъ съ уровнемъ развитія этихъ людей. Они *должны* именно такъ и никакъ иначе отнестись къ разсказамъ и всему поведенію Хлестакова. Едва ли не высшей степени совершенства достигаетъ Гоголь въ изображеніи этихъ комическихъ отношеній въ 6-мъ явленіи 3-го дѣйствія. Все это явленіе состоить изъ длиннаго монолога

Хлестакова, пришедшаго въ благодушное настроение послѣ завтрака въ богоугодныхъ заведеніяхъ; только изрѣдка этотъ монологъ прерывается вопросами и краткими замѣчаніями Анны Андреевны. Не перепуганный человѣкъ сразу замѣтилъ бы въ рѣчахъ Хлестакова рядъ воопиющихъ противорѣчій и нелѣпостей, ясныхъ для всякаго, хотя бы самаго темнаго и неразвитого слушателя. Такъ, начавъ съ заявленія, что онъ на дружеской ногѣ съ начальникомъ отдѣленія и что его хотѣли сдѣлать коллежскимъ ассесоромъ, Хлестаковъ къ концу разговора сообщаетъ, что онъ всякий деньѣздитъ во дворецъ и завтра же будетъ произведенъ въ фельдмаршалы; забывъ, что онъ государственный дѣятель, Хлестаковъ въ срединѣ монолога вдругъ заявляетъ, что онъ литературой существуетъ, чтобъ противорѣчить сейчасъ сдѣланному имъ же замѣчанію, что всѣ свои сочиненія онъ написалъ въ одинъ вечеръ. Всѣ эти и многія другія нелѣпости рѣчи Хлестакова, въ родѣ арбуза въ семьсотъ рублей, неожиданнаго исчезновенія директора департамента, тридцати пяти тысячъ курьеровъ и т. д., и т. д., остаются незамѣченными слушателями Хлестакова, который, какъ многіе пустые люди съ «необыкновенной легкостью въ мысляхъ», вдохновляется по мѣрѣ того, какъ входитъ въ роль, и самъ начинаетъ наполовину вѣрить своему вранью. Для слушателей Хлестаковъ принадлежитъ къ тому таинственному и страшному разряду людей, который опредѣляется терминомъ «начальство» и который «имѣеть тонкіе виды».

Подогрѣваемый сочувствіемъ, «уваженiemъ и преданностью» со стороны окружающихъ, Хлестаковъ не знаетъ предѣла своей развязности и бойкости. Онъ набираетъ денегъ у чиновниковъ и у купцовъ, просить руки Анны Андреевны, заявляя, что это ничего, что она замужемъ, и что «для любви нѣть различія», дѣлается наконецъ женихомъ Марыи Антоновны и, надоумленный Осипомъ, уѣзжаетъ яко бы на одинъ день. Въ 8-мъ явленіи 5-го дѣйствія наступаетъ развязка, столь же безукоризненно правдоподобная и естественная, какъ и завязка, и весь ходъ «Ревизора». Развязка является слѣдствиемъ тѣхъ самыхъ основныхъ свойствъ чиновничьяго мірка, съ которыми мы теперь уже хорошо знакомы: невѣжества, отсутствія сознанія долга и страха передъ начальствомъ. Всѣ эти свойства почтмейстера Шпекина проявились при распечатаніи письма Хлестакова. Укоренившаяся привычка распечатывать пись-

ма, чтобы узнать, нѣтъ ли въ нихъ чего-нибудь интереснаго, свидѣтельствуетъ о полномъ непониманіи своихъ правъ и обязанностей; невѣжество сказывается въ мысли, что если письмо адресовано въ Почтамтскую улицу, то въ немъ идеть рѣчь о беспорядкахъ по почтовой части; сознаніе многочисленныхъ грѣшковъ привело къ неудержимому желанію узнать, на что именно жалуется ревизоръ.

Такъ, въ полномъ соотвѣтствіи съ основными свойствами изображаемой среды, развязывается комедія; письмо Хлестакова отрезвляетъ городничаго, одурманенного сначала страхомъ передъ ревизоромъ, потомъ счастьемъ отъ перспективы «съ такимъ дьяволомъ породниться». Городничій первый приходитъ въ себя и понимаетъ весь позоръ своего дурацкаго положенія. Впечатлѣніе, производимое развязкою, увеличивается еще значительно появленіемъ жандарма, возвѣщающаго о пріѣздѣ настоящаго ревизора, который требуетъ чиновниковъ къ себѣ, въ гостиницу. Комизмъ развязки заключается въ стремительно быстрыхъ переходахъ городничаго отъ мечтаній о голубой кавалеріи, ряпушкѣ и корюшкѣ, къ сознанію, что онъ одураченъ «сосулькой», «тряпкой», и затѣмъ къ ужасу неминуемой отвѣтственности.

Мы убѣдились, какъ стройно, послѣдовательно и естественно завязывается, развивается и разрѣшается дѣйствіе комедіи, въ зависимости отъ самыхъ коренныхъ свойствъ дѣйствующей въ ней чиновничьей среды. Чтобы достигнуть такого полнаго правдоподобія, Гоголю, конечно, пришлось отбросить тѣ стѣснительныя требования, которыя съ XVIII в. предъявлялись у насъ на Руси къ комедіи; и дѣйствительно, въ «Ревизорѣ» не соблюдены единства времени и мѣста, приводившія къ злоупотребленію эпическимъ элементомъ, и отсутствуютъ идеальные лица, необходимая принадлежность русской комедіи, являющаяся даже у Грибоѣдова.

Итакъ, со стороны литературной «Ревизоръ» блестящѣ завершилъ исторію русской комедіи, явившись полнымъ торжествомъ жизни надъ мертвыми формами французскаго классицизма, сыгравъ ту роль, которая въ сферѣ трагедіи принадлежала пушкинскому «Борису Годунову».

Но комедія Гоголя проникнута и глубокимъ общественнымъ смысломъ. Она вполнѣ примыкаетъ къ тому теченію нашей новой литературы, которое, начиная съ Кантемира, обнаруживалось въ са-

тирахъ, басняхъ, комедіяхъ, журналахъ и состояло въ борьбѣ съ воплюющими злоупотребленіями нашего суда и администраціи. При анализѣ завязки «Ревизора» мы уже замѣтили, что понятія, высказываемыя городничимъ и другими чиновниками, ждущими ревизора, производятъ впечатлѣніе сложившихся прочно убѣжденій, воспитанныхъ многими десятилѣтіями и глубоко въѣвшихся въ плоть и кровь администраціи. Это впечатлѣніе, остающееся въ силѣ и при дальнѣйшемъ знакомствѣ съ комедіей, наводить на мысль, что нельзя строго взыскивать съ отдѣльныхъ лицъ тамъ, где болѣзненно ненормаленъ весь *строй отношений*, этими лицами не созданный, а полученный какъ нѣчто готовое и инымъ быть не могущее. Для внимательного читателя «Ревизора», способного задуматься надъ смысломъ произведенія, становилось ясно, что такія уродливыя явленія, какъ Сквозникъ-Дмухановскій и его подчиненные, не исчезнутъ до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать почва, въ изобилии такія явленія производящая. Такой почвой служить глубокое невѣжество всей общественной массы и отсутствие въ обществѣ сознанія своихъ правъ; все это является прямымъ слѣдствиемъ отсутствія общественной самодѣятельности, отсутствія контроля надъ служебной дѣятельностью чиновниковъ и отсутствія гласности въ странѣ, а также совершенной недостаточности вознагражденія чиновничьяго труда.

Всѣ эти общественные выводы напрашиваются при чтеніи «Ревизора» и иллюстрируются многими мѣстами комедіи. Такъ, напримѣръ, мы узнаемъ, что купцы, жалующіеся Хлестакову на городничаго, такъ далеки отъ осужденія взяточъ самихъ по себѣ, что и разговоръ съ Хлестаковымъ начинаютъ съ предложения ему взятки. Ихъ возмущаетъ вовсе не взяточничество городничаго, а то, что онъ «не по чину беретъ» (пользуемся собственнымъ выражениемъ городничаго о квартальномъ). Городничій, по словамъ купцовъ, нарушаетъ *порядокъ*, состоящій въ принесеніи ему *определенной* мзды и идущій, очевидно, отъ дѣдовъ. «Мы ужъ порядокъ всегда исполняемъ», говорятъ купцы. Все въ этой средѣ основано на принципахъ «рука руку моеть» и «воронъ ворону глазъ не выклюетъ». На этихъ основаніяхъ зиждется и своеобразная мораль этого мірка. Браня купцовъ за жалобу Хлестакову, городничій искренно возмущается проявленною ими черною неблагодарностью. «А кто тебѣ по-

могъ сплутовать, когда ты строилъ мостъ и написалъ дерева на двадцать тысячъ, тогда какъ его и на сто рублей не было? Я помогъ тебѣ, козлиная борода. Ты позабылъ это?» Въ этихъ словахъ слышится даже нѣкоторая гордость удачно совершеннымъ мошенничествомъ. Мы видѣли выше, что и религіозные взгляды городничаго тѣсно связаны съ такими его общественными и моральными привычками.

**Значеніе постановки «Ревизора» для Гоголя.** Внѣшній успѣхъ «Ревизора», поставленнаго весною 1836 года на Императорской сценѣ обѣихъ столицъ, былъ громаденъ. Публика ломилась въ театръ; въ обществѣ и, насколько позволяли цензурныя условія, въ печати комедія оживленно обсуждалась. Самъ императоръ Николай правильно охарактеризовалъ ея смыслъ словами: «всѣмъ досталось, а больше всѣхъ мнѣ». Но этотъ виѣшній успѣхъ не удовлетворялъ Гоголя. Драматическая форма творчества казалась ему всегда наиболѣе отвѣтственной, такъ какъ, исполняемое на сценѣ, произведеніе писателя дѣйствуетъ сильно и притомъ одновременно на большое количество зрителей, весьма разнородныхъ, по подготовкѣ къ пониманію пьесы, по уровню умственного развитія и по общественному положенію и занятіямъ. При такихъ условіяхъ драма скорѣе всякаго другого поэтическаго вида дасть возможность писателю быть учителемъ для общества, что Гоголь и считалъ назначениемъ поэта, какъ мы ниже въ этомъ убѣдимся. Слѣдовательно, относительно драматического произведенія приобрѣтаетъ особую важность вопросъ, въ какой степени публика поняла замыселъ автора и смыслъ его произведенія. Относительно «Ревизора» Гоголь такого пониманія не встрѣтилъ. Менѣе серьезная часть читателей и зрителей отнеслась къ пьесѣ, какъ къ произведенію веселому и смѣшному, и только. Заливаясь въ театрѣ звонкимъ хохотомъ надъ комическими сценами пьесы, эти люди забывали о ней при выходѣ изъ театра и нисколько не задумывались надъ ея сущностью. Такое «зубоскальство», конечно, было тяжело для автора. Что же касается людей болѣе вдумчивыхъ, искашихъ въ пьесѣ внутренняго смысла, то ихъ можно раздѣлить на двѣ главныхъ группы. Одни не признавали за пьесой значенія произведенія реальнаго и находили, что Гоголь просто клеветалъ на Россію; нѣть и не можетъ быть города, въ которомъ всѣ чиновники сплошь представляли бы собою такую галлерею дураковъ, или негодяевъ. Это злостная выдумка. Авторъ, замѣтивъ

отрицательныя стороны русской жизни, чрезвычайно ихъ преувеличили и выставилъ на посмѣшище иностранцамъ, доказавъ этимъ недостатокъ патріотизма. Другіе читатели, признавая правдивость нарисованныхъ Гоголемъ образовъ и картинъ, дѣлали изъ комедіи тѣ выводы общественно-политического характера, на неизбѣжность которыхъ мы указали выше. Изъ комедіи заключали, что насущно необходимы коренные реформы государственныхъ порядковъ, которыя сдѣлали бы невозможнымъ хозяйничанье Сквозниковъ-Дмухановскихъ и имъ подобныхъ.

Ни одно изъ изложенныхъ мнѣній о «Ревизорѣ» не могло удовлетворить Гоголя, и впечатлительный писатель съ глубокою горестью рѣшилъ, что онъ не сумѣлъ сказать русскому обществу того, что хотѣлъ сказать. Насколько взволнованъ былъ Гоголь этой «неудачей» своей комедіи, насколько занимала его мысль о правильномъ истолкованіи «Ревизора», видно изъ многочисленныхъ возращеній Гоголя къ этому вопросу въ письмахъ и изъ того, что при первомъ знакомствѣ съ Тургеневымъ, въ концѣ 40-хъ годовъ, Гоголь, какъ сообщаетъ Тургеневъ въ своихъ воспоминаніяхъ, почти съ первыхъ словъ сталъ говорить о смыслѣ «Ревизора», неправильно истолкованного критикой. Кромѣ того, Гоголь выразилъ свои мысли по этому вопросу въ двухъ замѣчательныхъ драматическихъ произведеніяхъ: «Развязка Ревизора» и «Театральный разѣздъ послѣ представленія новой комедіи». Въ первомъ изъ этихъ произведеній Гоголь предлагаетъ для своей комедіи аллегорическое толкованіе. Соглашаясь съ тѣми, кто находилъ, что такого города, какъ изображенный въ комедіи, въ Россіи нѣть и никогда не было, Гоголь предлагаетъ подъ городомъ разумѣть душу человѣка, подъ чиновниками— страсти, «расхищающія казну души нашей», подъ Хлестаковымъ—первый пробужденія совѣсти, легко усыпляемой разными хитросплетеніями ума нашего, какъ Хлестакова легко было купить за деньги, и подъ настоящимъ ревизоромъ, прїѣхавшимъ по Именному повелѣнію изъ Петербурга,—настоящую совѣсть, неподкупную и безпощадную, рано или поздно пробуждающуюся въ человѣкѣ по Высочайшему, т. е. Божьему повелѣнію.

Такое аллегорическое толкованіе «Ревизора», натянутое и искусстvenное, свидѣтельствуетъ о томъ, какъ хотѣлось Гоголю свести смыслъ своей комедіи отъ общественно-политического къ лично-

нравственному. Гоголь постоянно высказывался въ томъ смыслѣ, что нравственная отвѣтственность человѣка должна оставаться одинаково строгой, въ какой бы средѣ человѣкъ ни находился и какимъ бы вліяніемъ ни подвергался. Вотъ почему ссылка на порядки, порождающіе чиновничіи злоупотребленія, представлялась Гоголю непозволительнымъ переложеніемъ отвѣтственности съ отдельныхъ лицъ на общія условія жизни. Усовершенствовать себя можно при всякихъ внѣшнихъ условіяхъ. Поэтому въ лицѣ изображенныхъ въ «Ревизорѣ» чиновниковъ Гоголь предлагаетъ видѣть только дурныхъ людей. При этомъ, какъ мы видѣли, Гоголь вполнѣ признавалъ, что его чиновники—не живыя лица, а какія-то чудовища порока. Авторъ объясняетъ, что онъ во много разъ преувеличилъ пороки, существующіе между людьми вообще и чиновниками въ частности, и сдѣлалъ онъ это съ опредѣленнымъ намѣреніемъ—*ужаснуть* своихъ читателей видомъ этихъ пороковъ и показать, до чего рискуетъ дойти человѣкъ, если не будетъ строго слѣдить за собою. Посмотрѣвъ комедію, вдумчивый зритель, по мнѣнію Гоголя, спросить себя, нѣтъ ли и въ немъ, хотя бы въ зародышѣ, тѣхъ пороковъ, которые такъ ужаснули его въ Хлестаковѣ и городничемъ, и пойметъ необходимость произвести строгую ревизію души своей. Сосредоточивая, такимъ образомъ, все вниманіе на нравственномъ смыслѣ своей комедіи, Гоголь совершенно отказывался съ политической стороны видѣть въ ней проповѣдь реформъ. Онъ всегда при надлежалъ скорѣе къ консервативному лагерю.

Во второмъ изъ указанныхъ драматическихъ произведеній—въ «Театральномъ разъѣздѣ»—Гоголь отвѣтчаетъ на то обвиненіе изъ рядовъ «патріотовъ», которое особенно болѣло его задѣло. Это была мысль, что его комедія подрываетъ въ народѣ уваженіе къ власти, роняетъ ея авторитетъ. Отвѣтъ Гоголя на это обвиненіе состоить въ томъ, что народъ не въ первый разъ увидитъ представителей власти на сценѣ—опѣ видѣлъ уже ихъ и узналъ въ жизни—и сумѣеть понять, что передъ нимъ только дурные и недостойные носители власти, что нисколько не роняетъ самой ея идеи. Притомъ конецъ комедіи долженъ убѣдить зрителя, что дѣйствія такихъ чиновниковъ, какъ Сквозникъ-Дмухановскій и его сослуживцы, не остаются безнаказанными. Свои мысли Гоголь въ «Разъѣздѣ» вложилъ въ уста двухъ «армяковъ»: «Небось, прыткіе были воеводы, а всѣ по-

блѣднѣли, когда пришла царская расправа». Недаромъ Гоголь придавалъ особенное значеніе заключительной нѣмой сценѣ «Ревизора», требовалъ, чтобы она продолжалась полторы минуты, подробнѣ описалъ и изобразилъ на рисункѣ.

Особенно горько было Гоголю то, что никто изъ зрителей комедіи не увидалъ въ ней добрая призыва къ самосовершенствованію, къ работѣ надъ самимъ собою. Гоголь всегда полагалъ, что произведеніе искусства только тогда истинно и полезно, когда оно пробуждаетъ въ воспринимающихъ его добрыя, мирныя и бодрыя чувства. Между тѣмъ «Ревизоръ» привелъ совсѣмъ не къ такимъ результатамъ. Споры о смыслѣ комедіи, недовольство авторомъ у однихъ, недовольство русскими порядками и государственнымъ строемъ у другихъ, требованіе реформъ—вотъ что вызвало произведеніе Гоголя. Въ этомъ авторъ увидѣлъ доказательство своихъ собственныхъ нравственныхъ недостатковъ. Ему всегда казалось, что въ литературномъ произведеніи всегда отражается душа автора, и чѣмъ чище эта душа, тѣмъ чище и свѣтлѣе образы, рисуемые писателемъ, и впечатлѣніе, производимое этими образами.

#### IV.

**Взгляды Гоголя на искусство.—„Портретъ“.—Гоголь за границей.—„Шинель“.**

**«Портретъ».** Всѣ тѣ мысли объ искусствѣ, его сущности и значеніи, о долгѣ художника и его отношеніи къ обществу, которыя давно копились и зрѣли у Гоголя, нашли свое выраженіе не только въ письмахъ Гоголя, въ «Развязкѣ Ревизора» и «Театральномъ разѣѣ», но и въ разныхъ мѣстахъ цѣлаго ряда художественныхъ его произведеній. Но наиболѣе полное выраженіе всѣхъ этихъ мыслей приходится видѣть въ повѣсти «Портретъ», первая редакція которой относится къ 1834 году и появилась въ сборникѣ статей и рассказовъ, выпущенныхъ Гоголемъ подъ общимъ названіемъ «Арабески» въ началѣ 1835 г. Потомъ повѣсть «Портретъ» была Гоголемъ передѣлана, причемъ, однако, не измѣнила основного своего содержанія и внутренняго смысла. Ознакомленіе съ мыслями, выраженными Гоголемъ въ этой повѣсти, лучше уяснить намъ сущность

того, что переживалъ писатель послѣ постановки «Ревизора». При этомъ заранѣе оговоримся, что все, сказанное Гоголемъ въ «Портрѣтѣ» о живописи, распространяется, конечно, и на всѣ другія искусства, въ томъ числѣ и на словесное, такъ какъ живопись Гоголь разсматривается лишь въ качествѣ одного изъ видовъ искусства, игнорируя ея видовыя отличія.

Построеніе повѣсти «Портрѣтъ» таково, что при анализѣ ея приходится сначала останавливаться на второй части, содержаніе которой хронологически предшествуетъ разсказанному въ первой части. Во второй части мы узнаемъ отъ сына одного петербургскаго художника, какъ знакомство этого художника со страннымъ и страшнымъ ростовщикомъ, поселившимся въ Коломенской части Петербурга, и согласіе художника написать портретъ этого ростовщика едва не довели художника до полной гибели и причинили разнымъ людямъ множество зла.

Художникъ, о которомъ идетъ разсказъ, былъ человѣкомъ религіознымъ и писалъ картины на религіозные сюжеты. Въ то время, когда ростовщикъ явился къ нему и попросилъ написать съ него портретъ, художнику нужно было изобразить дьявола на одной изъ своихъ картинъ, и онъ рѣшилъ избрать за оригиналъ новаго своего заказчика, воспользовавшись мрачной и отталкивающей наружностью ростовщика, вполнѣ гармонировавшей съ ходившими о немъ слухами, которые говорили, что всякий, вступающій съ нимъ въ общеніе, гибнетъ: такъ погибъ молодой и гуманный вельможа, обратившійся послѣ знакомства съ ростовщикомъ изъ покровителя наукъ и искусствъ въ ихъ яростнаго гонителя и сошедшій съ ума; погибъ молодой князь, женившійся на давно любимой и любящей прекрасной дѣвушкѣ и вдругъ обратившійся въ безумнаго ревнивца и мучителя своей неповинной жены и покончившій самоубійствомъ; такъ погибли приказчикъ, извозчикъ и многіе другіе клиенты таинственного азіата. Чѣмъ дальше подвигалась работа художника надъ портретомъ ростовщика, тѣмъ болѣе тяжелое чувство испытывалъ художникъ; онъ «чувствовалъ, что глаза ростовщика вонзились ему въ душу и произвели въ ней тревогу непостижимую». Не закончивъ вполнѣ портрета ростовщика, художникъ отказался отъ продолженія, и тогда ростовщикъ приспалъ ему портретъ, послѣ чего самъ умеръ.

Портретъ оказался злымъ гостемъ въ домъ художника. Въ чистой прежде душѣ его поселились дурные чувства: онъ ощутилъ страшную зависть къ своему ученику, получившему заказъ на картину для богатой церкви, и, желая превзойти ученика, постарался написать тотъ же сюжетъ со всѣмъ совершенствомъ, къ которому былъ способенъ. Технически картина вышла превосходной; но выраженіе всѣхъ изображенныхъ на ней лицъ оказалось демоническімъ; картина производила такое впечатлѣніе, какъ будто рукою художника двигала дьявольская сила. Картина на конкурсѣ была отвергнута. Въ бѣшенствѣ отъ своей неудачи художникъ хотѣлъ уничтожить роковой портретъ, бывшій началомъ его несчастій; но пріятель выпросилъ у него портретъ для себя. Едва только художникъ освободился отъ портрета, онъ освободился и отъ своей душевной тяжести; онъ понялъ низость своего поступка съ ученикомъ и низость вызвавшаго этотъ поступокъ чувства. Художникъ рѣшилъ очистить свою душу отъ дурныхъ чувствъ, проникшихъ въ нее со времени знакомства съ ростовщикомъ; но это обѣщаніе далось ему лишь тяжелой цѣною долгаго искуса въ монастырѣ, послѣ чего его картины снова стали дышать благостью. Что же касается портрета, то онъ тревожилъ душу каждого, къ кому попадалъ, и отъ пріятеля художника переходилъ изъ рукъ въ руки до тѣхъ поръ, пока не былъ купленъ молодымъ и талантливымъ живописцемъ Чартковымъ. Вліяніе портрета на судьбу Чарткова подробно изображено въ первой части повѣсти. 1000 червонцевъ, оказавшихся спрятанными въ рамѣ портрета, погубили Чарткова: соблазненный роскошью и свѣтскими удовольствіями, онъ размѣнялъ на мелочи свой талантъ, сталъ покупать извѣстность приспособленіемъ ко вкусамъ свѣтской толпы и наживать деньги писаніемъ ничтожныхъ портретовъ, льстившихъ ничтожнымъ заказчикамъ. Погибнувъ совершенно для искусства, Чартковъ увидѣлъ, чрезъ много лѣтъ послѣ покупки рокового портрета, дивную картину своего товарища, безкорыстно усовершенствовавшаго свой талантъ въ Италии, и понялъ всю бездну своего паденія. Всѣ попытки Чарткова вернуться къ служенію искусству оказались безуспѣшными; Чартковъ въ порывѣ изступленія скапаетъ за короткое время множество прекрасныхъ произведеній живописи, чтобы истребить ихъ, и наконецъ умираетъ, окончательно потерявъ разсудокъ.

Вдумываясь въ смыслъ судьбы портрета, мы убѣждаемся, что знакомство художника съ ростовщикомъ дало таланту художника гибельное направлениe. Дьявольская сила, исходившая отъ ростовщика, перешла изъ души художника на полотно, и потому портретъ сталъ всюду съять зло и раздоръ между людьми. И это зло было тѣмъ ужаснѣе, чѣмъ болѣе сильный талантъ обнаруживался въ портретѣ. Прочтемъ слова самого художника, автора портрета, сказанныя имъ сыну въ монастырѣ, когда душа его уже очистилась отъ дьявольской силы: «...Для успокоенія и примиренія всѣхъ нисходитъ въ міръ высокое созданіе искусства. Оно не можетъ посесть ропота въ душу, но звучащей молитвой стремится вѣчно къ Богу». Про написанный имъ портретъ художникъ говоритъ: «Это не было созданье искусства, и потому чувства, которыя объемлють всѣхъ при взглядѣ на него, суть уже мятежныя чувства, тревожныя чувства, не чувства художника, ибо художникъ и въ тревогѣ дышитъ покоемъ».

Такимъ образомъ, для созданія истинно художественнаго произведенія далеко не достаточно одного таланта, какъ бы силенъ онъ ни былъ. При дурномъ направлениi талантъ обращается въ злую силу. Нужно, чтобы художникъ напряженной работой надъ самимъ собою очистилъ свою душу и возвель ее до такой высоты, чтобы всякое его произведеніе было какъ бы пронизано свѣтомъ, исходящимъ изъ его души. Тогда, какъ бы ни быть низокъ самъ по себѣ предметъ, изображенный художникомъ, онъ перестаетъ быть низкимъ, онъ «возводится въ перль созданія», «ибо», говорить старый художникъ, «сквозить невидимо сквозь него прекрасная душа создавшаго, и презрѣнное уже получило высокое выраженіе, ибо про текло сквозь чистилище его души»... Описывая въ первой части разсказа идеальное произведеніе великаго художника, Гоголь, въ полномъ соотвѣтствіи съ приведенными сейчасъ словами, говоритъ: «Видно было, какъ все, извлеченное изъ вѣнчанаго міра, художникъ заключилъ сперва себѣ въ душу и уже оттуда, изъ душевнаго родника, устремилъ его одной согласной, торжественной пѣснью».

Теорія искусства, извлекаемая изъ повѣсти «Портретъ», при даетъ, какъ мы видимъ, центральное значеніе личности самого художника. Только художникъ съ достаточно чистой и безмятежной душой можетъ внести въ міръ тѣ великия созданія, которыя и въ

воспринимающихъ ихъ пробудять добрыя и безмятежныя чувства. Отсюда понятно, что выходъ въ свѣтъ каждого нового своего произведения Гоголь рассматривалъ, какъ своего рода испытаніе того уровня нравственного развитія, на которомъ стояла собственная его душа. Такой взглядъ значительно позднѣе выразился у Гоголя въ слѣдующихъ словахъ, въ началѣ второго тома «Мертвыхъ Душъ»: «Что же дѣлать, если, заболѣвъ собственнымъ несовершенствомъ, сочинитель уже не можетъ изображать ничего другого, какъ только бѣдность, да бѣдность, да несовершенство нашей жизни?...»

**Гоголь за границей.** Измученный цензурными мытарствами и хлопотами съ театральной дирекціей при постановкѣ «Ревизора», удрученный тѣмъ, что комедія произвела не то дѣйствіе, котораго ему хотѣлось, Гоголь въ томъ же 1836 году уѣзжаетъ за границу, гдѣ съ перерывами и протекаетъ остальная жизнь писателя, возвратившагося, какъ увидимъ, на родину лишь за четыре года до смерти.

Первое время жизни въ Италии, въ богатомъ памятниками искусства Римѣ, вдали отъ тревожившихъ его на родинѣ толковъ и волнений, успокоило Гоголя и было однимъ изъ лучшихъ periodовъ его жизни. Но уже въ началѣ 1837 г. Гоголя поражаетъ тяжелый ударъ: умираетъ Пушкинъ. Великое значеніе дружбы съ Пушкинымъ для Гоголя выяснено подробно у Д. Н. Овсянико-Куликовскаго. Умъ Гоголя, всегда склонный углубляться въ одинъ вопросъ, въ одну идею, въ данный моментъ его занимавшую, со страстью отдаваться одному стремленію, не замѣчая въ это время другихъ сторонъ того же предмета, притомъ съ очень ранняго времени проявившій склонность къ мистицизму, какъ нельзѧ болѣе нуждался въ пушкинскомъ вліянії. «Солнечный» умъ Пушкина умѣль легкo, безъ усилий охватывать предметъ со всѣхъ сторонъ. Пушкинъ умѣль и углубиться въ вопросъ, но дѣжалось это у него безъ того напряженія и той страстности, какъ у Гоголя. Любящимъ и сочувственнымъ взоромъ охватывалъ Пушкинъ всю природу, всю жизнь человѣческую въ прошломъ и настоящемъ, всю душу людскую съ ея высокими и низкими свойствами; и дурное умѣрялось у него хорошимъ, и «трудъ и горе» вознаграждались «гармоніей», и «вѣчной красой природы», и восторгомъ «предъ созданьями искусствъ и вдохновенія». Гоголь же, поддавшись той или иной идеѣ, мучительно старался проникнуть до глубины ея, теряя духовную свободу, покой и радость.

Естественно поэту, что влияние Пушкина вносило необходимые поправки въ міросозерцаніе и направление Гоголя и не давало по-слѣднему доходить до крайностей. Гоголь оцѣнилъ всю тяжесть потери Пушкина и самъ писалъ, что, создавая свои произведенія, онъ всегда думалъ о томъ, что скажетъ о нихъ его геніальный другъ. Передъ отъездомъ изъ Россіи Гоголь успѣлъ прочесть Пушкину первыя главы 1-го тома «Мертвыхъ Душъ», и извѣстно восклицаніе Пушкина подъ вліяніемъ этого чтенія: «Боже, какъ грустна наша Россія!» Въ началѣ 1839 года на рукахъ Гоголя умираетъ даровитый молодой другъ его, гр. Іосифъ Віельгорскій, и эта смерть также угнетающе дѣйствуетъ на впечатлительную душу Гоголя. Въ то же время писателю приходится переживать очень тяжелое душевное состояніе вслѣдствіе крайне разстроенныхъ материальныхъ своихъ дѣлъ. Не имѣя никакого постоянного заработка, Гоголю приходилось прибѣгать къ займамъ, тяготившимъ его и заставлявшимъ иногда слишкомъ торопиться при литературной работѣ, и къ просьбамъ о пособіяхъ отъ правительства. Всѣ эти тяжелыя впечатлѣнія и пережитыя тревоги отразились на осуществленіи Гоголемъ занимавшаго его въ это время грандіознаго литературнаго плана: поэмы «Мертвые Души», которая, по его мысли, должна была сдѣлаться подвигомъ всей его жизни.

**«Шинель».** Прежде, чѣмъ перейти къ изложенію этого грандіознаго плана и причинъ его неудачи и къ анализу первого тома «Мертвыхъ Душъ» и сохранившихся частей второго, мы должны ознакомиться съ небольшою по объему, но чрезвычайно важной по значенію повѣстю Гоголя «Шинель», въ которой талантъ Гоголя, какъ художника-реалиста, сказался съ тою же полнотой, какъ и въ разбранныхъ нами двухъ комедіяхъ.

Героемъ повѣсти «Шинель» является человѣкъ, обиженный Богомъ и людьми, мелкій канцелярскій чиновникъ Башмачкинъ, всю жизнь переписывающій бумаги и рѣшительно ни о чёмъ болѣе интересномъ, полезномъ и важномъ не мечтающій и никогда не мечтавшій. Умственное убожество его безпредѣльно. Когда, въ награду за усердіе, ему предложили, вмѣсто простого переписыванья, немногого болѣе самостоятельную работу, и нужно было «перемѣнить заглавный титулъ, да перемѣнить кое-гдѣ глаголы изъ первого лица въ третье», то и такая работа оказалась не подъ силу Акакію Акакіев-

вичу, и онъ предпочелъ вернуться къ переписыванію. Мечты Акакія Акакіевича вертѣлись, главнымъ образомъ, на вопросѣ о томъ, «что-то Богъ пошлетъ переписывать завтра». У него были любимыя буквы, дойдя до которыхъ, онъ выражалъ на лицѣ всѣ признаки удовольствія.

Таково умственное ничтожество Башмачкина. Несмотря на это ничтожество, судьба гоголевского героя не можетъ не вызывать нашего состраданія. Въ департаментѣ, где онъ служилъ, молодые чиновники насмѣхались надъ нимъ, проявляя всю ту жестокость и безсердечіе, которая таятся часто подъ внѣшнимъ лоскомъ. Но ярче всего это безчеловѣчное отношеніе къ ничтожнымъ людямъ проявилось въ исторіи новой шинели Акакія Акакіевича. Прежняя шинель его, давно носившая у насмѣшившихъ его сослуживцевъ название «капота», пришла въ безнадежное состояніе, такъ что портной Петровичъ нашелъ невозможную дальнѣйшую ея поправку. Пришлось дѣлать новую шинель, ради которой Башмачкинъ перенесъ рядъ тяжелыхъ лишеній. И въ первый же день послѣ того, какъ готова была новая шинель—предметъ долгихъ мечтаний Акакія Акакіевича—грабители сняли ее съ плечъ его на пути отъ сослуживца, дававшаго въ тотъ день вечеринку. Тщетны были всѣ поиски, и во время этихъ поисковъ герою повѣсти пришлось перенести то потрясеніе, которое и свело его въ могилу. Акакій Акакіевичъ явился съ просьбой объ отысканіи шинели къ «значительному лицу», а послѣднее проявило по отношенію къ бѣдному чиновнику ту холодность и тотъ формализмъ, которые Гоголю всегда казались особенно преступными въ людяхъ, облеченныхъ властью. Не вникнувъ въ тяжелое положеніе просителя, безъ толку накричавъ на него и потребовавъ подачи прошенія по установленной формѣ, «значительное лицо» такъ перепутало несчастнаго Акакія Акакіевича, что тотъ, прия домой, слегъ въ постель и скоро умеръ.

Въ заключительныхъ строкахъ «Шинели» Гоголь высказываетъ ту мысль, которая насквозь проникаетъ и одушевляетъ это произведеніе. Это мысль о томъ, что люди, въ своемъ безсердечіи и эгоизмѣ, нерѣдко проходятъ съ меньшимъ вниманіемъ мимо человѣка, чѣмъ мимо муhi. Никто во всемъ мірѣ не вникнулъ въ душевный міръ Акакія Акакіевича и не отнесся къ нему, какъ къ брату по человѣчеству; онъ не обратилъ на себя, по словамъ Гоголя, даже и вни-

манія «естествонаоблюдателя, не пропускающаго посадить на булавку обыкновенную муху и размотрѣть въ микроскопъ».

Значеніе повѣсти заключается въ томъ гуманномъ и участливомъ отношеніи къ ничтожному и неинтересному человѣку, которое проявляетъ Гоголь и которое онъ возбуждаетъ у своихъ читателей. Трудно согласиться съ высказываемой иногда мыслью, что эпизодъ съ шиньемъ новой шинели можетъ рассматриваться, какъ обнаружение стремленія къ идеалу, живущаго въ душѣ даже такихъ забитыхъ людей, какъ Башмачкинъ. Ничего идеального въ желаніи его имѣть новую шинель нѣтъ; это просто подчиненіе желѣзной необходимости, такъ какъ исправить «капотъ» оказалось абсолютно невозможнымъ. Но именно потому-то и цѣнно проявляемое Гоголемъ человѣческое отношеніе къ герою повѣсти, что рѣшительно ничего идеального въ этомъ герой нѣтъ. Призывъ быть сострадательными къ «униженнымъ и оскорблѣннымъ» людямъ, къ тѣмъ, кого природа и судьба совсѣмъ или почти совсѣмъ лишили человѣческихъ стремленій и обратили въ какіе-то автоматы, звучить въ повѣсти «Шинель» столь громко, что писатели «реальной школы» считали именно эту повѣсть наиболѣе яркой выразительницей того гуманного направлѣнія, которое, вслѣдъ за Пушкинскимъ и Гоголемъ, стало отличительной чертой нашей литературы XIX вѣка. Извѣстно выраженіе Достоевскаго: «Всѣ мы вышли изъ гоголевской «Шинели».

## V.

### „Мертвые Души“.

**Планъ «Мертвыхъ Душъ».** Переидемъ къ ознакомленію съ тѣмъ грандіознымъ планомъ «Мертвыхъ Душъ», который сталъ занимать Гоголя со второй половины 30-хъ годовъ.

Мы знаемъ, что во всѣхъ произведеніяхъ Гоголя съ реальнымъ характеромъ Россія и русскіе люди были изображены съ однѣхъ лишь отрицательныхъ сторонъ, причемъ эти отрицательныя стороны были представлены авторомъ, по его собственнымъ словамъ, въ преувеличенномъ видѣ, съ цѣлью ужаснуть читателей и побудить ихъ къ нравственной работѣ надъ собою. Выводы, которые дѣлались изъ этихъ произведеній, были такого рода, что автора относили къ писателямъ либеральнаго направленія; считали, что онъ съ крайнимъ

критицизмомъ относится не только къ отечественнымъ порядкамъ, но и къ самой природѣ русскаго человѣка, рисуя, по его собственному позднѣйшему выражению, «бѣдность, да бѣдность, да несовершенство нашей жизни». Между тѣмъ, всѣ вышеизложенные сужденія о Гоголѣ стояли въ самомъ коренномъ противорѣчіи съ дѣйствительнымъ характеромъ его общественно-политическихъ воззрѣній. Воспитанный въ патріархально-религіозномъ духѣ, рано проявившій склонность къ мистицизму, другъ С. Т. Аксакова и другихъ консервативно настроенныхъ людей, Гоголь глубоко вѣрилъ въ лучшія стороны русской жизни и въ великое будущее Россіи, что и выразилъ въ знакомомъ намъ предсмертномъ монологѣ Тараса Бульбы и въ общемъ направленіи этой повѣсти. Такимъ образомъ, Гоголь-гражданинъ въ корнѣ разошелся съ Гоголемъ-художникомъ. Мы знаемъ при этомъ, что внесеніе въ общество критического духа, «мятежнаго» недовольства существующими порядками и всякаго рода тревогъ и споровъ Гоголь считалъ не дѣломъ истиннаго искусства и доказательствомъ того, что художникъ не достигъ еще надлежащей нравственной высоты. Если имѣть въ виду все, сейчасъ изложенное, и прибавить къ этому, что Гоголь всегда смотрѣлъ на писательство, какъ на одинъ изъ отвѣтственныхъ видовъ общественного служенія, а на писателя, какъ на «честнаго чиновника великаго Божьяго государства» (выраженіе первого комического актера о самомъ себѣ въ «Развязкѣ Ревизора»), то мы поймемъ, въ чемъ Гоголь долженъ быть усмотрѣть дѣло остальной своей жизни. Такимъ дѣломъ должно было стать произведеніе, въ которомъ бы, прежде всего, Россія и русскій человѣкъ отразились не «съ одного боку», а со всѣхъ сторонъ. Изъ этого произведенія читатель убѣдился бы, что наряду съ дурными людьми въ Россіи много честныхъ и хорошихъ. Во-вторыхъ—и это главное—предполагаемая книга должна была доказать, что какъ бы ни былъ воспитанъ человѣкъ, какою бы дурною средою ни былъ онъ окруженъ и какія бы низкія понятія онъ ни впиталъ въ себя изъ этой среды,—онъ можетъ исправиться и нравственно возродиться, если у него есть къ этому искреннее стремленіе. Найдутся и добрые люди, которые примѣромъ, словомъ и средствами помогутъ такому падшему, и, очистившись въ средѣ этихъ добрыхъ людей, человѣкъ можетъ дойти до высокаго нравственного совершенства и стать полезнымъ членомъ государства и общества.

Сюжетомъ своего грандіознаго произведенія Гоголь рѣшилъ избрать судьбу именно такого человѣка, сначала соединяющаго въ себѣ различные пороки и соприкасающагося съ такими же порочными, какъ и онъ самъ, людьми. Затѣмъ, герой, попадая въ другую, болѣе благопріятную сферу, путемъ долгаго и мучительного душевнаго процесса освобождается отъ своихъ низкихъ и порочныхъ стремленій и наконецъ въ третій періодъ своей жизни начинаетъ употреблять свои силы на положительную, полезную работу для общества.

Такимъ образомъ, грядущее произведеніе Гоголя должно было представить собою возвышающее душу повѣствованіе о постепенномъ восхожденіи человѣческой души изъ глубины порока на высоты нравственной и гражданской доблести. Такой возвышенный сюжетъ заставилъ Гоголя дать этому произведенію название поэмы. Название это остается совершенно непонятнымъ, если имѣть въ виду только первый томъ «Мертвыхъ Душъ», гдѣ, кромѣ образовъ и картинъ поплыхъ и низкихъ, никакихъ другихъ не встрѣчается. И только грандіозный замыселъ Гоголя объясняетъ такое наименование. Образцомъ для Гоголя должна была послужить знаменитая «Божественная Комедія» Данте, и поэма Гоголя должна была, подобно ей, состоять изъ трехъ отдѣльныхъ частей или томовъ, соответственно тремъ періодамъ жизни главнаго героя, намѣченнымъ выше. Первый томъ долженъ быть соответствовать дантовскому «аду», второй—«чистилищу» и третій—«раю».

Что планъ этотъ былъ у Гоголя выработанъ, и что онъ не смѣръ на имѣющійся у насть I-й томъ «Мертвыхъ Душъ», какъ на самостоятельное и законченное произведеніе, видно, между прочимъ, изъ слѣдующаго мѣста XI-й главы I-го тома поэмы: «Съ нашей стороны, если точно падетъ обвиненіе за бѣдность и невзрачность лицъ и характеровъ, скажемъ только то, что никогда вначалѣ не видно всего широкаго теченія и объема дѣла. Вѣзде въ какой бы то ни было городѣ, хоть даже столицу, всегда какъ-то блѣденъ; сначала все сѣро и однообразно: тянутся безконечные заводы да фабрики, закопченные дымомъ, а потомъ уже выглянуть углы шестиэтажныхъ домовъ, магазины, вывески, громадныя перспективы улицъ, всѣ въ колокольняхъ, колоннахъ, статуяхъ, башняхъ, съ городскимъ блескомъ, шумомъ и громомъ, и всѣмъ, что на диво произвела рука и

мысль человѣка. Какъ произвелись первыя покупки, читатель уже видѣлъ; какъ пойдетъ дѣло далѣе, какія будуть удачи и неудачи герою, какъ придется разрѣшить и преодолѣть ему болѣе трудныя препятствія, какъ предстанутъ колоссальные образы, какъ двинутся сокровенные рычаги широкой повѣсти, раздастся далѣе ея горизонтъ и вся она приметъ величавое лирическое теченіе, то увидить по-тому».

Въ другомъ мѣстѣ той же XI главы читаемъ: «Можеть быть, въ сей же самой повѣsti почуются иныя, еще не бранныя струны, предстанетъ несмѣтное богатство русскаго духа, пройдетъ мужъ, одаренный божескими доблестями, или чудная русская дѣвица, какой не сыскать нигдѣ въ мірѣ, со всей дивной красотой женской души, вся изъ великодушнаго стремленія и самоотверженія. И мертвыми покажутся передъ ними всѣ добродѣтельные люди другихъ племенъ, какъ мертвa книга передъ живымъ словомъ. Подымутся русскія движенія... и увидятъ, какъ глубоко заронилося въ славянскую природу то, что скользнуло только по природѣ другихъ народовъ»...

Грандиозный планъ Гоголя остался въ цѣломъ видѣ неосуществленнымъ. Съ крушениемъ этого плана связана та тяжелая драма, которая разыгралась въ душевномъ мірѣ писателя и привела его къ безвременной гибели. Полной картины этой драмы мы нарисовать не можемъ и никогда не сможемъ за неимѣніемъ необходимыхъ материаловъ; но нѣкоторые элементы этой душевной драмы могутъ быть установлены на основаніи того, что известно о послѣднемъ десятилѣтіи жизни Гоголя. Нѣкоторыя данные для рѣшенія этой задачи, конечно въ ограниченныхъ предѣлахъ, — даетъ и 1-й томъ «Мертвыхъ Душъ». Вмѣстѣ съ тѣмъ этотъ томъ представляеть собою и произведеніе высочайшаго художественнаго совершенства и чрезвычайно глубокаго общественнаго значенія.

**Чичиковъ.** Приступая къ разбору 1-го тома «Мертвыхъ Душъ», остановимся прежде всего возможно подробнѣе на личности главнаго дѣйствующаго лица этого произведенія, Павла Ивановича Чичикова, которому и была предназначена Гоголемъ роль героя его трехтомной поэмы. Образъ Чичикова полонъ общественного интереса и отъ начала до конца 1-го тома выдержанъ съ чрезвычайною вѣрностью и нарисованъ съ необыкновенною полнотою и всесторонностью.

О дѣтствѣ и воспитаніи Чичикова мы узнаемъ изъ XI главы 1-го тома «Мертвыхъ Душъ». Общій характеръ впечатлѣній, полученныхъ Чичиковымъ дома, до отъѣзда въ городъ, въ школу—чрезвычайно сѣрый, безцвѣтный. Вся среда, окружавшая мальчика, была мелка и скучна, и на душу ребенка не легло ни одного яркаго, вызывающаго образа, ни одной свѣтлой картины, сколько-нибудь будящей стремленіе къ идеалу. Отецъ, занятый своими дѣлами, не имѣлъ, очевидно, о воспитаніи ни малѣйшаго понятія, да и не интересовался этимъ вопросомъ. Все воспитаніе сводилось у него къ скучному переписыванію прописей съ однообразными, давно надоевшими и опротивѣвшими нравоученіями. Хотя Гоголь не сообщаетъ никакихъ подробностей о дѣтствѣ资料 of своего героя, но можно догадываться, что наблюдательному и неглупому мальчику приходилось видѣть передъ собою только картины ежедневной борьбы за существованіе, лишеннай какихъ бы то ни было поэтическихъ элементовъ. Вся поэзія умственныхъ и эстетическихъ наслажденій, работы надъ самимъ собою, все, что есть въ жизни прекраснаго, безкорыстнаго и достойнаго «святѣйшаго изъ званій—человѣкъ», все это отсутствовало въ жизни Чичикова и окружающихъ его людей. Общій характеръ этой жизни вполнѣ выразился въ извѣстномъ наставленіи, данномъ Чичиковымъ-отцомъ при поступлении мальчика въ школу. Въ этомъ наставленіи сказался горькій жизненный опытъ забитыхъ, темныхъ и неразвитыхъ людей. По мнѣнію отца Чичикова, на свѣтѣ есть два могущественныхъ средства прожить счастливо: это угодденіе начальству и старательное сбереженіе копеекъ—единственныхъ въ мірѣ вѣрныхъ друзей. Въ этомъ наставленіи виденъ человѣкъ, который, во-первыхъ, не знаетъ, что помимо копейки и доставляемыхъ ею материальныхъ благъ есть на свѣтѣ еще душа человѣческая, съ очень сложными и нерѣдко могучими способностями и силами, которая подлежать развитію и могутъ освѣтить жизнь гораздо ярче, чѣмъ копейки и даже миллионы рублей. Во-вторыхъ, въ завѣтѣ, полученному Чичиковымъ, отразилось привычное сознаніе своего безправія, вытравившее изъ души всякое представление о человѣческомъ достоинствѣ. Съ такимъ тѣснымъ кругозоромъ поступаетъ Павлуша Чичиковъ въ школу. И, конечно, тутъ дѣло не въ одномъ отцовскомъ наставленіи. Наставленіе это только закрѣпило въ словесной формулѣ ту сумму впечатлѣній, которую впиталъ въ

себя Павлуша въ родительскомъ домѣ, наблюдая жизнь старшихъ. Школа, въ которую отданъ былъ Чичиковъ, неспособна была сколько-нибудь расширить его тѣсный кругозоръ, и въ школьные годы стало ярко уже обнаруживаться, что Чичиковъ—хорошій ученикъ той среды, въ которой протекли ранніе его годы. Въ школѣ Чичиковъ впервые проявилъ цѣнныя силы своей души: чрезвычайную твердость воли, выдержку, терпѣніе, способность не останавливаться и не отступать на пути къ намѣченной цѣли, однимъ словомъ, пользуясь выраженіемъ Ломоносова, «упрямку»; бѣда только въ томъ, что упрямка эта не сдѣлалась «благородной», и цѣли, которыя ставилъ себѣ Чичиковъ, и теперь и потомъ отличались чрезвычайно низостью. Указанныя силы души Чичикова обнаружились въ известныхъ эпизодахъ со снигиремъ, съ мышью, съ продажей булокъ проголодавшимся товарищамъ. Вынесенная же изъ родительского дома привычка не дорожить своимъ личнымъ достоинствомъ проявилась въ унизительныхъ угощеніяхъ учителю, требовавшему отъ учениковъ одной только покорности и тишины. Этому учителю суждено было сдѣлаться и первой жертвой Чичикова, первымъ человѣкомъ, которого онъ «надуль». Въ поступкѣ Чичикова съ забольвшимъ и голоднымъ учителемъ впервые во всей полнотѣ проявилось безсердечіе, крайній эгоизмъ и скупость Чичикова, умѣвшаго, однако, показаться совсѣмъ не такимъ, когда это было нужно.

Такимъ образомъ въ школѣ Чичиковъ остался вѣренъ себѣ и вышелъ оттуда съ намѣреніемъ и впредь обдѣлывать свои дѣлишки съ тѣмъ же искусствомъ, которое доставило ему наградную книгу съ лестною надписью при выпускѣ изъ училища. Случай для применения «талантовъ» Чичикова не замедлилъ представиться. Поступивъ на службу, Чичиковъ поставилъ передъ собою одну опредѣленную цѣль, вполнѣ сообразную съ уровнемъ развитія, имъ полу-ченного. Этой цѣлью стало достижениѳ материальнаго достатка, который далъ бы ему возможность пользоваться благами жизни. Представление объ этихъ благахъ сложилось у Чичикова еще въ школьнную пору. «Экипажи, домъ, отлично устроенный, вкусные обѣды—вотъ что безпрерывно носилось въ головѣ его». Такъ выработался идеаль Чичикова, и на служеніе этому тѣсному и низкому идеалу отдалъ онъ, какъ мы увидимъ, всего себя. Предъ средствами для достижениѳ этихъ идеаловъ Чичиковъ не останавливается. Ни отъ кого

никогда не слыхалъ онъ и ни въ комъ не видѣлъ на примѣрѣ, чтобы средства дѣлились на хорошія и дурныя, нравственный и безнравственный. «На войнѣ, какъ на войнѣ» — вотъ принципъ всей дальнѣйшей дѣятельности Чичикова; всѣ средства хороши, и одного только нужно бояться — тюрмы; но противъ этой опасности у гоголевскаго героя было хорошее средство — хитрый и изворотливый умъ. Всѣ дальнѣйшіе моменты судьбы Чичикова, по выходѣ изъ школы, описанные Гоголемъ въ XI главѣ 1-го тома, служать проявленіями сейчасъ охарактеризованныхъ свойствъ героя поэмы. Вскорѣ по поступлѣніи на службу Чичиковъ обманомъ достигаетъ мѣста повытчика: онъ ведеть себя, какъ женихъ дочери старого повытчика, своего начальника, и этимъ путемъ добивается повышенія, послѣ чего и не думаетъ заводить рѣчи о сватовствѣ. Старый повытчикъ былъ вторымъ человѣкомъ, который, подобно школьному учителю, долженъ быть сознаться, что Чичиковъ его «сильно надулъ». Съ этого времени, по словамъ Гоголя, восхожденіе Чичикова по служебной лѣстницѣ пошло легче, и скоро Чичиковъ добрался до «хлѣбнаго мѣстечка». Здѣсь Чичиковъ обнаружилъ свое всегдашнее умѣніе приспособиться къ людямъ и нравамъ, его окружающими; зная, что взятки преслѣдуются, онъ сталъ брать ихъ новѣйшимъ, усовершенствованнымъ способомъ,透过儿 melkikhъ подчиненныхъ, самъ умѣя обращаться съ публикой чрезвычайно предупредительно, съ видомъ истинно «просвѣщенного» дѣятеля. Начавъ копить капиталъ, Чичиковъ солидно увеличилъ его, получивъ мѣсто въ комиссіи по постройкѣ казеннаго зданія. Новый начальникъ обнаружилъ, однако, мошенничества Чичикова, отобралъ у него, какъ и у другихъ членовъ комиссіи, возведенный на казенные деньги домъ, и Чичикову пришлось перенести свою дѣятельность въ другой городъ и призвать на помощь все свое терпѣніе, чтобы начать снова всю тяжелую работу восхожденія къ своему идеалу. Перемѣнившись нѣсколько мѣстъ, Чичиковъ попалъ на службу въ таможню, где съ прежнимъ искусствомъ «надувалъ» начальство, наивно увѣренное, что если Чичиковъ «не составилъ себѣ небольшого капитальца изъ разныхъ конфискованныхъ товаровъ и отбираемыхъ кое-какихъ вещицъ, не поступающихъ въ казну во избѣженіе лишней переписки», то, значитъ, онъ честный чиновникъ. Поощренный начальствомъ, Чичиковъ затѣваетъ наконецъ грандиозное мошенничество, доста-

вляющее ему полумилліонный капиталъ, но скора съ товарищемъ по мошенничеству, вызванная взаимными счетами на почѣвъ единственно доступныхъ Чичикову низкихъ интересовъ и мелочного самолюбія, приводить къ тому, что тотъ пишетъ на Чичикова доносъ, вызывающій разслѣдованіе, которое снова разрушаетъ всѣ планы Чичикова и лишаетъ его скопленного капитала. Во второй разъ вся будущность Чичикова казалась погибшей, и во второй разъ спасло его терпѣніе и желѣзная способность къ труду и самообузданію. Чичиковъ дѣлается повѣреннымъ и, ведя дѣло одного помѣщика, наталкивается на мысль о томъ дерзкомъ мошенническомъ предпріятіи, осуществленіе котораго и составляеть содержаніе 1-го тома «Мертвыхъ Душъ». Чичиковъ составляетъ планъ—купить побольше крестьянъ, которые уже умерли, но до новой ревизіи числятся еще живыми. Помѣщики, несомнѣнно, рады будутъ избавиться отъ платежа податей за эти «несуществующія» души и съ охотою отдадутъ ихъ даже даромъ Чичикову. А онъ заложить ихъ, какъ живыхъ, и получить подъ нихъ цѣлый капиталъ.

Вдумываясь въ эту біографію Чичикова, изложенную Гоголемъ очень кратко, на немногихъ страницахъ XI главы, но имѣющію, тѣмъ не менѣе, важное значеніе для характеристики героя, мы приходимъ къ заключенію, что въ началѣ тѣхъ «похожденій», которыхъ изображены въ 1-мъ томѣ поэмы, Чичиковъ является человѣкомъ вполнѣ сложившимся, съ рѣзко опредѣленными отличительными чертами душевнаго склада и съ громаднымъ житейскимъ опытомъ, знаніемъ людей и умѣньемъ къ нимъ приспособляться.

Припомнимъ поведеніе Чичикова въ случаяхъ, изображенныхъ въ 1-мъ томѣ «Мертвыхъ Душъ». Въ губернскомъ городѣ Чичиковъ пѣнилъ всѣхъ чиновниковъ и обывателей своимъ умѣньемъ каждому сказать что-нибудь пріятное, соотвѣтствующее полу, возрасту, общественному положенію и вкусамъ даннаго лица. О своемъ прошломъ онъ выражается довольно неопределенно, напирая главнымъ образомъ на то, что «потерпѣлъ за правду» и что носился по житейскому морю подобно уткой ладью, гонимой волнами, и имѣлъ врачовъ, готовыхъ покуситься даже на самую жизнь его. Очаровавъ городскихъ жителей, Чичиковъ начинаетъ свои разѣзды по помѣщикамъ съ цѣлью покупки мертвыхъ душъ. Побывавъ у Манилова, Ноздрева, Собакевича, Плюшкина, Коробочки, онъ сумѣлъ почти съ

каждымъ найти наиболѣе подходящій и ближе ведущій къ цѣли тонъ. Съ однимъ только Ноздревымъ Чичиковъ такого тона не нашелъ. Но это понятно, такъ какъ герой поэмы, по неоднократнымъ указаніямъ Гоголя, являлся олицетворенiemъ благопристойности, между тѣмъ, какъ у Ноздрева этого качества не было вовсе. Лучше всего чувствовалъ себя Чичиковъ у Манилова, который, не отличаясь проницательностью и знаніемъ людей, принималъ за чистую монету высказываемыя Чичиковымъ нѣжныя чувства и удивленіе гостя географическими познаніями маленькаго Фемистоклюса. Чичиковъ выразилъ и глубокое сочувствие къ «просвѣщеннымъ» мечтамъ Манилова. Обходительность Чичикова достигаетъ такой степени, что онъ умѣеть даже понравиться (насколько это возможно вообще) Плюшкину. Однако, любезность, доходящая до приторности, сразу покидаетъ Чичикова, когда, по его мнѣнію, въ ней не представляется надобности. Такъ, съ Коробочкой Чичиковъ несравненно проще и грубѣе, чѣмъ съ Маниловымъ или Плюшкинымъ, и даже въ минуту раздраженія «сулить ей черта». Желая выразиться какъ можно утонченнѣе и «просвѣщеннѣе», Чичиковъ сплетаетъ витеватыя и неудобопонятныя фразы, нерѣдко приводящія въ тупикъ не слишкомъ быстрыхъ слушателей. Такова фраза, съ которой обратился онъ къ Манилову: «итакъ, я бы желалъ знать, можете ли вы мнѣ таковыхъ, не живыхъ въ дѣйствительности, но живыхъ относительно законной формы, передать, уступить, или какъ вамъ заблагорассудится лучше?» Самая наружность Чичикова вполнѣ соответствуетъ его пошлой душѣ, неспособной глубоко чувствовать и широко смотрѣть на вещи. Впечатлѣніе, производимое Чичиковымъ, впечатлѣніе посредственности. Онъ ни толстъ, ни тонокъ, ни старъ, ни молодъ, «благоприличенъ»—и только.

Обратимся къ оцѣнкѣ Чичикова самимъ Гоголемъ. Послѣдній, считая свою поэму дѣломъ жизни, тѣмъ самыемъ важнымъ словомъ, которое онъ призванъ сказать Россіи, не считалъ нужнымъ соблюдать строгую объективность повѣтствованія. Онъ не скучился на лирическихъ отступленіяхъ, при помощи которыхъ, во-первыхъ, постоянно напоминалъ читателю, что онъ имѣеть дѣло только съ введеніемъ въ грандиозное поэтическое созданіе (отрывки изъ такихъ отступлений приведены нами выше); во-вторыхъ, истолковывалъ душевную сущность своего героя. Въ обильной лирическими отступленіями

XI-й главъ Гоголь объясняетъ читателямъ, почему онъ не сдѣлалъ героемъ своего произведенія «добродѣтельного человѣка». Добродѣтельный человѣкъ, по словамъ Гоголя, слишкомъ ужъ часто изображался въ литературѣ; «теперь нѣтъ на немъ и тѣни добродѣтели, а остались только ребра да кожа, вмѣсто тѣла». Здѣсь можно видѣть справедливое указаніе на то, что очень часто положительные образы въ нашей литературѣ были довольно блѣдны и безжизненны. Въ виду такого «пресыщенія» добродѣтельными людьми Гоголь съ горькимъ смѣхомъ заявляетъ, что «пора, наконецъ, припрѣчь и подлеца», и восклицаетъ: «итакъ, припрѣжемъ подлеца». Такимъ образомъ безпощадная оцѣнка Чичикова сдѣлана самимъ авторомъ поэмы. Правда, черезъ нѣсколько страницъ послѣ этого Гоголь предлагаетъ не называть Чичикова подлецомъ, а называть «хозяиномъ», «пріобрѣтателемъ», но тутъ же высказывается объ этомъ «пріобрѣтательствѣ» такія мысли, которыя не оставляютъ сомнѣнія въ подлости пріобрѣтателей вообще и Чичикова въ частности.

Знакомясь съ жизнью Чичикова, мы не разъ замѣчали, что въ немъ получили дурное направление цѣнныя душевныя силы. Изъ Чичикова вышелъ бы выдающійся гражданинъ, если бы цѣли, къ которымъ онъ стремится, не были такъ узки и поплы. Но въ томъ видѣ, какъ онъ является въ 1-мъ томѣ поэмы, Чичиковъ несомнѣнныи «подлецъ» и въ немъ мы находимъ дальнѣйшее развитіе и доказаніе до полной отчетливости тѣхъ свойствъ, которыя знакомы намъ по Ивану Ивановичу Перерепенкѣ: нравственной тупости, безсердечія, самоувѣренности, вѣнчанаго соблюденія своего достоинства при готовности ко всякому униженію тамъ, гдѣ это выгодно.

**Маниловъ.** Мы уже говорили выше, что по замыслу Гоголя относительно трехтомныхъ «Мертвыхъ Душъ» чичиковъ въ первый періодъ своей жизни имѣть дѣло съ такими же «мертвыми» душами, какъ и его собственная душа. И дѣйствительно, люди, изображенныя, наряду съ Чичиковымъ, въ 1-мъ томѣ поэмы, всѣ одинаково далеки отъ идеала. Здѣсь Гоголь рисуетъ, во-первыхъ, цѣлый рядъ образовъ помѣщиковъ, которыхъ посыпаетъ Чичиковъ съ цѣлью покупки мертвыхъ душъ; во-вторыхъ, мы знакомимся отчасти съ администрацией губернского города. Остановимся сначала на помѣщикахъ. Нужно сказать, что Гоголь всегда считалъ нужнымъ предъявлять къ помѣщикамъ не менѣе, а пожалуй, даже болѣе строгія

нравственные требования, чьмъ къ чиновникамъ. Онъ находилъ, что помѣщикъ облечень властью, налагающей на него чрезвычайно серьезные обязанности относительно крестьянъ, которыхъ онъ долженъ поддерживать материально и морально и которыми долженъ руководить во всѣхъ житейскихъ дѣлахъ. Поэтому Гоголь и обрисовалъ подробно хозяйственную дѣятельность или бездѣятельность изображенныхъ имъ помѣщиковъ. Остановимся отдельно на каждомъ изъ помѣщичьихъ образовъ, нарисованныхъ въ первомъ томѣ «Мертвыхъ Душъ», и постараемся уловить общія черты этой среды.

Въ лицѣ Манилова передъ нами человѣкъ, никогда не имѣвшій никакихъ сильныхъ желаній, никакихъ оригиналъныхъ, сколько-нибудь рѣзкихъ свойствъ, самый средній человѣкъ. Можетъ быть, на днѣ души его и существовали, въ возможности, какія-нибудь способности, которая обнаружились бы, если бы обстоятельства заставили Манилова хоть сколько-нибудь поработать надъ собою, если бы жизнь потребовала отъ него хоть какой-нибудь борьбы. Но земля и крестьяне вполнѣ обеспечивали существованіе Манилова, и потому человѣкъ этотъ давно остановился въ своемъ развитіи. Все въ деревнѣ и въ домѣ Манилова свидѣтельствовало объ этой давней остановкѣ; все у него было недостроено, недодѣлано, недодумано. Книга, которую началъ когда-то читать Маниловъ, оставалась неизмѣнно открытой на 14-ой страницѣ; два кресла въ гостиной много лѣтъ ждали своей обивки, и т. п. Для крестьянъ Манилова его бездѣятельство было чрезвычайно вредно: они также ничего не дѣлали и начинали пьянствовать. Чѣмъ менѣе становился Маниловъ способенъ къ живому и полезному дѣлу, тѣмъ больше предавался онъ пустымъ и празднымъ мечтаніямъ, терявшимъ, наконецъ, всякий смыслъ. Такъ, мечталъ онъ о домѣ съ такимъ бельведеромъ, откуда, во время чаепитія, можно было бы видѣть Москву; о томъ, какъ государь пожалуетъ его и Чичикова генеральскимъ чиномъ за пріятность обращенія и взаимную дружбу, и о другихъ, столь же безсмысленныхъ вещахъ. Естественно, что, будучи совершенно лишенъ умственныхъ, гражданскихъ и какихъ бы то ни было общихъ интересовъ, Маниловъ съ безразличной приторной любезностью относится ко всѣмъ людямъ—хорошимъ и дурнымъ. И Чичиковъ, и всѣ губернскіе чиновники, и всѣ окрестные помѣщики являются для

Манилова «прелюбезнѣйшими» и «препріятнѣйшими» людьми. О состоянии своего хозяйства Маниловъ ничего рѣшительно не знаетъ, и, когда понадобилось навести для Чичикова справку объ умершихъ крестьянахъ, то онъ механически повторялъ слова приказчика, управлявшаго, повидимому, не только крестьянами, но и самимъ помѣщикомъ.

**Собакевичъ.** Прямою противоположностью Манилову по образу жизни, отношенію къ своему хозяйству и къ людямъ вообще представляется Собакевичъ. Онъ хорошій хозяинъ, соблюдающій свою выгоду и понимающій, что для этого нужно заботиться и о крестьянскомъ благосостояніи. Въ этомъ смыслѣ Собакевичъ, несомнѣнно, выше Манилова; тотъ довольствуется только тѣмъ, чтобы на его вѣкъ хватило, а Собакевичъ упрочить и сбережетъ свои имѣнія и на будущее время. Но, присматриваясь ближе къ Собакевичу, мы видимъ, что и его душа можетъ быть причислена къ «мертвымъ»: онъ лишенъ какихъ бы то ни было интересовъ и побужденій, кроме узко практическихъ. Въ домѣ и усадьбѣ Собакевича нельзѧ было замѣтить ни одной, хотя бы мелкой черточки, которая бы намекала на присутствіе въ душѣ Собакевича стремленія къ красотѣ. Все было грубо и разсчитано лишь на удовлетвореніе насущныхъ потребностей физического существованія. Въ средствахъ для укрѣпленія материальнаго своего положенія Собакевичъ, повидимому, совершенно неразборчивъ. Онъ не стѣсняется запросить съ Чичикова по 100 рублей за мертвя души и потомъ торговаться до утомленія, причемъ сходится съ покупателемъ на двухъ съ полтиной, беззастѣнчиво прибавляя, что терпить убытокъ. Если мы сравнимъ Собакевича съ Чичиковымъ, то замѣтимъ, что и у Собакевича «пріобрѣтательство» составляетъ весь смыслъ жизни. Недаромъ они такъ долго и съ одинаковымъ упорствомъ торговались. Разница—и большая — заключается только въ темпераментѣ и обращеніи съ людьми—грубомъ у Собакевича, «просвѣщенномъ» у Чичикова. И хотя Собакевичъ отзыается о просвѣщеніи враждебно, находя, что оно «фукъ», а Чичиковъ очень любить хвалить просвѣщеніе, однако, видно, что цѣна просвѣщенію обоихъ одна и та же.

**Ноздревъ.** Если по образу жизни Маниловъ и Собакевичъ противоположны, а по душевной своей сущности одинаковы, то другую пару помѣщиковъ, между которыми можно замѣтить такую же ка-

жущуюся противоположность, представляютъ собою Ноздревъ и Плюшкинъ. Безшабашно удалой, ни надъ чѣмъ не задумывающійся, всегда жизнерадостный и вѣчно врущій Ноздревъ даже опытнаго въ людяхъ Чичикова смущаляръ и ставилъ втупикъ. У Ноздрева, подобно Хлестакову «въ мысляхъ легкость необыкновенная», и онъ не привыкъ обдумывать ни поступковъ своихъ, ни словъ. Для такихъ пустыхъ людей всѣ друзья и пріятели, какъ для грибоѣдовскаго Репетилова, и, встрѣтясь на постояломъ дворѣ съ Чичиковымъ, Ноздревъ безъ всякаго стѣсненія тутъ же сочиняетъ, что все утро говорилъ о немъ съ зятемъ, между тѣмъ какъ до этого только разъ и видѣлся съ Чичиковымъ на обѣдѣ у прокурора. Начиная свой длинный разсказъ о веселыхъ ярмарочныхъ похожденіяхъ, Ноздревъ и не думаетъ справиться, интересны ли эти похожденія его невольному собесѣднику, и пересыпаетъ рѣчь свою явно фантастическими подробностями въ духѣ Хлестакова, въ родѣ выпитыхъ имъ семнадцати бутылокъ шампанскаго. Затачивъ Чичикова къ себѣ въ усадьбу, Ноздревъ продолжаетъ поражать гостя своими сообщеніями. Онъ рассказалъ, что за гибѣдного жеребца заплатилъ десять тысячъ, что поймалъ руками зайца за заднія ноги, что ему принадлежитъ вся земля не только по эту сторону границы его владѣній, но и по ту сторону этой границы, и т. д. Наконецъ, не встрѣтивъ со стороны Чичикова достаточнаго сочувствія ни къ своему безконечному вранью, ни къ проектамъ мѣны разными вещами или покупки Чичиковымъ различныхъ предметовъ, совершенно ему ненужныхъ, Ноздревъ, подобно всѣмъ пустымъ людямъ, проявилъ способность съ чрезвычайною быстротою мѣнять настроение и отношение къ окружающими; онъ сталъ бранить Чичикова съ той же энергией, съ какой за нѣсколько минутъ до этого увѣрялъ его въ своей дружбѣ, и кончилъ тѣмъ, что, изображеній Чичиковымъ въ плутовствѣ при игрѣ въ шашки, собирался избить гостя, которому только случайно удалось спастись. Нечего и говорить, что, какъ помѣщикъ, Ноздревъ никуда не годенъ. Онъ проигрываетъ до копейки въ карты, тратить деньги на разныя, никому не нужные, вещи и абсолютно не способенъ заняться дѣломъ.

**Плюшкинъ.** Въ лицѣ Ноздрева передъ нами человѣкъ, размахнувшись такъ широко, что потерялъ уже всякое представление о своихъ дѣйствительныхъ силахъ и всякую способность на чемъ-нибудь со-

средоточить свою привыкшую разбѣгаться мысль и сколько-нибудь ограничить полетъ своей необузданной фантазіи. Плюшкинъ, наоборотъ, такъ глубоко ушелъ въ свою скорлупу, такъ угнетенъ одной неотвязной мыслью, что лишился способности видѣть въ Божьемъ мірѣ что-нибудь, кромѣ того, что относится прямо или косвенно къ этой преслѣдующей его мысли.

(Надо замѣтить, что Плюшкинъ изображенъ Гоголемъ подробнѣе и яснѣе другихъ помѣщичьихъ образовъ. Авторъ не ограничился портретомъ Плюшкина въ томъ состояніи, въ которомъ онъ находился ко времени прїѣзда Чичикова, а чрезвычайно ярко показалъ, какъ онъ до такого состоянія дошелъ. Пока семейная жизнь Плюшкина шла нормально, пока жива была жена его, и дѣти находились при немъ, до тѣхъ поръ внимательный наблюдатель могъ бы замѣтить въ Плюшкинѣ лишь задатки скучности, которымъ, однако, не дано было развитія, и Плюшкинъ являлся только бережливымъ и разумнымъ хозяиномъ, у котораго можно было поучиться этому дѣлу. Но стоило разстроиться этому семейному благополучію,—и скучность Плюшкина стала развиваться съ болѣзненною быстротою и незамѣтно для него самого превратилась во всепоглощающую страсть. Такимъ образомъ, въ дѣлѣ развитія плюшкинской скучности сыграли значительную роль неблагопріятныя условія русской жизни: отсутствіе общихъ интересовъ, отсутствіе самодѣятельности въ обществѣ. Будь Плюшкинъ гражданиномъ, живи онъ дѣлами и интересами общества,—эти интересы и связанныя съ ними обязанности и занятія спасли бы его, не давъ уйти отъ свѣта и людей и обратиться въ «прорѣху на человѣчество». Но этого общественного начала не было, и вотъ стоило нарушиться равновѣсію плюшкинского существованія, какъ скучность стала поглощать всѣ иные стремленія и убивать всѣ человѣческія чувства въ Плюшкинѣ. Ко времени знакомства съ Чичиковымъ Плюшкинъ успѣлъ утратить всякое подобie здраваго смысла. Собирая къ себѣ въ «кучу» всякую ненужную дрянь, подымаемую на деревенскихъ улицахъ, Плюшкинъ въ то же время систематически разоряетъ себя, оставляя безъ сбыта произведенія своихъ мастерскихъ. Все гниеть и гибнетъ въ кладовыхъ Плюшкина, такъ какъ онъ своею безумной скучностью отпугнулъ отъ себя всѣхъ покупателей. Мы видимъ, что первоначальный побужденія, руководившія Плюшкинымъ, давно имъ забыты и пре-

небрежены. Поставивъ предъ собою цѣль—не разориться—Плюшкинъ именно къ разоренію себя и ведеть. Правда, рисуя Плюшкина, Гоголь, какъ онъ часто это дѣлалъ, указалъ на то, что даже въ душѣ такого утратившаго, повидимому, всякое человѣческое подобіе существа можетъ пробудиться что-то, похожее на чувство. Но это явленіе столь мимолетно, что нисколько не мѣняется общаго впечатлѣнія, оставляемаго Плюшкинымъ. Въ его лицѣ мы имѣемъ самую мертвую изъ всѣхъ мертвыхъ душъ 1-й части поэмы.

Намъ остается сказать нѣсколько словъ о *Коробочки*. Умственное убожество является главнымъ признакомъ этой помѣщицы, которую Чичиковъ охарактеризовалъ, какъ «дубинноголовую». Заявляя Чичикову, что она хочетъ повременить съ продажей мертвыхъ душъ, чтобы примѣниться къ цѣнамъ и не потерпѣть убытка, или въ недоумѣніи вопроша Чичикова, «нешто хочетъ онъ ихъ выкачивать изъ земли» и упорно потчужа Чичикова вмѣсто «несуществующихъ» душъ пенькою, Коробочка оставляетъ впечатлѣніе полной умственной безнадежности.

**Значеніе помѣщичьихъ типовъ.** Рисуя помѣщичьи типы, нами кратко охарактеризованные, Гоголь никогда не упускаетъ случая напомнить читателямъ, что все это явленія типичныя, обладающія значительной обобщающей силой, и что тѣ душевныя свойства и склонности, которыя мы видимъ при болѣе или менѣе глубокомъ анализѣ внутренняго міра этихъ людей, могутъ мѣнять виѣшнее свое проявленіе и жить въ такихъ людяхъ, которые при поверхностномъ взглядѣ кажутся ничуть не похожими на Коробочекъ. Необходимо въ этомъ отношеніи обратить вниманіе на замѣчанія, которыми Гоголь сопровождаетъ изображенія Ноздрева и Коробочки. Подробно охарактеризовавъ всю бесконечную пустоту Ноздрева и заключивъ эту характеристику словами: «Вотъ, какой былъ Ноздревъ», Гоголь предвидѣть, что найдутся люди, которымъ покажется неправдоподобнымъ образъ Ноздрева и которые скажутъ: «Теперь нѣть уже Ноздрева». Противъ этого мнѣнія Гоголь и приводить соображеніе, что ноздревщина можетъ принимать и иныя формы. Такіе точно Ноздревы, какъ изображенный въ поэмѣ, можетъ быть, и рѣдки; но при извѣстной проницательности можно обнаружить черты Ноздрева подъ совсѣмъ другою виѣшностью. «Ноздревъ долго еще не выведется изъ міра. Онъ вездѣ между нами и, можетъ быть,

только ходить въ другомъ кафтанѣ; но легкомысленно-непроницательны люди, и человѣкъ въ другомъ кафтанѣ кажется имъ другимъ человѣкомъ».

Легко прочесть здѣсь ту мысль, которую Гоголь такъ настойчиво повторялъ по поводу «Ревизора». Это мысль о необходимости доискиваться путемъ тщательного анализа своей собственной душевной жизни, нѣть-ли въ насъ какихъ-нибудь мелкихъ черточекъ, роднящихъ насъ съ тѣми литературными образами, надъ которыми мы смыемся. Необходимость такого распространительного, а не ограничительного толкованія напоминается Гоголемъ и въ его комментаріи къ характеристикѣ Коробочки. «Да полно», говоритъ Гоголь, «точно ли Коробочка стоитъ такъ низко на безконечной лѣстнице человѣческаго совершенствованія?» И онъ рисуетъ образъ «сестры Коробочки», великосвѣтской дамы, по внѣшнему виду совершенно не похожей на Коробочку. Всматриваясь въ интересы этой великосвѣтской дамы, Гоголь приходитъ къ заключенію, что разговоръ ея съ «остроумно-свѣтскимъ визитеромъ» о вопросахъ, «занимающихъ, по законамъ моды, на цѣлую недѣлю городъ», никакъ не содержательнѣе, чѣмъ разговоры Коробочки. Можно даже догадываться, что авторъ предпочитаетъ Коробочку, такъ какъ она, хоть и безъ особаго искусства, ведетъ все-таки свое помѣщичье хозяйство, а помѣстя ея великосвѣтской сестры «запутаны и разстроены благодаря незнанью хозяйственнаго дѣла». Напомнивъ читателямъ по поводу Ноздрева и Коробочки о необходимости задуматься надъ ихъ внутренней сущностью и не слишкомъ спѣшить съ отданіемъ себя каменной стѣною отъ этихъ смышныхъ людей, Гоголь еще настойчивѣе высказываетъ эту свою излюбленную мысль при оцѣнкѣ Чичикова, въ XI главѣ. Онъ предвидѣть, что найдется немало читателей, которые по поводу 1-го тома «Мертвыхъ Душъ» выскажутъ то, что многие высказали по поводу «Ревизора». Они признаютъ, что авторъ искусно подмѣтилъ и ловко изобразилъ рядъ смышныхъ типовъ и явлений, присущихъ русской провинціи, но при этомъ у нихъ и не мелькнетъ мысли сопоставить себя съ этими типами. Знакомыхъ своихъ, пожалуй, изъ обычной склонности осуждать ближняго, они готовы будутъ приравнять къ Чичикову. «...Пройди въ это время мимо его какой-нибудь его же знакомый, имѣющій чинъ ни слишкомъ большой, ни слишкомъ малый,—онъ въ ту же минуту

толкнетъ подъ руку своего сосѣда и скажеть ему, чутъ не фыркнувъ отъ смѣха: «смотри, смотри: вотъ Чичиковъ, Чичиковъ пошелъ.» «А кто изъ варь, полный христіанскаго смиренія, не гласно, а въ тишинѣ, одинъ, въ минуты уединенныхъ бесѣдъ съ самимъ собою, углубить во внутрь собственной души сей тяжелый запросъ: «А нѣтъ ли во мнѣ какой-нибудь части Чичикова?» Да, какъ бы не такъ.»

**Городъ Н. Н.** Переходя отъ помѣщиковъ 1-го тома «Мертвыхъ Душъ» къ губернской администраціи города N., приходится указать, что въ этой области Гоголь не далъ яркихъ отдѣльныхъ образовъ, подробно выписанныхъ, а ограничился общими картинами. Послѣднія, тѣмъ не менѣе, чрезвычайно выразительны и поучительны. Вспомнимъ, напримѣръ, заключеніе купчихъ крѣпостей на мертвага души. Отправляясь въ гражданскую палату, Чичиковъ нисколько не беспокоился возможностью опоздать, «ибо предсѣдатель былъ человѣкъ знакомый и могъ продлить и укоротить, по его желанію, присутствіе». Въ палатѣ чиновники, съ которыми приходится имѣть дѣло Чичикову, обнаруживаются и привычку, и умѣніе принимать «приношенія»; и самъ предсѣдатель освобождаетъ Чичикова отъ этихъ приношеній только какъ человѣка знакомаго: «А чиновнымъ вы никому не давайте ничего; обѣ этомъ я варь прошу. Пріятели мои не должны платить». Весьма любопытно также изображеніе закуски у «чудотворца»—полицеймейстера. Его всѣ жители и купцы въ томъ числѣ любили, по словамъ Гоголя, за снисходительность, хотя браль онъ съ купцовъ очень много и «получалъ доходовъ вдвое больше противъ всѣхъ своихъ предшественниковъ». Мнѣніе купцовъ было такое, что Алексѣй Ивановичъ «хоть оно и возьметъ, но за то уже никакъ тебя не выдастъ». Типичность образа полицеймейстера видна изъ словъ Гоголя: «вообще онъ сидѣлъ, какъ говорится, на своемъ мѣстѣ и должностъ свою постигнулъ въ совершенствѣ. Трудно было и рѣшить, онъ ли былъ созданъ для мѣста, или мѣсто для него». Для большей полноты картины Гоголь нарисовалъ и дамъ города N., весьма «презентабельныхъ» и отлично умѣющихъ «вести себя, солбости тонъ, поддержать этикетъ, множество приличий самыхъ тонкихъ, а особенно наблости моду въ самыхъ послѣднихъ мелочахъ». Типичными представительницами этихъ дамъ являются «дама просто пріятная» и «дама, пріятная во всѣхъ отношеніяхъ». Разговоръ меж-

ду ними вертится сначала на материахъ. Идетъ горячій споръ о томъ, пестро или не пестро: «полосочки узенькия-узенькия, какія только можетъ представить воображеніе человѣческое, фонъ голубой и чрезъ полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки». Отъ этихъ вопросовъ переходятъ къ «прелестнику», т. е. Чичикову. Послѣ безподобнаго разсказа о ночномъ разбойничьемъ нападеніи Чичикова на Коробочку идетъ разборъ вопроса, что можетъ скрываться подъ «мертвыми душами». Рѣшаются, что здѣсь кроется намѣреніе Чичикова увезти губернаторскую дочку.

Уровень умственнаго развитія N—скаго общества, широты его интересовъ превосходно характеризуется тѣмъ обстоятельствомъ, что приведенное сейчасъ заключеніе двухъ пріятныхъ дамъ, свидѣтельствующее объ ихъ крайнемъ слабоуміи, было принято въ городѣ, подобно тому, какъ чиновниками въ «Ревизорѣ» принято было утвержденіе Бобчинскаго и Добчинскаго, что Хлестаковъ—ревизоръ. Воспринявъ мнѣніе двухъ дамъ, обитатели и чиновники города стали разрѣшать самые глубокомысленные вопросы въ родѣ слѣдующихъ: «Если онъ хотѣлъ увезти ее, такъ зачѣмъ для этого покупать мертвыя души? Если же покупать мертвыя души, такъ зачѣмъ увозить губернаторскую дочку? Подарить, что ли, онъ хотѣлъ ей эти мертвыя души?» Абсолютная умственная праздность и крайняя неразвитость N—скихъ чиновниковъ сказывается и въ безконечныхъ разговорахъ о томъ, каковы, предположительно, должны быть купленные Чичиковымъ «на выводъ» крестьяне, какъ они доѣдутъ до новаго мѣстожительства и какъ себя тамъ поведутъ. Толки эти приводятъ, въ концѣ концовъ, къ тому, что «многіе, побуждаемые участіемъ... предлагали даже конвой для безопаснаго препровожденія крестьянъ до мѣста жительства...» Но настоящимъ вѣнцомъ губернскаго невѣжества и умственной первобытности является известная «Повѣсть о капитанѣ Копейкинѣ», разсказанная почтмейстеромъ на собраніи, устроенному чиновниками у полицеймейстера—«отца и благодѣтеля города», со специальнouю цѣлью обсудить и рѣшить вопросъ, «что такое именно» Чичиковъ, и какія мѣры надо принять по отношенію къ нему. Повѣсть о капитанѣ Копейкинѣ изобилуетъ чрезвычайно живыми и остроумными картинками петербургской жизни. Особенно краснорѣчива картина выхода начальника, котораго Копейкинъ долженъ былъ ждать часа четыре. Изъ-за повѣсти о капитанѣ Копейкинѣ Го-

толю пришлось имѣть много непріятностей съ цензурой. Слѣдуетъ замѣтить, что, хотя слушатели почтмейстера и не согласились съ возможностью видѣть въ Чичиковъ капитана, придѣлавшаго себѣ, взамѣнъ потерянной въ 1812 году, деревянную ногу англійского изобурѣтенія, но нѣкоторые изъ собесѣдниковъ почтмейстера пошли еще дальше его въ своихъ предположеніяхъ и высказали опасеніе, не есть ли Чичиковъ переодѣтый Наполеонъ, выпущенный англичанами съ острова св. Елены и пробирающійся въ Россію.

Такова среда—помѣщичья, чиновническая и просто обывательская, яркими красками нарисованная въ I-мъ томѣ «Мертвыхъ Душъ», среда, принявшая сначала Чичикова съ распостертыми объятіями и искреннимъ восхищеніемъ, а потомъ готовая произвести своего любимца въ капитаны Копейкины или даже Наполеоны. Мы убѣдились, что на болѣе широкомъ полотнѣ, пользуясь свободой эпической формы Гоголь нарисовалъ картины жизни, качественно однородной съ жизнью, изображенной въ «Повѣсти о томъ, какъ поссорился Иванъ Ивановичъ съ Иваномъ Никифоровичемъ» и въ «Ревизорѣ».

**Манера письма въ «Мертвыхъ Душахъ». Лирическія отступленія.** Переидемъ къ указанію нѣкоторыхъ особенностей гоголевскаго письма въ I-мъ томѣ «Мертвыхъ Душъ». Будучи строго реальнымъ въ большей части сценъ, картинъ и образовъ, оно, однако, мѣстами значительно меняетъ этотъ свой основной характеръ. Къ числу особенностей гоголевскаго стиля въ этомъ произведеніи надо отнести обилие и подробность сравненій, часто изумительныхъ по своей неожиданности и въ то же время мѣткости. Укажемъ нѣкоторыя сравненія I-го тома «Мертвыхъ Душъ»: Ноздревъ, собирающій бить Чичикова, сравнивается съ отважнымъ поручикомъ, а Чичиковъ съ крѣпостью; предсѣдатель гражданской палаты съ Зевесомъ; чиновники со школьнікомъ, проснувшимся отъ «гусара»; обысканный Чичиковъ путешественникъ съ высѣченнымъ ученикомъ; вниманіе пріятной дамы со вниманіемъ охотника, ждущаго появленія зайца. Эта стилистическая особенность сама по себѣ, конечно, не нарушаетъ реалистического характера гоголевскаго изложенія. Но мы имѣемъ въ I-мъ томѣ «Мертвыхъ Душъ» рядъ лирическихъ отступленій, свидѣтельствующихъ о томъ, что подъемъ чувства временами уносилъ Гоголя очень далеко отъ той пошлой дѣйствительности, которая изоб-

ражалась въ поэмѣ. И чѣмъ ближе подходилъ къ концу 1-й томъ поэмы, тѣмъ чаще являлись лирическія отступленія. Рядъ такихъ отступленій посвященъ мечтамъ Гоголя о трехтомныхъ «Мертвыхъ Душахъ», и выше приведены наиболѣе важныя изъ нихъ. Но, кромѣ того, въ I-мъ томѣ есть рядъ отступленій, чрезвычайно красивыхъ и полныхъ глубокаго чувства. Укажемъ, напримѣръ, начало VI-й главы—воспоминанія Гоголя о своей воспріимчивости и душевной свѣжести въ юные годы; обращеніе къ молодежи съ призывомъ: «забирать съ собою всѣ человѣческія движенія» по поводу утратившаго эти движенія Плюшкина; извѣстно начало VII-й главы—сравненіе двухъ писателей, съ новымъ напоминаніемъ о грядущей перемѣнѣ въ творчествѣ Гоголя—о «величавомъ громѣ другихъ рѣчей», который «почуято въ смущенномъ трепетѣ»; въ концѣ этого отступленія сдѣлана Гоголемъ знаменитая характеристика своего творчества, какъ «озиранія жизни сквозь видный смѣхъ и незримыя слезы».

**Гоголь и Русь.** Среди этихъ лирическихъ отступленій заслуживаются особаго вниманія тѣ, въ которыхъ мысль писателя изъ его «прекраснаго далека» обращается къ его любимой родинѣ. Въ богатой лирикой XI-й главѣ мы имѣемъ необыкновенно красивую и одушевленную характеристику русской жизни и природы сравнительно съ жизнью и природой другихъ странъ. Въ концѣ этой характеристики Гоголь обращается къ Руси съ вопросомъ, чего она хочетъ отъ него, и какая непостижимая связь таится между нею и имъ. Этотъ вопросъ чѣмъ дальше, тѣмъ настойчивѣе тяготилъ Гоголя. Мы уже знакомы съ мыслями Гоголя о своемъ писательскомъ долгѣ. Эти мысли осложнѣлись уже въ эпоху написанія первого тома «Мертвыхъ Душъ», а потомъ еще гораздо сильнѣе, мистическимъ настроениемъ, давно, какъ мы знаемъ, свойственнымъ Гоголю. Объ этомъ мистицизмѣ Гоголя въ дальнѣйшемъ изложеніи будетъ сказано подробнѣе. Конецъ только что указанного лирическаго отступленія дышитъ особымъ подъемомъ патріотического чувства и вѣры въ русскій народъ. «Что пророчить сей необъятный просторъ?» говоритъ Гоголь про Россію. «Здѣсь ли, въ тебѣ ли не родиться безпредѣльной мысли, когда ты сама безъ конца? Здѣсь ли не быть богатырю, когда есть мѣсто, гдѣ развернуться и пройтись ему?» Такое патріотическое воодушевленіе выражается и въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ I-го тома. Въ концѣ V-й главы Гоголь даетъ краткую сравнительную характеристику

словъ, произносимыхъ людьми разныхъ европейскихъ націй, и находитъ, что «нѣть слова, которое было бы такъ замашисто, бойко, такъ вырвалось бы изъ-подъ самого сердца, такъ бы кипѣло и живо трепетало, какъ мѣтко сказанное русское слово». Самыя послѣднія строки 1-го тома «Мертвыхъ Душъ» также выражаютъ это патріотическое настроеніе. Гоголю кажется, что Россію можно сравнить съ «бойкой, необгонимой тройкой», которая скачеть такъ быстро, что «все отстаетъ и остается позади». Другіе народы и государства, по словамъ Гоголя, «косясь, постораниваются и даютъ дорогу» Руси.

Такія преувеличеннія патріотическія мечты Гоголя поразили Бѣлинскаго и показались многимъ читателямъ и почитателямъ I-го тома «Мертвыхъ Душъ» проявленіемъ какой-то странной національной заносчивости автора поэмы, какого-то «квасного» патріотизма съ его лозунгомъ: «шапками закидаемъ». Дѣло, однако, объясняется проще. Мы видѣли раньше, при разборѣ повѣсти «Тарасъ Бульба», что въ самой художественной природѣ Гоголя, несмотря на ярко выраженный реалистический характеръ его дарованія, были и другіе задатки, по временамъ вступавшіе въ борьбу, хотя и безуспѣшную, съ гоголевскимъ реализмомъ. Мы условились тогда называть эти «другіе задатки» «гоголевскимъ романтизмомъ». И въ этомъ романтизмѣ громко звучала нота патріотического воодушевленія. Стоить сравнить приведенную сейчасъ цитату изъ послѣднихъ строкъ I-го тома «Мертвыхъ Душъ» со слѣдующими словами Тараса Бульбы передъ смертью: «Уже и теперь чуютъ дальние и близкіе народы: подымется изъ русской земли свой царь, и не будетъ въ мірѣ силы, которая бы не покорилась ему»,—и мы убѣдимся, что ничего нового для Гоголя въ тонѣ заключительныхъ строкъ 1-го тома «Мертвыхъ Душъ» видѣть нельзя. Правда, послѣ «Мирогорода» романтизмъ и въ томъ числѣ и ноты патріотического подъема на время замолкли у Гоголя совершенно, и мы знаемъ безупречный реализмъ «Женитьбы» и «Ревизора». Но необходимо имѣть въ виду, что драматическая форма творчества вообще чрезвычайно строга и не даетъ простора для проявленія личныхъ стремлений автора. Правда, намъ придется убѣдиться, что юношескія драмы Лермонтова и Бѣлинскаго чрезвычайно лиричны, но Гоголь издавна обдумывалъ особенности драматической формы и сознавалъ ея непригодность для лирическихъ изліяній.

Широкая же и свободная форма «поэмы» дала Гоголю гораздо больше правъ на «романтическія вставки».

Что приведенное отступлениe о Руси—тройкѣ выражаетъ вовсе не взглядъ Гоголя на дѣйствительное состояніе Россіи и русскаго народа въ началѣ 40-хъ годовъ, а лишь поэтическія мечты о далекомъ будущемъ, это можно съ увѣренностью заключить прежде всего изъ общаго характера образовъ и картинъ, съ которыми мы имѣемъ дѣло въ I-мъ томѣ «Мертвыхъ Душъ». Вспомнимъ одно изъ замѣчательнѣйшихъ мѣстъ I-го тома—размышленія о судьбѣ мужиковъ, приписанныя Гоголемъ Чичикову. Перечитывая «реестры» мертвыхъ душъ, составленные Собакевичемъ и Коробочкою, Чичиковъ задумывается надъ судьбою и концомъ всѣхъ этихъ Неуважай-Корыть, Степановъ Пробокъ, Григорьевъ Доѣзжай-не-доѣдешь. Особен-но поучительны размышленія, конечно, Гоголя, а не Чичикова, такъ какъ Чичиковъ врядъ ли сталъ бы размышлять о столь «низкихъ предметахъ»,—о судьбѣ сапожника Максима Телятникова и Аба-кума Фырова. Максимъ Телятниковъ, по предположенію Гоголя, ушелъ отъ барина на оброкъ и завелъ лавочонку, причемъ рѣшилъ разбогатѣть не такъ, «какъ нѣмецъ, что изъ копейки тянется, а вдругъ». Но недобросовѣстное исполненіе заказовъ привело къ за-пустѣнію его лавочки; «и ты пошелъ попивать да валяться по ули-цамъ, приговаривая: «Нѣть, плохо на свѣтѣ. Нѣть житья русскому человѣку: все нѣмцы мѣщаются.» Вотъ какъ безпощаденъ Гоголь къ отрицательнымъ сторонамъ русскаго характера. Изображеніе судьбы Абакума Фырова, попавшаго, по предположенію Гоголя, въ бурлаки, даетъ автору поводъ нарисовать попутно чрезвычайно красочную картину жизни, кипящей на хлѣбной пристани при отходѣ бароч-наго каравана. Изобразивъ отплытіе судовъ, Гоголь заключаетъ слѣ-дующими словами: «Тамъ вы наработаетесь, бурлаки. И дружно, какъ прежде гуляли и бѣсились, приметесь за трудъ и потъ, таша лямку подъ одну безконечную, какъ Русь, пѣсню.»

Превосходно понимая и чрезвычайно ярко, съ полной безпощад-ностью изображая темныя стороны характера и горькую судьбу рус-скаго человѣка, Гоголь не только не принадлежалъ къ «кваснымъ» патріотамъ, но и справедливо предвидѣлъ, что эти послѣдніе оста-нутся весьма недовольны I-мъ томомъ «Мертвыхъ Душъ». По адресу «патріотовъ», весь патріотизмъ которыхъ сводится къ громкимъ сло-

вамъ и заносчивому задираню другихъ народовъ, Гоголь написалъ весьма поучительную притчу «о Кифѣ Мокіевичѣ», приведенную на послѣднихъ страницахъ I-го тома поэмы. Изъ этой притчи ясно видно, что Гоголь считалъ преступнымъ замалчивать язвы родной дѣйствительности изъ боязни осужденія со стороны иностранцевъ, понималъ невозможность любить отчизну «безъ печали и гнѣва» и презиралъ самозванныхъ патріотовъ, враждующихъ со смѣлымъ обличеніемъ золь русской жизни и предпочитающихъ при полной тишинѣ «заниматься... приращеніями на счетъ суммъ нѣжно любимаго ими отечества.»

**Второй томъ «Мертвыхъ Душъ». Помѣщники.** Первый томъ «Мертвыхъ Душъ» вышелъ въ свѣтъ въ маѣ 1842 г. Въ это время готовъ былъ уже и второй томъ поэмы, который, однако, былъ затѣмъ передѣланъ, и отъ этой новой редакціи сохранилось нѣсколько черновыхъ отрывковъ, о которыхъ у насть ниже будетъ рѣчь; вся же эта редакція была сожжена Гоголемъ въ 1845 г. Послѣ этого работа Гоголя надъ вторымъ томомъ продолжалась, но все написанное было вновь сожжено авторомъ незадолго до его смерти.

Прежде чѣмъ переходить къ анализу душевной жизни Гоголя въ послѣдніе годы, слѣдуетъ нѣсколько остановиться на сохранившихся отрывкахъ 2-го тома «Мертвыхъ Душъ», хотя надо, конечно, имѣть въ виду, что предъ нами не законченное, не отдѣланное произведеніе, а лишь намеки на то, что Гоголь хотѣлъ сказать 2-мъ томомъ.

Мы уже знаемъ, что по замыслу Гоголя второй томъ поэмы долженъ быть изображать пребываніе души Чичикова въ чистилищѣ. Такимъ чистилищемъ для Чичикова является соприкосновеніе съ людьми, далеко превосходящими по нравственнымъ своимъ свойствамъ и по высотѣ стремленій ту среду, которая окружала Чичикова во время его похожденій, описанныхъ въ 1-мъ томѣ. Попыткою нарисовать такую болѣе высокую среду являются образы Платоновыхъ, Костанягло и Муразова. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что не мало мѣста посвящено въ имѣющихъ у насть частяхъ второго тома и изображенію людей, столь же далекихъ отъ идеала человѣка, какъ «мертвые» души помѣщиковъ I-го тома. Таковы: Тентетниковъ въ его современномъ состояніи, Пѣтухъ, полковникъ Кошкаревъ. Въ лицѣ Тентетникова, подобно Подколесину и Манилову, можно ви-

дѣть одного изъ литературныхъ предковъ гончаровскаго Обломова; картина дня Тентетникова весьма похожа на картину жизни въ Обломовкѣ, представлявшейся Обломову во снѣ, и на картину дня самого Ильи Ильича Обломова. Пѣтухъ—необыкновенно яркій образъ человѣка, утратившаго почти совершенно всякие иные интересы, кромѣ интересовъ желудка. Въ лицѣ полковника Кошкарева Гоголь въ карикатурномъ видѣ нарисовалъ увлеченіе нѣкоторыхъ помѣщиковъ бумажнымъ дѣлопроизводствомъ вмѣсто живого дѣла. Сообщивъ Кошкареву, что «конторы рапортовъ и донесеній вовсе не существуютъ (а не существовало ея, очевидно, за отсутствиемъ рапортовъ и донесеній), Чичиковъ этимъ самымъ навелъ Кошкарева на блестящую мысль сдѣлать рядъ письменныхъ запросовъ о причинахъ неисправнаго дѣйствія разныхъ учрежденій. При этомъ Кошкаревъ рѣшилъ учредить еще «коммиссію наблюденія за коммиссіей построенія», конечно, полагая, что «ужъ тогда никто не осмѣлится украсть». Вся безсмысленная система кошкаревскихъ учрежденій, комитетовъ и коммиссій, по словамъ Гоголя, заимствована помѣщицомъ изъ Западной Европы. «Безъ бумажнаго производства», говорить Кошкаревъ, «нельзя этого сдѣлать. Примѣръ Англіи и самъ даже Наполеонъ». Результатомъ этого «бумажнаго производства» является полный развалъ хозяйства Кошкарева. «У насъ безтолковщина», говорить Чичикову прикомандированный къ нему Кошкаревымъ «коммиссіонеръ»: «барина за носъ водятъ.» Можно видѣть въ кошкаревской хозяйственной организаціи пародію на бюрократический государственный строй.

Кромѣ Тентетникова, Пѣтуха и Кошкарева, мы имѣемъ во второмъ томѣ еще отрицательный помѣщичій типъ въ лицѣ Хлобуева. Послѣдний и умный, и добрый человѣкъ; это видно изъ его разсказовъ и изъ словъ его: «Храни Богъ, чтобы изъ-за доставки мнѣ жалованья прибавлены были подати на бѣдное сословіе.» Но эти качества его не мѣшаютъ ему довести свое хозяйство до вопіющаго положенія. У него нѣтъ ни энергіи, ни трудоспособности для веденія хозяйства, и плодородная почва хлобуевскаго помѣстья остается безъ пользы, и развалъ и запустѣніе земли Хлобуева приводятъ въ ужасъ хорошаго хозяина.

**Воспитаніе. Хозяйство. Костанжогло, канъ выразитель взглядовъ Гоголя.** Всматриваясь въ причины хозяйственныхъ неудачъ всѣхъ пе-

речисленныхъ помѣщиковъ, мы приходимъ къ заключенію, что отсутствіе надлежащаго воспитанія, готовящаго къ тому практическому дѣлу, которое ждетъ человѣка въ жизни, является едва ли не самою важною изъ этихъ причинъ. Изображая воспитаніе, полученное Тентетниковымъ, Гоголь довольно подробно указываетъ, въ чёмъ, по его мнѣнію, состоятъ главные недостатки въ постановкѣ у насъ педагогического дѣла. Сопоставленное съ описаніемъ воспитанія Чичикова, это изображеніе даетъ интересную картину педагогическихъ воззрѣній Гоголя. Идеальный воспитатель Тентетникова, Александръ Петровичъ, рано умершій, является, повидимому, исключеніемъ изъ общаго правила. Важно отмѣтить слѣдующія особенности его, какъ педагога. Во-первыхъ, онъ дѣлилъ воспитанниковъ по способностямъ и удлинялъ курсъ для болѣе способныхъ, а менѣе способныхъ выпускалъ, повидимому, для какой-нибудь практической дѣятельности. Во-вторыхъ, онъ придавалъ весьма большое значеніе развитію воли, и потому, по словамъ Гоголя, его ученики умѣли удерживаться на самыхъ трудныхъ мѣстахъ, откуда другое, безъ достаточной выдержки, быстро вытѣснялись. Въ третьихъ, Александръ Петровичъ владѣлъ высшей тайной педагога—онъ подчинялъ воспитанниковъ своему нравственному авторитету, такъ что безъ всякихъ угрозъ и наказаній ученики, благодаря особому уваженію къ наставнику и пробужденной имъ умственной самодѣятельности, воздерживались отъ всякихъ недостойныхъ поступковъ и оставались честными и искренними людьми. Преемникъ этого идеального педагога оказался зауряднымъ администраторомъ, умѣвшимъ водворить въ учебномъ заведеніи внѣшній порядокъ, но совершенно не вліявшимъ на учениковъ. При немъ все по виду было отлично, но завелись тайкомъ отъ начальства таکія шалости, какихъ прежде не бывало; нравственная связь между воспитателемъ и воспитанниками была, очевидно, порвана, и кончавшіе курсъ ученики не выносили больше изъ школы той подготовки къ жизни и ея испытаніямъ, какую умѣль давать имъ Александръ Петровичъ. Выйдя изъ школы и сдѣлавъ неудачную попытку служить, Тентетниковъ уѣзжаетъ въ деревню и въ первое время находитъ удовлетвореніе въ попыткахъ устраивать судьбу и жизнь своихъ крестьянъ. Но, лишенный надлежащей подготовки, страдая нашимъ племеннымъ недостаткомъ—неумѣніемъ настойчиво и терпѣливо ити къ намѣченной цѣли—Тентетниковъ въ де-

ревнѣй, гдѣ некому было будить и поддерживать его энергию, чрезвычайно быстро опускается и доходитъ до того плачевнаго состоянія, въ которомъ мы его застаемъ въ началѣ 2-го тома «Мертвыхъ Душъ». Гоголь прямо объясняетъ эту печальную судьбу Тентетникова ранней гибелью Александра Петровича и отсутствиемъ ободряющихъ влияній: «Нѣть теперь никого во всемъ свѣтѣ», говоритъ онъ, «кто бы былъ въ силахъ воздвигнуть шатаемыя вѣчными колебаніями силы и лишенную упругости немощную волю, кто бы крикнулъ душѣ пробуждающимъ крикомъ это бодрящее слово: «впередъ», котораго жаждетъ повсюду, на всѣхъ ступеняхъ стоящій, всѣхъ сословій, и званій, и промысловъ, русскій человѣкъ». Подобно Тентетникову, станутъ жертвами неправильнаго воспитанія и сыновья Петра Петровича Пѣтуха. «Вотъ сыновья тоже уговариваются, хотятъ просвѣщенія столичнаго», говоритъ Пѣтухъ Чичикову, объясняя ему, почему заложилъ имѣніе и хочетъ перѣѣхать въ Москву. Бѣгство помѣщиковъ въ столицы вообще было крайне несимпатично Гоголю. На потребности должно понятаго просвѣщенія, на «кондитерскія да бульвары»—уходятъ крестьянскія трудовыя деньги, а имѣнія и мужики разоряются и гибнутъ. Гоголь прямо называетъ такой образъ дѣйствій помѣщиковъ «кражей у крестьянъ ради мебели Гамбета или кареты». Эти-то искусственные потребности, привитыя поверхностною европейской цивилизаціей, губятъ безвольныхъ людей въ родѣ Хлобуева. Только что продавъ, отъ крайности, свое прекрасное, но имѣ же разоренное имѣніе, Хлобуевъ даетъ въ городѣ «обѣдъ всѣмъ словесіямъ» вмѣсто того, чтобы платить долги и разумно устраивать жизнь свою и семьи. Между тѣмъ, истинное назначеніе помѣщика—да и человѣка вообще—жизнь съ природой, земледѣльческій трудъ. Объ этомъ Гоголь говоритъ устами помѣщика Костанжогло слѣдующее: «Воздѣлывай землю въ потѣ лица своего, сказано. Тутъ нечего мудрить. Это ужъ опытомъ вѣковъ доказано, что въ земледѣльческомъ званіи человѣкъ нравственный, чище, благороднѣй, выше». Мысли, намѣченныя въ приведенныхъ словахъ Костанжогло и подробно развитыя имъ въ его длинныхъ и одушевленныхъ рѣчахъ, весьма характерны для 2-го тома «Мертвыхъ Душъ» и не разъ, по различнымъ поводамъ, повторяются здѣсь Гоголемъ. Важно отмѣтить, что взглядъ на земледѣльческій трудъ, какъ самый законный и нравственно возвышающій, былъ потомъ развитъ въ нашей литерату

турѣ Львомъ Толстымъ и отчасти Глѣбомъ Успенскимъ. Воззрѣнія Гоголя на долгъ помѣщика жить въ деревнѣ со своими мужиками и вражда его ко «всякимъ этимъ потребностямъ», разслабившимъ теперешнихъ людей», также стали заявляться Толстымъ съ самаго начала его литературной дѣятельности.

Костанжо́ло и своими дѣйствіями и высказываемыми имъ взглядами ближе всего подходитъ къ идеалу помѣщика, какимъ онъ тогда представлялся Гоголю. Костанжо́ло обладаетъ замѣчательною способностью соединять личную выгоду съ общею пользою. Изображая Чичикову все наслажденіе жизни въ деревнѣ и хозяйства, Костанжо́ло настойчиво указываетъ, что выгода приходить сама собою, вмѣстѣ съ этимъ наслажденіемъ. И онъ никогда не завѣль бы, по его словамъ, такихъ фабрикъ, чрезъ которыхъ «входить развратъ въ міръ», не организовалъ бы у себя производства табаку и сахара, «внушающаго высшія потребности».

Личность Костанжо́ло имѣеть въ сохранившихся отрывкахъ 2-го тома «Мертвыхъ Душъ» важное значеніе не только потому, что Костанжо́ло—типъ, по замыслу Гоголя, положительный, выразитель многихъ мнѣній автора, но и потому, что, повидимому, именно со знакомства съ Костанжо́ло, его взглядами, началась, хотя сначала почти незамѣтная, работа Чичикова надъ собою, расширение его горизонта, «очищеніе» души Чичикова. Въ этомъ отношеніи важны слова Гоголя: «Это былъ первый человѣкъ во всей Россіи, къ которому почувствовалъ онъ уваженіе личное. Доселѣ уважалъ онъ человѣка или за хороший чинъ, или за большие достатки; собственно за умъ онъ не уважалъ еще ни одного человѣка. Костанжо́ло былъ первый». Можно думать, на основаніи имѣющихъся главъ 2-го тома, что Гоголю хотѣлось шагъ за шагомъ прослѣдить ту тяжелую борьбу, которая началась въ душѣ Чичикова между добромъ и зломъ, когда онъ попалъ въ тюрьму за разныя обнаружившіяся темные дѣла, и когда Муразовъ сталъ ходатайствовать за него передъ генераль-губернаторомъ, но при этомъ поставилъ Чичикову условіе, чтобы онъ по освобожденіи началъ иную, честную жизнь. Рѣчи Муразова привели на Чичикова сильное впечатлѣніе. Муразовъ указалъ ему, какія богатыя способности получилъ онъ отъ природы и какое дурное направленіе далъ имъ. Выдержка, терпѣніе, «упрямка» Чичикова могли бы сдѣлать его однимъ изъ замѣчательныхъ людей и по-

лезныхъ дѣятелей, а онъ сталъ безчестнымъ «пріобрѣтателемъ». Вдумчивое и гуманное отношеніе, которое проявилъ къ Чичикову Муразовъ и которого прежде Чичиковъ ни съ чьей стороны не встрѣчалъ, внесло нѣкоторый лучъ свѣта даже въ душу «пріобрѣтателя» и заставило его подумать о возможности иного употребленія своихъ силъ. Но порочныя наклонности слишкомъ вкоренились въ Чичиковѣ, и по уходѣ Муразова онъ соглашается на предложеніе «чиновной особы» освободить его обманомъ за тридцать тысячъ. И «полупробужденія», по выражению Гоголя, послѣ разговора съ Муразовымъ силы Чичикова засыпаютъ снова, и спою перестаетъ онъ слышать «темнымъ чутью», что «есть какой-то долгъ, который нужно исполнять человѣку на землѣ, который можно исполнять всюду, на всякомъ углѣ». Въ заключеніе краткаго обзора второго тома «Мертвыхъ Душъ» необходимо указать, что въ лицѣ Улиныки Бетрищевой Гоголь нарисовалъ или, вѣрнѣе, набросалъ образъ прекрасной русской дѣвушки съ горячей любовью къ добру и справедливости, образъ, при всей эскизности обрисовки, довольно выразительный. Улиныка имѣть право считаться посредствующимъ звеномъ между Татьяной Лариной и тургеневскими женщинами, конечно, лишь по типу, но отнюдь не по яркости его обрисовки.

## VI.

**Душевная драма Гоголя.—Переписка съ друзьями.—Послѣдніе годы.**

**Душевная драма Гоголя.** Изъ всего, сказаннаго нами о «Мертвыхъ Душахъ» въ томъ видѣ, въ какомъ мы имѣемъ это произведеніе, можно сдѣлать нѣкоторые предположительные выводы о причинахъ, воспрепятствовавшихъ Гоголю выполнить до конца планъ своей трехтомной поэмы. Мы видимъ, прежде всего, что Чичиковъ, какимъ мы узнаемъ его изъ I-го тома «Мертвыхъ Душъ» и изъ первыхъ главъ второго, настолькоочно прочно сложившійся, отлившійся въ опредѣленную форму образъ, что его перерожденіе является психологически неправдоподобнымъ. Правда, какъ бы предвидя это возраженіе, Гоголь во второмъ томѣ, описывая душевное состояніе Чичикова послѣ разговора съ Муразовымъ въ тюрьмѣ, говорить: «Вся природа его потряслась и размягчилась. Расплавляется и платина, твердѣйшій

изъ металловъ, всѣхъ долѣе противиащейся огню, когда усилять въ горнилѣ огонь, дуютъ мѣха и восходитъ нестерпимый жаръ огня,— бѣльеть упорный и превращается также въ жидкость; поддается и крѣпчайшій мужъ въ горнилѣ несчастій, когда, усиливаясь, они нестерпимымъ огнемъ своимъ жгутъ отвердѣлую природу». Но при такомъ пониманіи исторія Чичикова теряетъ свою типичность и становится явленіемъ совершенно исключительнымъ, что отнимаетъ у нея значительную долю поучительности. Можно съ вѣроятностю предположить, что Гоголь чувствовалъ всю трудность заданной имъ себѣ задачи по мѣрѣ того, какъ пытался рѣшить ее. Будучи чрезвычайно «взыскательнымъ художникомъ», Гоголь ясно видѣлъ, что образы и картины, имъ рисуемые, становятся тѣмъ блѣднѣе и неправдоподобнѣе, чѣмъ больше положительнаго хочетъ онъ въ нихъ внести. Для насъ довольно ясна неизбѣжность такого явленія: талантъ Гоголя отличался именно тѣмъ, что умѣлъ съ особымъ искусствомъ изображать отрицательныя явленія и образы пошлыхъ людей. Слѣдовательно, всякая попытка перейти къ образамъ и картинамъ положительного характера являлась насилиемъ надъ талантомъ Гоголя, ломкой его, а потому и не удавалась. Но Гоголь толковалъ свои неудачи совершенно по другому. Намъ известенъ взглядъ Гоголя на долгъ писателя по отношенію къ родинѣ и согражданамъ. Пользуясь выражениемъ самого Гоголя, можно сказать, что долгъ этотъ онъ видѣлъ въ томъ, чтобы «на родномъ языкѣ русской души нашей умѣть намъ сказать это всемогущее слово впередъ», ободрить, а не приводить въ уныніе своихъ читателей. Мы знаемъ также, что всякую неудачу въ достижениіи этой цѣли, всякое несоответствіе выполненія съ замысломъ художника Гоголь приписывалъ недостатку нравственнаго развитія и чистоты самого художника. Это обстоятельство заставляло Гоголя глубоко страдать, когда онъ убѣжался въ невозможности для себя выполнить средствами художественного творчества то, что онъ считалъ своимъ гражданскимъ долгомъ.

Но эта борьба художника и гражданина въ Гоголѣ осложнялась еще другими элементами. Мы знаемъ, что Гоголь рано почувствовалъ себя носителемъ нѣкоторыхъ особенныхъ силъ, налагающихъ на него серьезную нравственную ответственность; и мы знаемъ въ то же время раннія обнаруженія въ Гоголѣ наклонности къ мистицизму.

Этот мистицизмъ сталъ усиливаться съ середины 40-хъ годовъ. Лишенный освѣжающаго вліянія Пушкина, окруженный друзьями, настроенными отчасти также мистически, Гоголь задумывается съ болѣзненнымъ напряженiemъ надъ вопросомъ о томъ, почему упорно не осуществляется его планъ полезной и нужной для всѣхъ книги, каковою должны были явиться 2-й и 3-й томы «Мертвыхъ Душъ». Убѣждаясь въ томъ, что онъ самъ еще не возвысился до созданія такой книги, Гоголь предается самобичеванію; знакомство со священникомъ Матвѣемъ Константиновскимъ усиливаетъ въ Гоголя мистическое ощущеніе власти дьявола надъ его душою и талантомъ и доводить великаго писателя до совершенно аскетическихъ воззрѣній и стремленій. Мы знаемъ, что еще въ 1-мъ томѣ «Мертвыхъ Душъ» Гоголь говорилъ о Россіи, устремившей на него «полныя ожиданія очи» и надѣюющейся услышать слово откровенія. Только Богъ, по мнѣнію Гоголя, могъ вразумить его на такое слово; мистическое настроеніе Гоголя сказывалось въ надеждѣ, что послѣ горячей молитвы «за вопросами въ ту же минуту послѣдуютъ отвѣты, которые будутъ прямо отъ Бога.»

Но мы знаемъ, что грандиозный планъ, созданный Гоголемъ, находился въ глубокомъ противорѣчіи съ сущностью его таланта, а потому осуществленъ быть не могъ. При мистической своей настроенности Гоголь приходилъ въ ужасъ, убѣждаясь въ этомъ, и, какъ мы знаемъ, уничтожалъ написанное; самъ же уходилъ все глубже въ себя, торопясь очищаться нравственно и боясь наказанія отъ Бога за погубленный, по его мнѣнію, талантъ. Вотъ какіе элементы можно предполагать, на основаніи сочиненій и писемъ Гоголя, въ его душевной драмѣ, которая, какъ мы говорили уже выше, въ полномъ своемъ видѣ намъ неизвѣстна.

**Переписка съ друзьями.** Въ 1847 году, одномъ изъ самыхъ тяжелыхъ въ жизни Гоголя, послѣдній, убѣждаясь постепенно въ трудности осуществленія «дѣла жизни»—завершенія поэмы—рѣшился выпустить въ свѣтъ книгу, которая хотя бы отчасти сказала русскому обществу то, что давно копилось въ его душѣ. Это были «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями». Книга, въ особенности нѣкоторыми своими мѣстами, глубоко поразила читателей Гоголя и цѣнителей его великаго таланта. Бѣлинскій въ статьѣ о «Выбранныхъ мѣстахъ», а еще сильнѣе въ знаменитомъ письмѣ своемъ къ

Гоголю выразилъ то недоумѣвающее негодованіе, которое вызвала книга Гоголя. Прежде всего поразило многихъ настойчивое отрицаніе необходимости реформъ, а въ томъ числѣ и отмѣны крѣпостного права. Въ письмѣ подъ заглавіемъ «Русскій помѣщикъ» Гоголь говорить о томъ, что въ просвѣщеніи мужика слѣдуетъ ограничиваться чтеніемъ ему Слова Божія и сообщеніемъ практическіи полезныхъ свѣдѣній; грамотность же мужику не нужна. «Учить мужика грамотѣ затѣмъ, чтобы доставить ему возможность читать пустыя книжонки, которая издаются для народа европейскіе человѣколюбцы, есть дѣйствительно вздоръ. Главное уже то, что у мужика нѣтъ вовсе для этого времени. Послѣ столькихъ работъ никакая книжка не полѣзетъ въ голову и, пришедши домой, онъ заснетъ, какъ убитый, богатырскимъ сномъ». Вражда Гоголя къ «европейскимъ человѣколюбцамъ», «пишущимъ пустыя книжонки», выразилась вообще въ «Выбранныхъ мѣстахъ» чрезвычайно ярко. Такъ, въ письмѣ объ «Одиссѣи», переводимой Жуковскимъ, Гоголь высказываетъ мнѣніе, что Одиссѣя подѣйствуетъ на «страждущихъ и болящихъ отъ своего европейскаго совершенства». Гоголь договаривался иногда въ своей странной книжѣ до совѣтовъ поистинѣ удивительныхъ. Такъ, онъ рекомендовалъ помѣщикамъ «велѣть негодяямъ и пьяницамъ, чтобы... когда еще они завидятъ издали примѣрного мужика и хозяина, легѣли бы шапки съ головы у всѣхъ мужиковъ, и все бы ему давало дорогу». «А который посмѣль бы ему оказать какое-нибудь неуваженіе», прибавляетъ Гоголь, «или не послушаться умныхъ словъ его, того распеки тутъ же при всѣхъ; скажи ему: «Ахъ ты, неумытое рыло...» Поражаясь такими мѣстами книги, гдѣ Гоголь являлся крѣпостникомъ и почти допускалъ тѣлесное наказаніе крестьянъ, читатели были удивлены также общимъ тономъ книги—пророчески-торжественнымъ и въ то же время преувеличенно смиреннымъ.

Мы теперь имѣемъ возможность спокойно и безпристрастно оцѣнить «Выбранныя мѣста», такъ какъ эта книга для насъ представляется собою лишь фактъ біографіи Гоголя. Сопоставляя эту книгу съ лирическими отступленіями «Мертвыхъ Душъ», съ отрывками изъ 2-го ихъ тома, съ письмами Гоголя къ разнымъ лицамъ, мы видимъ, что въ «Выбранныхъ мѣстахъ» Гоголь лишь выдвинулъ и подчеркнулъ, иногда доводя до крайности, тѣ мысли, которыхъ и раньше не-

однократно имъ высказывались. Тонъ книги также вполнѣ гармони-  
руетъ съ давно проявлявшимся у Гоголя мнѣніемъ о себѣ, какъ  
писатель, которому суждено сказать русскому народу слово особой  
важности. А такъ какъ Гоголю казалось, что именно теперь онъ бо-  
лѣе или менѣе готовъ уже сказать это слово, то отсюда и объясняется  
учительскій, вѣцій тонъ «Выбранныхъ мѣсть». Современники имѣли  
право и основаніе отнести съ къ книгѣ съ негодованіемъ. Она появ-  
илась въ мрачную реакціонную эпоху и поддерживала ту удушливую  
атмосферу, которая чувствовалась лучшими людьми того времени.  
Она давала въ руки враговъ Гоголя и прогресса удобное орудіе  
борьбы. Оказалось, что писатель-сатирикъ, на произведенія кото-  
рого опирались всѣ прогрессивно настроенные люди для доказатель-  
ства, что такъ жить нельзя, что нужны коренные преобразованія,  
самъ отвергалъ этотъ взглядъ и зачислялся въ ряды мракобѣсовъ и  
реакціонеровъ. Естественно, что тѣ здравыя мысли, которые были  
выражены въ отдѣльныхъ мѣстахъ книги, потонули въ общемъ удру-  
чающемъ впечатлѣніи, ею произведенномъ. Книга была жестоко  
осмѣяна, была даже заподозрѣна искренность автора, которая въ на-  
стоящее время не подвергается сомнѣнію, и Бѣлинскій въ статьѣ о  
«Выбранныхъ мѣстахъ» прямо намекнулъ на мысль, мелькавшую у  
нѣкоторыхъ читателей Гоголя,—мысль о неполной душевной нор-  
мальности автора книги.

**Послѣдніе годы.** Упреки и насмѣшки, которыми была встрѣчена  
книга Гоголя, произвели на него тяжелое впечатлѣніе, но нисколько  
не убѣдили его въ ошибочности его идей и стремленій. Онъ полагалъ,  
что придалъ только неудачную форму своему произведенію и не  
сумѣлъ хорошо выразить свое міросозерцаніе, по существу правиль-  
ное. Ко времени выхода въ свѣтъ «Выбранныхъ мѣсть» Гоголь  
успѣлъ уже замкнуться въ очень тѣсномъ кружкѣ близкайшихъ друз-  
ей; важную роль играла въ эти годы въ жизни Гоголя тѣсная дру-  
жба съ А. О. Смирновой, поселившейся въ 1842 г. въ Римѣ. Въ 1843  
—4 г. г. Гоголь со Смирновой и Віельгорскими жилъ нѣсколько мѣся-  
цевъ въ Ниццѣ, въ 1844 г. былъ во Франкфуртѣ у Жуковскаго, въ  
концѣ того же года Ѣздилъ въ Парижъ, где пробылъ, однако, недолго.  
Вообще въ эти годы Гоголь ведетъ скитальческій образъ жизни,  
тищетно ища въ перемѣнѣ мѣсть успокоенія души своей. Къ сере-  
динѣ 1845 года, какъ мы уже знаемъ, относится первое сожженіе

2-го тома «Мертвых Душъ», почти въ это же время задумано издание «Выбранныхъ мѣсть». Матеріальное положеніе Гоголя также по-прежнему оставалось весьма незавиднымъ. Въ эту эпоху, благодаря хлопотамъ вліятельныхъ друзей, Гоголь получаетъ отъ казны денежное пособіе на три года по тысячѣ рублей.

Мистицизмъ Гоголя, все усиливаясь, приводилъ его къ страстному стремленію очищать душу свою для того, чтобы успѣть совершить «дѣло жизни». Рядъ болѣзней, перенесенныхъ имъ, казался ему посланнымъ свыше для просвѣтленія духовнаго. Личные потребности свои Гоголь все ограничивалъ, обращаясь постепенно въ настоящаго аскета. Въ такомъ душевномъ состояніи Гоголь пишетъ предисловіе ко второму изданію 1-го тома «Мертвыхъ Душъ», гдѣ обращается къ русскимъ людямъ съ призывомъ помочь ему въ окончаніи «дѣла жизни». Въ концѣ того же 1846 г. Гоголь хлопочетъ о новой постановкѣ на сцену «Ревизора» и хочетъ, чтобы послѣ комедіи представлена была и «Развязка Ревизора». Такое желаніе Гоголя является совершенно понятнымъ и вполнѣ гармонируетъ съ известными намъ морально-поучительными стремленіями писателя. Но практически постановка «Развязки Ревизора» являлась совершенно невозможной, такъ какъ роль первого комического актера, предназначенная Гоголемъ для Щепкина, заключала въ себѣ такие моменты, на которые не согласился бы ни одинъ артистъ. Болѣзнь Щепкина, случившаяся въ это время, была понята Гоголемъ, какъ указаніе свыше на то, что не нужно ставить «Развязки», и онъ примирился съ этимъ. Мы видѣли, какъ рушились надежды Гоголя на «Выбранныя мѣста»; тогда всѣ свои упованія онъ обращаетъ на давно задуманное путешествіе въ Палестину. Въ 1848 г. Гоголь совершаетъ поѣздку въ Иерусалимъ, не произведшій на него, однако, того могущественнаго и очищающаго впечатленія, о которомъ онъ мечталъ. По возвращеніи изъ путешествія Гоголь поселяется въ Москву, гдѣ и проходятъ послѣдніе четыре года его жизни. Аскетическая стремленія, мистический ужасъ передъ грядущимъ возмездіемъ за дурно употребленный талантъ, видѣнія и предчувствія наполняютъ это послѣднее мрачное время жизни великаго сатирика. Послѣ вторичнаго сожженія второго тома «Мертвыхъ Душъ» Гоголь начинаетъ проявлять страстную жажду смерти, не мѣшающую ему, однако, и ужасаться смерти. Убѣдившись, что осуществить «дѣло

жизни» ему не удастся, Гоголь пришелъ и къ увѣренности въ томъ, что ему не спасти своей души, и, предчувствуя загробное возмездіе, старался ускорить смерть. Изнуряя себя физически, Гоголь хотѣлъ употребить послѣднее время жизни на подготовку къ переходу въ иной мірь. Смерть Гоголя можно считать въ значительной мѣрѣ ускоренными усилиями его воли. 21 февраля 1852 г. Гоголь скончался.

Все то, что сказано нами о душевной жизни Гоголя въ послѣдніе годы, требуетъ одной существенной оговорки. Необходимо имѣть въ виду, что, будучи натурой, къ общемъ, очень замкнутой, Гоголь унесъ въ могилу многое изъ того, о чёмъ мыслилъ, чѣмъ страдалъ и къ чему со страстью стремился. Полной картины развитія Гоголя и хода той душевной борьбы, которая привела къ ранней гибели великаго писателя, мы не имѣемъ и никогда имѣть не будемъ. Все, сказанное выше объ этой борьбѣ и основанное, главнымъ образомъ, на разныхъ указаніяхъ, извлеченныхъ изъ сочиненій самого Гоголя, представляеть собою только намеки на ту сложную драму, жертвой которой сталъ Гоголь. Въ томъ видѣ, какъ онъ можетъ быть возстановленъ, заключительный душевный процессъ Гоголя не имѣть въ себѣ ничего неожиданного и не связанъ ни съ какимъ рѣзкимъ переломомъ въ душевной жизни писателя. Всѣ тѣ силы, которыя вступили въ борьбу въ душѣ Гоголя, получили первое свое проявленіе значительно раньше. Ощущеніе особаго высшаго призванія, высокое пониманіе писательского и гражданскаго долга, чувство таинственной связи съ Россіей, склонность къ мистицизму—все это являлось у Гоголя довольно рано, и многое изъ этого должно было вступить въ непримируемую борьбу съ реалистическимъ характеромъ гоголевскаго таланта. Борьба эта обострилась и приняла трагическій характеръ вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій, въ которыхъ судьба поставила Гоголя съ отъездомъ его за границу и со смертью Пушкина.

**Личность Гоголя. Характеръ и значение его творчества.** Обратимся къ общей характеристицѣ личности Гоголя, его творчества и историко-литературного значенія. Гоголь—чрезвычайно своеобразная натура, сильная и рѣзко выраженная индивидуальность. Съ ранней юности у него складывается критическое отношеніе къ окружающей средѣ и проявляется исключительная способность подмѣтать въ жизни и людяхъ такія глубоко скрытыя свойства и особенности, которыхъ не замѣтны для простого глаза. Мы видѣли, какъ въ 1-мъ томѣ «Мер-

твыхъ Душъ» эта особенность Гоголя сказалась въ распространительномъ толкованіи образовъ Ноздрева и Коробочки. Охарактеризованная нами способность Гоголя такъ ярко обнаружилась въ лучшихъ его произведеніяхъ, что наименѣе вдумчивые и наблюдательные изъ читателей и изъ зрителей его комедій совершенно искренно возмущались тѣми «клеветами», которыхъ Гоголь взвѣлъ будто бы на русскую жизнь и русского человѣка. Видя на сценѣ Сквозника-Дмухановскаго, отшатывались отъ него, какъ отъ чудовища, и не хотѣли признать, что видятъ предъ собою стараго знакомца, много разъ падавшагося въ жизни. А между тѣмъ это былъ, несомнѣнно, старый знакомецъ, что и понимали наиболѣе чуткіе изъ воспринимавшихъ произведенія Гоголя. Такая трудность усвоенія гоголевскихъ образовъ, особенно для современниковъ, объяснена Д. Н. Овсянико-Куликовскимъ. По его мнѣнію, въ которомъ есть много справедливаго, художниковъ слова вообще можно раздѣлить на два главныхъ типа. Одни изъ нихъ, которыхъ онъ предлагаетъ называть «художниками-наблюдателями», обладаютъ способностью подмѣтать въ длинномъ рядѣ однородныхъ явлений общія черты, притомъ черты наиболѣе важныя, бросающіяся въ глаза, и обобщать эти черты въ одномъ типическомъ образѣ или картинѣ. Силу художниковъ-наблюдателей составляетъ широта захватываемаго ими поля зрѣнія и умѣніе выдѣлять главное въ изображаемомъ ими типѣ или картинѣ, пренебрегая мелочами. Примѣромъ художника-наблюдателя можетъ служить Пушкинъ. Методомъ наблюденія созданъ «ОНѣгінъ», «Капитанская дочка» и много другихъ произведеній Пушкина. Правильно воспринять и оцѣнить отдѣльный типъ или цѣлое произведеніе, созданное методомъ наблюденія, для современниковъ писателя сравнительно легко, такъ какъ здѣсь обобщаются факты, порознь наблюдаемые чуть ли не всякимъ, и заслуга писателя состоить только въ яркомъ и типическомъ воспроизведеніи этихъ фактovъ. Но можно употребить иной методъ — методъ «эксперимента». Дѣло въ томъ, что какъ физическая явленія, такъ и психическая можно наблюдать въ ихъ естественной, не нами созданной обстановкѣ; такъ Пушкинъ наблюдалъ Онѣгінъ на всемъ пространствѣ ихъ жизни, бера наиболѣе правдоподобныя и часто встрѣчающіяся положенія, но можно искусственнымъ образомъ поставить наблюдаемый образъ или жизненное

явленіе въ такія условія, при которыхъ ихъ наиболѣе удобно наблюдать для цѣлей, поставленныхъ себѣ художникомъ. Такимъ именно методомъ дѣйствуетъ Гоголь, примѣняя его, конечно, большою частью безсознательно. Для изображенія чиновничьей среды въ «Ревизорѣ» онъ не слѣдить шагъ за шагомъ всю жизнь этихъ людей въ обычныхъ будничныхъ условіяхъ ихъ существованія, а подвергаетъ ихъ художественному эксперименту, т. е. ставить ихъ въ такое особое положеніе, въ которомъ наиболѣе удобно до глубины узнать ихъ съ интересующей насть въ данный моментъ стороны, т. е. именно какъ чиновниковъ, представителей власти. Такимъ особымъ удобнымъ для цѣлей Гоголя моментомъ явился въ данномъ случаѣ прїѣздъ ревизора, точноѣ, напряженное ожиданіе его. Въ этомъ и стоитъ «экспериментъ», произведенный Гоголемъ надъ средою, которую онъ изображаетъ. Д. Н. Овсяніко-Куликовскій чрезвычайно удачно сравниваетъ такой способъ наблюденія людей и явлений съ наблюденіемъ при помощи микроскопа. И это сравненіе даетъ готовый отвѣтъ на заявленія тѣхъ, кто обвиняетъ Гоголя и другихъ художниковъ—экспериментаторовъ въ сгущеніи красокъ, въ искаженіи дѣйствительности, въ клеветѣ на нее. Такимъ обвинителямъ можно отвѣтить вопросомъ: искажаетъ ли естествоиспитатель растеніе, показывая намъ его подъ микроскопомъ, такъ что намъ дѣлается видно движение соковъ въ этомъ растеніи, недоступное невооруженному глазу? Очевидно, что тутъ нѣть никакого искаженія, никакой клеветы, а есть лишь особый способъ изслѣдованія. Роль микроскопа играетъ въ данномъ случаѣ особая восприимчивость художника, глазъ которого какъ бы самой природой разъ навсегда снабженъ увеличительнымъ стекломъ, сквозъ которое художникъ въ состояніи разсмотрѣть глубочайшіе тайники души своихъ героеvъ. Любопытно отмѣтить, что мысль о микроскопѣ мелькала, видимо, у самого Гоголя, когда онъ думалъ объ особенностяхъ своего творчества. Мы приводили выше его размышленія о герояхъ «Шинели», къ судьбѣ котораго, по словамъ Гоголя, окружающіе проявили меныше интереса, чѣмъ къ судьбѣ мухи; послѣднюю, говоритъ Гоголь, «естествоиспитатель не пропускаетъ посадить на булавку и разсмотреть въ микроскопѣ». Именно такимъ микроскопомъ вооружился Гоголь для внимательного изслѣдованія своего героя, недалеко ушедшаго отъ муhi по простотѣ своего психического міра. Далѣе, въ извѣстной

параллели между двумя писателями въ VII-й главѣ 1-го тома «Мертвыхъ Душъ» Гоголь говорить: «...не признаетъ современный судъ, что равно чудны стекла, озирающія солнцы и передающія движенья незамѣченныхъ насѣкомыхъ».

Только что охарактеризованными особенностями личности и творчества Гоголя опредѣляется въ значительной степени и роль Гоголя въ исторіи русской литературы. Считать Гоголя начинателемъ какого-либо нового литературного направления нельзя, такъ какъ примѣры строго реалистического письма мы видѣли въ изобилии у Пушкина. Значеніе Гоголя состоитъ въ углубленіи разработки нѣкоторыхъ типовъ и явленій, только намѣченныхъ Пушкинымъ, и въ детальномъ, при помощи «экспериментовъ», изображеніи этой специально имъ для себя избранной сферы русской жизни. Это сфера пошлости во всѣхъ ея проявленіяхъ и видахъ. Наряду съ этимъ углубленіемъ взгляда на отрицательныя явленія русской дѣятельности Гоголю принадлежитъ еще внесеніе въ нашу литературу той особой гуманности, которая стала характерной ея чертой въ позднѣйшее время. Мы знаемъ, что и поэзія Пушкина пропитана гуманнымъ чувствомъ, на воспитательное значеніе которого указалъ еще Бѣлинскій. Но у Пушкина состраданіе къ униженнымъ и оскорблennымъ, печаль о падшихъ и угнетенныхъ никогда не становилась такимъ всепоглощающимъ чувствомъ, какимъ она стала у Гоголя, такъ какъ Пушкинъ вообще не углублялся съ такимъ почти болѣзненнымъ вниманіемъ въ одно какое-нибудь явленіе жизни. Будучи далекъ отъ художническаго равнодушія къ «житейскому волненію и битвамъ», Пушкинъ, однако, умѣль и любилъ отдыхать отъ этихъ битвъ, «по прихоти скитаться здѣсь и тамъ, дивясь божественнымъ природы красотамъ, и предъ созданьями искусствъ и вдохновенія безмолвно утопать въ восторгѣ умиленья». Гоголевская же мысль все настойчивѣе и скорбнѣе углублялась въ душу человѣка, большую частью несчастнаго и не осуществившаго своего призванія, и страданіе и жестокость человѣческая не давали покоя душѣ художника. Высокая гражданская роль поэта была заявлена Гоголемъ съ такою силой, какъ никогда прежде. Мы видѣли, какъ умѣль Гоголь вглядываться въ душу никому не интересныхъ людей, въ родѣ Аѳанасія Ивановича, Акакія Акакіевича или Плюшкина. Оставаясь въ сферѣ вопросовъ личной морали и не придавая

значенія вопросамъ общественно-политическимъ, Гоголь призывалъ русское общество къ самосовершенствованію и къ сердечному отношенію къ окружающимъ, какъ бы ни были они скромны и незамѣтны. Такой призывъ находится, между прочимъ, въ предувѣдомленіи Гоголя къ предполагавшимся изданіямъ «Ревизора» въ пользу бѣдныхъ (1846 г.). Прочтемъ этотъ призывъ, и онъ напомнить намъ любимѣйшія мысли Гоголя, выраженные въ его произведеніяхъ. «Много происходитъ вокругъ насъ страданій, намъ неизвѣстныхъ», говорить Гоголь, «часто въ одномъ и томъ же мѣстѣ, въ одной и той же улицѣ, въ одномъ и томъ же съ нами домѣ изнываетъ человѣкъ, сокрушенный весь тяжкимъ и томъ нужды и ею порожденаго суроваго внутренняго горя, котораго вся участъ, можетъ быть, зависѣла отъ одного нашего пристальнаго на него взгляда; но взгляда на него мы не обратили: беспечно и беззаботно продолжаемъ жизнь свою, почти равнодушно слышимъ о томъ, что такой-то, жившій съ нами рядомъ, погибнулъ, не подозрѣвая того, что причиной этой погибели было именно то, что мы не дали себѣ труда пристально взглянуть на него. Ради Самого Христа умоляю не пренебрегать разговорами съ тѣми, которые молчаливы, неразговорчивы, которые скорбятъ тихо, претерпѣваютъ тихо и умираютъ тихо, такъ что даже рѣдко и по смерти ихъ узнается, что они умерли отъ невыносимаго бремени своего горя». Пусть въ приведенномъ отрывкѣ многое преувеличено, все же нельзя не видѣть въ немъ разработки той мысли, которая прозвучала въ концѣ XVIII в. подъ вдохновеннымъ перомъ Радищева: «Я взглянулъ окрестъ меня—душа моя страданіями человѣчества уязвлена стала». И если Пушкинъ съ полнымъ правомъ заявлялъ, что онъ «вслѣдъ Радищеву» возславилъ свободу, то про Гоголя мы можемъ сказать, что онъ, также вслѣдъ Радищеву, возскорбѣлъ о страданіяхъ униженныхъ и безсердечіи счастливыхъ. Въ пору полной своей зрѣлости—при Пушкинѣ, Гоголѣ, при выступленіи «реальной школы»—наша литература нерѣдко подхватывала, развивала и художественно иллюстрировала мысли, заявленные въ сентиментально-романтическую эпоху. Такъ Тургеневъ «Записками Охотника» доказалъ справедливость мнѣнія Карамзина, что «и крестьянки чувствовать умѣютъ»; Гоголь, какъ мы сейчасъ видѣли, былъ продолжателемъ Радищева въ дѣлѣ пробужденія жалости ко всякому человѣческому страданію; Пушкинъ

также связывалъ съ Радищевымъ свою проповѣдь свободы. Указанное явленіе понятно: благородный сентиментализмъ присущъ русской литературѣ по самой ея національной природѣ, и она вслѣдъ за Пушкинымъ и Гоголемъ никогда не переставала и не перестаѣть пробуждать добрыя чувства и призывать милость къ падшимъ. Отъ Гоголя способность глубоко взглядываться и проникать въ жизнь души человѣческой вообще и въ особенности въ ея страданія преемственно перешла къ Достоевскому и отчасти Льву Толстому.

Гоголь и при жизни и послѣ смерти былъ оцѣненъ по достоинству лучшими людьми Россіи. Бѣлинскій уже на основаніи «Мир-города» увидѣлъ въ немъ главу нашей литературы; Пушкинъ оцѣнилъ талантъ Гоголя по «Вечерамъ на хуторѣ» и понялъ глубину моральнаго и общественнаго смысла «Мертвыхъ Душъ» по ихъ первымъ наброскамъ; Тургеневъ посвятилъ Гоголю послѣ его смерти прочувствованную статью, въ которой говорилъ о нашемъ правѣ назвать Гоголя великимъ; Чернышевскій подчеркнулъ значение Гоголя своими «Очерками Гоголевскаго периода русской литературы».

Мы видѣли, что теперь, когда Пушкинъ изученъ неизмѣримо лучше прежняго и когда мы отошли на достаточное историческое разстояніе отъ обоихъ великихъ писателей, роль Гоголя должна пониматься не въ смыслѣ основанія новой литературной школы или начала нового периода, а въ смыслѣ лишь раскрытия новыхъ, едва затронутыхъ Пушкинымъ сферъ и явленій русской дѣйствительности и примѣненія къ ея изученію нового экспериментальнаго метода. Это даетъ Гоголю право считаться, вмѣстѣ съ Пушкинымъ, родоначальникомъ золотого вѣка русской литературы, вознесшаго ее на міровую высоту.

Личность и творчество Гоголя никогда не перестанутъ привлекать вниманіе и интересъ своею глубиной, въ которой таится еще много темнаго и нераскрытаго. Современники менѣе всего способны правильно понять личность такого писателя, какъ Гоголь. Съ дѣтства онъ отталкивалъ многихъ свою скрытностью и критическимъ отношеніемъ къ окружающимъ; позднѣе казался страннымъ пророческій тонъ Гоголя и принимаемая имъ на себя роль учителя русского общества. Въ настоящее время искренность Гоголя не подлежитъ сомнѣнію. Онъ съ болѣзненной страстью искалъ единенія съ обществомъ, взаимнаго пониманія. Памятниками этихъ исканій

являются предисловие ко второму изданию I-го тома «Мертвыхъ Душъ», предувѣдомленіе къ предполагавшимся изданіямъ «Ревизора» въ пользу бѣдныхъ, «Авторская исповѣдь», «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями» и цѣлый рядъ лирическихъ отступлений въ разныхъ произведеніяхъ.

Гоголь много заблуждался, но свои заблужденія искупилъ великими страданіями въ неустанномъ исканіи правды; міросозерцаніе и стремленія его были весьма односторонни, но въ высочайшихъ своихъ созданіяхъ онъ художественнымъ прозрѣніемъ побѣдилъ эту односторонность и за эти созданія имѣть право на признаніе его, по выражению Бѣлинского, «однимъ изъ великихъ вождей Россіи на пути сознанія, развитія, прогресса».

---

## М. Ю. ЛЕРМОНТОВЪ.

(1814—1841).

---

### I.

#### Біографія.

Подъ сильнѣйшимъ вліяніемъ произведеній Пушкина выросъ и развился одинъ изъ талантливѣйшихъ русскихъ поэтовъ, Михаилъ Юрьевичъ Лермонтовъ. Лермонтовъ прожилъ всего 27 лѣтъ; его талантъ далеко не успѣлъ развернуться во всей своей широтѣ, и тѣмъ не менѣе многія изъ его произведеній, особенно лирическихъ, отличаются безупречнымъ совершенствомъ выраженія и принадлежать къ настоящимъ перламът русской поэзіи. Мощь лермонтовскаго дарованія рано была понята современниками, многіе изъ которыхъ видѣли въ немъ достойнаго продолжателя поэтическаго поприща Пушкина.

**Біографія.** Лермонтовъ родился 3 октября 1814 года — въ годъ напечатанія первого пушкинского стихотворенія — и былъ сыномъ отставного офицера Юрия Петровича Лермонтова, женившагося на богатой помѣщицѣ Арсеньевой. Родъ Лермонтовыхъ происходилъ изъ Шотландіи; въ Россіи представители этого рода являются съ XVII вѣка, и къ началу XIX столѣтія Лермонтовы принадлежали къ захудалому дворянству. Въ стихотвореніи 1831 г. «Желаніе» («Зачѣмъ я не птица, не воронъ степной!») поэтъ обращается мыслью къ далекой родинѣ своихъ предковъ. Мать поэта, не сошедшаяся характеромъ со своимъ мужемъ и не бывшая съ нимъ счастливой, умерла отъ чахотки, когда будущему поэту было 3 года. Лермонтовъ сохранилъ лишь смутное воспоминаніе о пѣснѣ, которую пѣвала ему мать. Послѣ смерти матери поэта, его бабушка, Елизавета Алексѣевна Арсеньева, пожелала принять на себя заботы о воспитаніи

внука, изъ-за чего ей приходилось сталкиваться съ его отцомъ. Раздоры между этими двумя близкими мальчику людьми пріостановлены были согласіемъ отца Лермонтова оставить его у бабушки до окончанія школьнаго образованія. Однако и по истеченіи назначеннаго срока бабушка продолжала заявлять свои права, и ребёнокъ былъ оставленъ на ея попеченіи. Отецъ поэта умеръ въ 1830 году, и Лермонтовъ простился съ нимъ стихотвореніемъ «Эпитафія» («Прости! Увидимся ль мы снова?»). Изъ этого стихотворенія видно, что поэтъ любилъ отца и скорбѣлъ объ его кончинѣ. Продолжительная распѣя между отцомъ и бабушкой оставила тягостное впечатлѣніе въ душѣ Лермонтова, отчасти выразившееся въ одной изъ его юношескихъ драмъ—«Menschen und Leidenschaften» (1830 г.). Здѣсь можно видѣть самого поэта въ лицѣ Юрия Волина, составляющаго предметъ раздора между отцомъ и бабушкой. Обстановку дошкольной своей жизни Лермонтовъ изобразилъ въ «Отрывкѣ изъ начатой повѣсти» («Я хочу разсказать вамъ исторію женщины»), гдѣ автобіографіческій характеръ имѣеть образъ Саши Арбенина. Болѣзненность, которою отличался Лермонтовъ въ дѣтствѣ, заставляла бабушку возить его на Кавказскія минеральныя воды, и природа Кавказа рано оказала сильное впечатлѣніе на душу поэта и осталась навсегда однимъ изъ любимѣйшихъ предметовъ его изображенія. На Кавказѣ происходѣтъ дѣйствіе крупнѣйшихъ по значенію произведеній Лермонтова—«Демона», большей части «Героя нашего времени»; Кавказу посвященъ рядъ лирическихъ стихотвореній; горячую любовь къ Кавказу поэтъ выразилъ уже въ 1830 году въ стихотвореніи «Кавказъ» («Хотя я судьбой на зарѣ моихъ дней»). Здѣсь же, на Кавказѣ, Лермонтовъ впервые испыталъ, по его словамъ, чувство любви къ дѣвочкѣ, съ которой больше не встрѣчался. Ему было въ это время 10 лѣтъ. До 1827 года Лермонтовъ жилъ въ имѣніи бабушки, селѣ Тарханахъ, Пензенской губерніи. Здѣсь начались и учебныя занятія мальчика, которыми руководилъ гувернеръ-французы Капэ, бывшій офицеръ Наполеоновской гвардіи. Вліянію Капэ можно отчасти приписать особый интересъ, который Лермонтовъ всегда проявлялъ къ личности и судьбѣ Наполеона. Послѣднemu посвященъ цѣлый рядъ лермонтовскихъ стихотвореній: «Наполеонъ» («Гдѣ бѣть волна о брегѣ высокій») (1829), «Наполеонъ» («Въ невѣрный часъ, межъ днемъ и темнотой») (1830),

«Эпитафія Наполеону» (1830), «Св. Елена» (1831), «Воздушный корабль» (1840), «Послѣднее новоселье» (1840). Каш, умершаго послѣ переѣзда Е. А. Арсеньевой въ Москву, смѣнили французъ Жандро, а потомъ англичанинъ Виндсонъ, начавшій знакомить Лермонтова съ англійской литературой. Значительного вліянія на своего воспитанника эти лица не оказали. Въ 1827 году, послѣ переѣзда въ Москву, Лермонтовъ начинаетъ готовиться къ поступленію въ университетскій благородный пансионъ, въ который и поступилъ въ слѣдующемъ 1828 году. Здѣсь онъ пробылъ до 1830 года, когда пансионъ былъ преобразованъ въ гимназію. Университетскій пансионъ и въ годы ученья Лермонтова продолжалъ литературную традицію, шедшія еще отъ школьнаго лѣтъ Жуковскаго. Учителями словесности были въ пансионѣ Мерзляковъ и Дубенскій, умѣвшіе возбудить въ ученикахъ интересъ къ этому предмету. Мерзляковъ давалъ также Лермонтову и частные уроки. Ко времени пансионскаго ученія Лермонтова относится цѣлый рядъ его поэтическихъ опытовъ, причемъ сочиненія Пушкина являются главнымъ возбудителемъ творческой энергіи начинающаго поэта. Къ 1828—30 г.г. приналежитъ очень большое количество стихотвореній Лермонтова, какъ лирическихъ, такъ и эпическихъ. Въ 1830 г. написаны также двѣ драмы: «Испанцы» и «Menschen und Leidenschaften». Вначалѣ стихотворенія Лермонтова носятъ явно-подражательный характеръ; раннія поэмы его иногда представляютъ собою простое переложеніе поэмъ Пушкина съ нѣкоторыми видоизмѣненіями; таковъ написанный въ 1828 г. «Кавказскій плѣнникъ» съ измѣненнымъ, по сравненію съ поэмой Пушкина, концомъ. Но можно отмѣтить въ этихъ раннихъ лермонтовскихъ опытахъ и нѣчто своеобразное, характерное для личныхъ стремленій и свойствъ молодого поэта. Такъ, напримѣръ, уже въ этихъ раннихъ произведеніяхъ Лермонтовъ настойчиво проводитъ мысль о мелочности и пустотѣ толпы, которая не въ состояніи погнать и оѣнить глубоко чувствующаго человѣка и отвѣтить на его страстное стремленіе къ идеалу. Такое отношеніе Лермонтова къ людямъ ярко сказалось, между прочимъ, въ его юношескихъ драмахъ: «Испанцы» (1830), «Menschen und Leidenschaften» (1830) и «Странный человѣкъ» (1831). Какъ драмы, эти произведенія чрезвычайно слабы, представляютъ собою сплошную лирику. Главный герой драмы постоянно отличается необыкновен-

ною силой страстей, глубиною и чуткостью нравственного чувства, любовью и довѣріемъ къ людямъ, переходящими, однако, обыкновенно, подъ вліяніемъ разочарованій въ презрѣніе и ненависть. Таковы Фернандо въ «Испанцахъ», Юрий Волинъ въ «Menschen und Leidenschaften», Владимиръ Арбенинъ въ «Странномъ человѣкѣ». «...Люди»... восклицаетъ Фернандо, обращаясь къ любимой дѣвушкѣ: «если бъ ты не причислялась къ нимъ, то я бъ ихъ проклялъ»... Тотъ же Фернандо даетъ слѣдующую характеристику испанцевъ: «...испанцы только безъ правиль ненавидятъ близкихъ. У нихъ и рай и адъ—все на вѣсахъ; и деньги сей земли владѣютъ счастьемъ неба, и люди заставляютъ демоновъ краснѣть коварствомъ и любовью къ злу... У нихъ отецъ торгуетъ дочерьми, жена торгуетъ мужемъ и собою, король—народомъ, а народъ—свободой...» Сила страстей Фернандо видна изъ его восклицаній: «...Я отмщу... чтобы цѣлый міръ... я то свершу, что, я не знаю самъ еще, но землю мой подвигъ испугаетъ»... «Отнынъ отдаюся мести, союзъ съ землей и небомъ разрываю»... Юрий Волинъ такъ характеризуетъ себя самого: «Тотъ, который передъ тобою, есть одна тѣнь: человѣкъ полуживой, почти безъ настоящаго и безъ будущаго, съ однимъ прошедшими, котораго никакая власть не можетъ воротить». «Несправедливости, злобы—все посыпалось на голову мою; какъ будто бы туча, разлетѣвшись, упала на меня и разразилась, а я стоялъ, какъ камень,—безъ чувства. По какому-то машинальному побужденію я протянулъ руку и услышалъ насмѣшилъ хохотъ,—и никто не принялъ руки моей, и она обратно упала на сердце... Любовь мою къ свободѣ человѣчества почитали вольнодумствомъ... Меня никто послѣ тебя не понималъ»... Выслушавъ отъ дяди рассказъ о неблаговидныхъ поступкахъ своей бабушки, тотъ же Юрий восклицаетъ наподобіе Фернандо: «Люди, люди!... Зачѣмъ я не могу любить васъ, какъ бывало... Я узналъ тебя, ненависть, жажда мщенія... мщенія... Ха-ха-ха»... какъ это сладко, какой нектарь земной!»... «Что я тебѣ сдѣлалъ, Богъ?»... кричитъ наконецъ Юрий въ полномъ изстущленіи: «О! (съ дикимъ стономъ) во мнѣ отнынъ нѣтъ къ Тебѣ ни вѣры, ничего нѣтъ въ душѣ моей... Зачѣмъ Ты мнѣ далъ огненное сердце, которое любить и ненавидить до крайности...» Такое же «огненное сердце» бьется и въ груди Владимира Арбенина. «О!» восклицаетъ онъ, узнавъ, что отецъ его не хочетъ

примириться со своею умирающей женой, «если бъ я могъ мои чувства, сердце, душу, мое дыханіе превратить въ одно слово, въ одинъ звукъ, то этотъ звукъ быль бы проклятие первому мгновенію моей жизни, громовой ударъ, который потрясь бы твою внутренность, мой отецъ, и отучилъ бы тебя называть меня сыномъ!...»

Если мы сопоставимъ всѣ эти громовыя рѣчи героевъ юношескихъ драмъ Лермонтова съ его лирическими и эпическими произведеніями того времени, то мы легко поймемъ, что всѣ эти герои—только видоизмѣненія личности самого автора драмъ и выразители его отношенія къ миру и людямъ, что даетъ намъ право считать указанныя драмы произведеніями по существу лирическими. Въ самомъ дѣлѣ, возьмемъ ли мы раннія поэмы Лермонтова, или его лирическія стихотворенія,—всюду мы встрѣтимъ горячій протестъ противъ всякаго стѣсненія личной свободы и противъ низости и прозаичности людской толпы. Таковы поэмы: «Кавказскій плѣнникъ» (1828), «Послѣдній сынъ вольности» (1830), стихотворенія: «Жалоба турка» (1829), «Волны и люди» (1830) и многія другія.

Будучи, такимъ образомъ, съ самыхъ первыхъ своихъ шаговъ плѣвцомъ сильной личности, глубоко чувствующей, страстно стремящейся на просторъ, Лермонтовъ, конечно, долженъ быль столь же рано проявить политическое свободолюбіе. И дѣйствительно, это свободолюбіе сказалось весьма ярко въ указанномъ выше стихотвореніи: «Жалоба турка», а также въ поэмѣ: «Послѣдній сынъ вольности». Въ этомъ произведеніи изображенъ новгородецъ Вадимъ, котораго и раньше пытались представить многіе наши писатели, между прочимъ Жуковскій и Пушкинъ. Вадимъ гибнетъ отъ руки поработителя новгородцевъ Рюрика, съ которымъ онъ вступаетъ въ бой, когда Рюрикъ погубилъ любимую Вадимомъ дѣвушку. Описаніе гибели Вадима Лермонтовъ заключаетъ словами: «Онъ палъ въ крови, и паль одинъ—послѣдній вольный Славянинъ». Ненависть Вадима и немногихъ его товарищѣй къ рабству представлена весьма ярко. Въ драмахъ, нами указанныхъ, имѣется также рядъ весьма рѣзкихъ выступленій противъ всякаго рода гнета надъ личностью человѣка. Такъ, въ драмѣ «Испанцы» въ отталкивающемъ видѣ изображена инквизиція, а въ драмахъ «Menschen und Leidenschaften» и особенно «Странный человѣкъ» имѣются весьма яркія картины ужасовъ крѣпостного права. Въ первой мы слышимъ отъ двою-

родной сестры Юрія Волина о томъ, что бабушка «такъ раскарапизничалась, что хоть изъ дому бѣги!... Ужасъ!... дѣвокъ по щекамъ такъ и лупить». Характерно не только поведеніе бабушки, изъ каприза «лупящей» дѣвушекъ, но и поведеніе внучки, весело и беззаботно хохочущей надъ «капризами» бабушки. Въ драмѣ «Странный человѣкъ» есть цѣлая сцена, въ которой мужикъ разсказываетъ другу Владимира Арбенина, Бѣлинскому, объ ужасныхъ жестокостяхъ, совершаемыхъ помѣщицей надъ крестьянами. Она предоставляетъ управителю, который у нея «въ милости», выдѣлывать надъ несчастными крестьянами все, что ему вздумается; управитель не только сѣчеть ихъ «за всякую малость, а чаше безъ вины», но и выворачивать имъ руки на станкѣ, выщипывать бороды и т. п. Разсказчикъ умоляетъ Бѣлинского купить деревню и освободить мужиковъ отъ ужасныхъ мученій. Владимиръ Арбенинъ, случайный слушатель рассказа, приходитъ отъ него, по ремаркѣ Лермонтова, «въ бѣшенство» и восклицаетъ: «О, Боже! при одной мысли объ этомъ я чувствую боль во всѣхъ моихъ жилахъ... Я бы раздавилъ ногами каждый суставъ этого крокодила, этой женщины». Черезъ нѣкоторое время онъ восклицаетъ: «О мое отечество! мое отечество!» Мы уже знаемъ, что Владимиръ Арбенинъ—самъ Лермонтовъ. Политическое свободомысліе Лермонтова выразилось въ раннюю пору его творчества также въ двухъ сочувственныхъ откликахъ на юльскую революцію во Франціі (*«10-е июля 1830 г.»* и *«Парижъ 30 июля 1830 г.»*).

Такимъ образомъ, уже около времени выхода изъ университетскаго пансиона Лермонтовъ является предъ нами юношой съ довольно ярко проявленными индивидуальными свойствами. У него (пользуясь его же позднѣйшимъ выраженіемъ) «сердце вольное и пламенные страсти»; онъ крайне впечатлителенъ и бурно переживаетъ всякое чувство; онъ врагъ всякаго насилия надъ личностью и всего, что стѣсняетъ свободу человѣка или цѣлаго народа.

Осенью 1830 г. Лермонтовъ поступилъ по экзамену на нравственно-политическое отдѣленіе Московскаго университета, откуда перешель вскорѣ на словесное. Въ университетѣ поэтъ пробылъ всего два года и въ серединѣ 1832 г., по причинамъ, не вполнѣ выясненнымъ, покинулъ его. Университетъ мало далъ Лермонтову, такъ какъ въ это время находился въ очень печальному состояніи. Герценъ въ *«Быломъ и Думахъ»* охарактеризовалъ тогдашнихъ московскихъ

профессоровъ, громадное большинство которыхъ изъ года въ годь перечитывало по тетрадкѣ свои лекціи. Ни знаній, ни возбужденія умственной энергіи и идеалистическихъ стремленій университетъ не давалъ; молодые люди, отправленные за границу для подготовки къ профессурѣ и потомъ обновившіе университетъ, еще не возвращались. Только одинъ изъ молодыхъ профессоровъ—Надеждинъ—сталъ читать въ послѣднее полугодіе студенчества Лермонтова. Послѣдній предполагалъ перейти въ 1832 г. въ Петербургскій университетъ, но здѣсь отъ него потребовали поступленія снова на 1-й курсъ; кромѣ того, предполагалось прибавить 4-й годъ къ трехлѣтнему тогда пребыванію въ университетѣ, о чёмъ Лермонтовъ отзывался въ одномъ письмѣ такъ: «...прибавляются еще годъ къ тремъ невыносимымъ годамъ». Поступленіе Лермонтова въ Петербургскій университетъ не состоялось, и вмѣсто того онъ поступилъ въ школу гвардейскихъ подпрапорщиковъ и кавалерийскихъ юнкеровъ (теперь Николаевское кавалерийское училище). На бѣду Лермонтова, общій духъ и режимъ этого заведенія какъ разъ въ это время рѣзко измѣнился къ худшему. До этого времени школа была лучшимъ военнымъ учебнымъ заведеніемъ, и умственные интересы стояли въ ней высоко. Но ко времени поступленія Лермонтова въ школѣ произошли перемѣны, и военная исправка выступила на первый планъ, а умственное развитие юнкеровъ значительно понизилось. Время, проведенное въ школѣ—до ноября 1834 г.—было довольно печальнымъ для Лермонтова; сойтись ему въ школѣ было не съ кѣмъ, и, отдаваясь по временамъ кутежамъ въ средѣ товарищей, онъ носилъ, однако, въ душѣ глубокое недовольство и самимъ собою и окружающей средой. Петербургское общество не удовлетворяло Лермонтова, и онъ уже въ это время сталъ выражать то отношеніе къ нему, которое впослѣдствіи съ чрезвычайною силою вылилось въ цѣломъ рядѣ лучшихъ лирическихъ стихотвореній Лермонтова. «Назвать вамъ всѣхъ, у кого я бываю?» пишетъ Лермонтовъ въ августѣ 1832 г. своему другу М. А. Лопухиной, «я самъ та особа, у которой бываю съ наибольшимъ удовольствиемъ... Видѣль я образчики здѣшняго общества: дамъ очень любезныхъ, молодыхъ людей очень вѣжливыхъ; все они вмѣстѣ производятъ на меня впечатлѣніе французского сада, очень тѣснаго и простого, но въ которомъ въ первый разъ можно заблудиться, потому что ножницы хозяина уничтожили всякое различіе между де-

ревьями». Мы видимъ, что уже въ эту пору Лермонтовъ возмущался отсутствиемъ въ свѣтскомъ обществѣ рѣзко проявленныхъ индивидуальностей, однообразiemъ людей съ ихъ «затверженными рѣчами». Немудрено, что однимъ изъ любимыхъ литературныхъ героевъ Лермонтова былъ уразумѣвшій мелкость и низость толпы Гамлетъ, которому онъ посвятилъ въ 1831 году цѣлое письмо къ своей теткѣ М. А. Шань-Гирей. Пребываніе въ школѣ, шумная и пестрая, хотя по существу и безодержательная петербургская жизнь отвлекли нѣсколько Лермонтова отъ его искренней и сильной любви къ В. А. Лопухиной, выпедшей потомъ замужъ за Бахметева. Любовью къ Лопухиной внушенъ Лермонтову рядъ прекрасныхъ лирическихъ стихотвореній: «Къ Л...» («У ногъ другихъ не забывалъ») — (1831), «Любовь мертвѣца» (1840) и другія. Ей посвящена, вѣроятно, поэма «Измаиль-бей»; къ ея дочери относятъ стихотвореніе 1840 г. «Ребенку». Ее надо разумѣть подъ княгиней Вѣрой Лиговской въ романѣ «Княгиня Лиговская» и въ драмѣ «Два брата». Про послѣднюю драму Лермонтовъ писалъ С. А. Раевскому: «пишу четвертый актъ новой драмы, взятой изъ происшествія, случившагося со мною въ Москвѣ». Въ ноябрѣ 1834 г. Лермонтовъ кончаетъ школу и выпускается корнетомъ лейбъ-гвардіи гусарского полка. Годы, проведенные въ школѣ, не были полезны для развитія ума и таланта поэта, и онъ самъ это признавалъ. Въ письмѣ Лермонтова къ М. А. Лопухиной отъ августа 1833 г., между прочимъ, читаемъ: «Я счастливѣе, чѣмъ когда-либо, веселѣе любого пьяницы, распѣвающаго на улицѣ! Васъ коробить отъ этихъ выражений; но увы! скажи, съ кѣмъ ты водишься, — и я скажу, кто ты! (курсивъ Лермонтова). Ко времени окончанія школы Лермонтовъ былъ уже авторомъ большой «восточной повѣсти» въ стихахъ «Измаиль-бей» (1832) прекрасной маленькой поэмы «Хаджи-Абрекъ» (1833—4) и ряда замѣчательныхъ лирическихъ стихотвореній. Отмѣтимъ изъ ранней лирики Лермонтова: знаменитое стихотвореніе «Ангель» (1831), «Къ Л...» (1831), «Парусъ» (1832), «Онъ былъ рожденъ для счастья, для надеждъ» (1832). Часть послѣдняго стихотворенія вошла потомъ въ знаменитую «Думу» 1838 г., а часть въ одно изъ совершенѣйшихъ произведеній Лермонтова — «Памяти кн. А. И. Одоевскаго» (1839). Такое перенесеніе частей изъ болѣе раннихъ произведеній въ позднѣйшія не разъ имѣло мѣсто у Лермонтова; напр.,

къ 1830 году относится маленькая поэма «Исповѣдь», цѣлыхъ части которой вошли потомъ въ оставшуюся ненапечатанной при жизни Лермонтова поэму «Бояринъ Орша» (1835—6), а оттуда взяты для поэмы «Мцири» (1840). Два слишкомъ года провелъ Лермонтовъ послѣ выпуска въ офицеры въ петербургской свѣтской средѣ, продолжая относиться къ ней съ тѣмъ презрѣніемъ, выраженіе котораго мы уже раньше видѣли. Въ обществѣ онъ пріобрѣтаетъ репутацію самоувѣреннаго, непріятнаго человѣка и злого насыщника и разными своими выходками поддерживаетъ эту репутацію. Не сходясь съ людьми (кромѣ немногихъ своихъ друзей), Лермонтовъ, однако, вовсе не былъ по существу ни циникомъ, ни человѣконенавистникомъ, какимъ онъ многимъ казался; напротивъ, въ душѣ его были чрезвычайно сильны идеальные стремленія, какъ мы въ этомъ убѣдимся при знакомствѣ съ лирикой Лермонтова, пріобрѣтающей съ 1836 г. значительную художественную цѣнность. Въ 1834—5 г. г. Лермонтовъ пишетъ свою четвертую драму — «Маскарадъ», которой цензура, однако, не пропустила на сцену «по причинѣ слишкомъ рѣзкихъ страстей и характеровъ и также потому, что въ ней добродѣтель недостаточно награждена». Желая добиться постановки драмы, Лермонтовъ передѣлалъ ее, но и въ этой второй редакціи драма представлена не была. Это предвидѣлъ поэтъ, писавшій своему другу С. А. Раевскому въ январь 1836 г. изъ Тарханъ, куда Ѣздилъ на три мѣсяца въ отпускъ: «Я опасаюсь, что моего «Арбенина» снова не пропустили». Въ 1836 г. написана пятая и послѣдняя драма Лермонтова — «Два брата». Въ томъ же году поэтъ пишетъ романъ «Княгиня Лиговская», главнымъ героемъ котораго является будущій «герой нашего времени» Печоринъ. Въ эти же годы идетъ работа надъ «Демономъ» и начинаетъ набрасываться «Пѣсня про купца Калашникова». Мы видимъ, что ко времени смерти Пушкина Лермонтовъ являлся уже авторомъ многихъ замѣчательныхъ произведеній. Изъ нихъ поэтъ печаталъ далеко не все; онъ «геній свой воспитывалъ въ тиши», и потому для большинства была неожиданной та красота и сила, съ которой проявился этотъ геній въ отклике Лермонтова на гибель Пушкина. Стихотвореніе «Смерть поэта» состояло сначала изъ 56 стиховъ (до словъ: «А вы, надменные потомки»), и въ такомъ видѣ было одобрено императоромъ Николаемъ, что, конечно, заставило молчать тотъ придворно-свѣтской кругъ, который погубилъ Пушкина.

и почуялъ злого врага въ Лермонтовѣ. Встрѣтивъ, однако, со стороны одного изъ своихъ родственниковъ, камерь-юнкера Столышина, защиту образа дѣйствій Дантеса, Лермонтовъ излилъ свое негодованіе въ заключительныхъ 16-и стихахъ, поистинѣ «желѣзныхъ, облитыхъ горечью и злостью», и тогда враги поэта добились его ареста. 25 февраля 1837 г. Лермонтовъ по Высочайшему повелѣнію былъ переведенъ на Кавказъ, въ Нижегородскій драгунскій полкъ. Пострадаль и другъ поэта С. А. Раевскій, которому за распространеніе «непозволительныхъ стиховъ» корнета Л.-Гв. гусарскаго полка Лермонтова» пришлось около двухъ лѣтъ пробыть въ ссылкѣ въ Олонецкой губерніи. На Кавказѣ Лермонтовъ пробылъ до октября того же 1837 г. Кавказъ подействовалъ на поэта освѣжающимъ образомъ. Въ письмѣ къ С. А. Раевскому, въ концѣ 1837 г., Лермонтовъ описываетъ свое восхожденіе на Крестовую гору и говорить: «оттуда видна половина Грузіи, какъ на блудечкѣ, и, право, я не берусь объяснить или описать этого удивительного чувства: для меня горный воздухъ —бальзамъ; хандра къ чорту, сердце бьется, грудь высоко дышитъ—ничего не надо въ эту минуту; такъ сидѣлъ бы да смотрѣлъ цѣлую жизнь.» Поэтъ принималъ участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ и много путешествовалъ. «Я находился», пишетъ онъ Раевскому, «въ безпрерывномъ странствованіи, то на перекладной, то верхомъ; изъѣздилъ Линію всю вдоль, отъ Кизляра до Тамани, переѣхалъ горы, былъ въ Шушѣ, въ Кубѣ, въ Шемахѣ, въ Кахетіи, одѣтый по-чиркесски, съ ружьемъ за плечами; почевалъ въ чистомъ полѣ, засыпалъ подъ крикъ шакаловъ, Ѣль чурекъ, пиль кахетинское даже... Ты видишь изъ этого, что я сдѣлался ужаснымъ бродягой; а, право, я расположень къ этому роду жизни». Изъ произведеній, написанныхъ поэтомъ во время этой первой ссылки и попавшихъ въ печать, слѣдуетъ отмѣтить «Бородино» и «Пѣсню про купца Калашникова». Въ октябрѣ 1837 г. Лермонтовъ былъ переведенъ въ Гродненскій гусарскій полкъ, стоявшій въ Новгородѣ; поэтъ неохотно уѣзжалъ туда. До февраля 1838 г. Лермонтовъ пробылъ въ Петербургѣ, который произвелъ на него прежнее отрицательное впечатлѣніе; проживъ затѣмъ очень недолго въ Новгородѣ, поэтъ весною того же 1838 г. былъ возвращенъ, по ходатайству бабушки, въ Петербургъ. Въ письмѣ къ М. А. Лопухиной онъ подробно описываетъ первое время нового своего пребыванія въ Петербургѣ; на него теперь была «мода»,

онъ всюду бывалъ, за нимъ ухаживали; иѣкоторое время это его тѣшило, но изъ указанного письма видно, что онъ ожидалъ въ будущемъ неизбѣжнаго разрыва со свѣтскимъ обществомъ и собирался воспользоваться своими наблюденіями надъ его жизнью для сатирическихъ выходокъ противъ него. Петербургская жизнь Лермонтова продолжалась до весны 1840 г.; за это время онъ создалъ цѣлый рядъ превосходныхъ лирическихъ стихотвореній. Въ началѣ 1840 г. Лермонтовъ изъ-за свѣтской сплетни дрался на дуэли съ сыномъ французского посланника, виконтомъ де-Барантомъ, былъ за эту дуэль арестованъ, отданъ подъ судъ и резолюціей Государя переведенъ въ Тенгинскій пѣхотный полкъ. Это была вторая ссылка Лермонтова на Кавказъ. Отношеніе поэта къ свѣтскому обществу и поведеніе въ немъ оставались прежними. Попрежнему лишь немногіе знали настоящаго, не замаскированного Лермонтова. Между прочимъ, въ то время, какъ Лермонтовъ находился на гауптвахтѣ по дѣлу о дуэли съ Барантомъ, его навѣстилъ тамъ Бѣлинскій, который передаетъ, что въ первыя минуты свиданія чувствовалъ себя съ Лермонтовымъ крайне неловко, но когда зашелъ разговоръ объ англійской литературѣ, и поэтъ оживился, то его нельзя было узнать. «Лицо его приняло натуральное выраженіе, онъ былъ въ эту минуту самимъ собою... Въ словахъ его было столько истины, глубины и простоты! Я въ первый разъ видѣлъ настоящаго Лермонтова, какимъ я всегда желалъ его видѣть». Бѣлинскій заканчиваетъ свой разсказъ объ этомъ свиданіи выраженіемъ увѣренности, что Лермонтовъ—«глубокій и могучій духъ», будущій «русскій поэтъ съ Ивана Великаго».

Во время второй ссылки Лермонтовъ отличился своею храбростью въ сраженіи при Валерикѣ, которое онъ и описалъ въ извѣстномъ стихотвореніи подъ этимъ названіемъ. Несмотря, однако, на чрезвычайно лестный отзывъ начальника отряда, генерала Головѣева, Лермонтовъ не получилъ никакой награды. «Изъ Валерикскаго представленія меня здѣсь вычеркнули», писалъ онъ Бибикову изъ Петербурга въ февраль 1841 г., «такъ что даже я не буду имѣть утѣшнія носить красной ленточки, когда надѣну штатскій сюртукъ». Желаніе выйти въ отставку Лермонтовъ высказывалъ еще въ то время, когда получилъ переводъ въ Гродненскій полкъ. Его, однако, не выпускали. Шефъ жандармовъ гр. Бенкendorfъ предпочи-

талъ, чтобы Лермонтовъ оставался на Кавказѣ, и даже отдалъ распоряженіе не прикомандировывать его больше къ экспедиціямъ противъ горцевъ, чтобы отнять у него случай «выслужить» отставку. Во время второй ссылки Лермонтовъ закончилъ свой романъ «Герой нашего времени» и написалъ цѣлый рядъ замѣчательныхъ лирическихъ стихотвореній. Съ декабря 1840 г. по май 1841 г. поэтъ прожилъ въ отпуску въ Петербургѣ, откуда отправился къ мѣсту службы въ Пятигорскъ. Здѣсь, въ домѣ генерала Верзилина, поэтъ встрѣчался, между прочимъ, съ маюромъ Мартыновымъ, надъ которымъ стала изощрять свое остроуміе, давая ему разныя смѣшныя прозвища. Обидчивый Мартыновъ вызвалъ Лермонтова на дуэль, на которой и убилъ его 15 июля 1841 г. Тѣло поэта перевезено потомъ въ Тарханы.

## II.

### Творчество.—Лирика.

**Творчество.** Лермонтовъ лирикъ по преимуществу. На всемъ, что онъ создалъ за свою недолгую 27-лѣтнюю жизнь, лежитъ чрезвычайно рѣзкій субъективный отпечатокъ. Хотя мы имѣемъ пять драмъ Лермонтова и цѣлый рядъ эпическихъ его произведеній, но и въ эти формы вложено, въ сущности, лирическое содержаніе. При такихъ условіяхъ лирику, въ которой поэтъ, не стѣсняясь формой, выражаетъ свой внутренній міръ, приходится считать главною, центральною частью литературного наслѣдія Лермонтова, и именно съ лирики необходимо начать анализъ главнѣйшихъ его произведеній. Ознакомившись съ основными мотивами лирики Лермонтова, мы гораздо яснѣе поймемъ и эпическая его произведенія, въ главной своей части представляющія собою разработку въ иной формѣ тѣхъ же самыхъ мотивовъ.

**Лирика. Мотивы протеста.** Мы уже говорили, что среди раннихъ лирическихъ стихотвореній Лермонтова, большою частью подражательныхъ и блѣдныхъ сравнительно съ послѣдующимъ періодомъ, встречаются однако яркія и сильныя произведенія, вполнѣ достойныя оригинального таланта Лермонтова. Изъ этихъ стихотвореній нужно выдѣлить одно, въ которомъ мы находимъ какъ бы пророче-

ство о будущемъ характерѣ всей лермонтовской лирики, и которое могло бы служить эпиграфомъ къ ней. Это—«Ангель» (1831). Здѣсь Лермонтовъ изображаетъ судьбу человѣка, душа котораго отъ рожденія тоскуетъ по небесной своей родинѣ. Она наслушалась звуковъ пѣсни ангела, неспшаго ее на землю, въ «міръ печали и слезъ». Эти звуки остались въ душѣ, и «скучныя пѣсни земли» не могутъ замѣнить ей этой райской пѣсни, а потому она «томится на свѣтѣ, желаніемъ чуднымъ полна». Мы видимъ, что въ данномъ стихотвореніи Лермонтовъ художественно противопоставилъ два міра: міръ идеала и міръ дѣйствительности, и выразилъ ту тоску и неудовлетворенность, которую неизбѣжно испытываетъ человѣкъ съ сильнымъ стремленіемъ къ идеалу. Мотивъ разлада съ «толпой» и недовольства жизнью, интересами и стремленіями большинства сталъ господствующимъ въ лирикѣ Лермонтова и проходитъ красною нитью чрезъ всѣ лучшія его произведенія, которая, начиная съ 1836—7 г. г., слѣдуютъ непрерывной вереницей, образуя цѣлую сокровищницу лирической поэзіи. Прослѣдимъ рядъ стихотвореній Лермонтова, въ которыхъ протестъ противъ мелочности, пошлости, эгоизма, пустоты людской толпы нашелъ наиболѣе сильное выраженіе. Вотъ предъ нами «безчувственная толпа», «презрѣвшая и забывшая, какъ освистанного актера», умирающаго гладіатора («Умирающій гладіаторъ», 1836). Вотъ та же «безчувственная толпа», равнодушно губящая Пушкина и не могущая, вмѣстѣ съ Данте, понять, на что она руку поднимаетъ («Смерть поэта», 1837). Въ данномъ стихотвореніи, помимо геніальной силы выраженія, можно изумляться глубоко-вѣрному пониманію сущности судьбы Пушкина. Мы знаемъ, что первоисточникъ трагической гибели послѣдняго заключался именно въ томъ, что онъ «вступилъ въ этотъ свѣтъ, завистливый и душный для сердца вольного и пламенныхъ страстей»; «руку далъ клеветникамъ безбожнымъ» и «повѣрилъ словамъ и ласкамъ ложнымъ». Въ 1838 г. «безчувственная толпа» находить себѣ безпощадную характеристику въ знаменитой «Думѣ». Здѣсь Лермонтовъ выносить суровый приговоръ своему поколѣнію. По его словамъ, оно лишено способности глубоко чувствовать и страстью къ чему-нибудь стремиться. Оно не видитъ цѣли жизни и чувствуетъ себя въ ней не хозяевами, а какими-то гостями на чужомъ празднике. Безплодный скептицизмъ разъѣдаетъ души молодыхъ еще и сильныхъ людей, и силы ихъ не

находять себѣ примѣненія; они «къ гробу спѣшать безъ счастья и безъ славы» и «надъ міромъ пройдутъ безъ шума и слѣда, не бро-  
сивши вѣкамъ ни мысли плодовитой, ни геніемъ начатаго труда». Трудно сомнѣваться, что эта мрачная характеристика должна быть относима прежде всего къ свѣтскому обществу, окружавшему Лермонтова. Вызывалъ немало недоумѣній 17-й стихъ «Думы». О какой наукѣ, изсушившей умы, можно говорить въ примѣненіи къ рус-  
скому обществу 30-хъ годовъ? Можно думать, что «наука» для Лер-  
монтова является здѣсь синонимомъ исключительно умственнаго раз-  
витія, въ ущербъ развитію чувства и воли. Кромѣ того, не нужно забывать, что та наука, которую воспринималъ самъ Лермонтовъ въ университѣтѣ, была дѣйствительно бесплодной. Слагавшихся круж-  
ковъ мыслящей молодежи, изъ которыхъ вышли потомъ наши луч-  
шіе общественные и литературные дѣятели 40-хъ годовъ, Лермонтовъ не зналъ и въ разсчетѣ не принялъ. То же самое отношеніе къ «толпѣ», какое проявлено въ трехъ сейчасъ указанныхъ стихотво-  
реніяхъ, находимъ и въ стихотвореніи 1838 г. «Не вѣрь себѣ». Поэтъ не долженъ выходить со своей подругой-музой «на шумный  
шары людей», не долженъ «выставлять гной душевныхъ ранъ на диво  
черни простодушной». Съ необыкновенною силой выражено негодо-  
раніе на «пеструю толпу» въ стихотвореніи «Первое января» (1840). Поэтъ изображаетъ себя на шумномъ празднике. Вокругъ него люди,  
шепчущи «затверженныя рѣчи», люди, похожіе одинъ на другого,  
скучные и притиснутые къ землѣ своими мелкими помыслами и же-  
ланіями. Поэтъ уносится отъ этихъ людей въ то «дивное царство»,  
гдѣ онъ «всесильный господинъ»—въ царство мечты. Рисуя своимъ  
воображеніемъ чудную картину сельской природы, поэтъ олицетво-  
ряетъ свою мечту въ видѣ живого существа «съ глазами, полными  
лазурнаго отя, съ улыбкой розовой, какъ молодого дня за рощей  
первое сіянье». Эта мечта такъ непохожа на сѣрую дѣйствитель-  
ность, окружающую поэта, что онъ долго не въ состояніи «опомниться  
и узнать обманъ»; когда же онъ возвращается къ окружающимъ, то  
глубокое несходство ихъ съ его мечтами заставляетъ его съ особой  
силой презирать ихъ и стремиться дерзко «бросить имъ въ глаза  
желѣзный стихъ, облитый горечью и злостью». Разладъ съ окружаю-  
щей средой и тоска по идеалу выразились также въ 1840 г. въ пре-  
восходномъ стихотвореніи «Сосна» (изъ Гейне). Къ тому же году

относится чрезвычайно сильная сатира «Последнее веселье». Лермонтовъ негодуетъ на «вздорную толпу» парижанъ, добившихся перенесенія праха Наполеона I-го съ пустынного острова Св. Елены въ шумную столицу. Рѣдко даже у Лермонтова противоположеніе сильной личности мелкой толпѣ достигало такой рѣзкости. Въ 1841 г. томленіе «до срока созревшаго и выросшаго» человѣка среди людей, его не понимающихъ, выражалось въ стихотвореніи «Дубовый листокъ оторвался». Тотъ же основной мотивъ разлада съ средой, доведенного до трагического взаимнаго непониманія, разработанъ въ знаменитомъ «Пророкѣ» (1841). Намѣченный нами рядъ стихотвореній является выражениемъ постояннаго отношенія Лермонтова къ большинству людей, съ которыми ему приходилось сталкиваться. Это отношеніе, наряду съ лирикой, выражено, какъ мы знаемъ, и въ письмахъ, и въ раннихъ драмахъ Лермонтова. Однако, въ указанныхъ нами до сихъ поръ лирическихъ стихотвореніяхъ разладъ съ людьми и тоска по идеалу ни разу не доводятъ поэта до полнаго отчаянія и до готовности умереть. Къ 1840 и 1841 годамъ относятся и такія стихотворенія, гдѣ выражено именно полное отчаяніе, жажда спокойствія вдали отъ людей и даже жажда смерти. Это стихотворенія: «И скучно и грустно», «Выхожу одинъ я на дорогу» и «Благодарность». Здѣсь запечатлены моменты наивысшаго напряженія того чувства недовольства людьми и окружающими условіями, которое выражено во всѣхъ охарактеризованныхъ произведеніяхъ.

Разладъ со средой имѣлъ у Лермонтова источникомъ, какъ мы уже говорили, несоответствіе этой среды тому идеалу, который поэтъ носилъ въ душѣ. Идеаломъ человѣка являлся для него тотъ, кто умѣетъ глубоко чувствовать, страстью стремиться и не бояться препятствій на своемъ жизненному пути, у кого есть цѣль, осмысливающая его жизнь. И нужно сказать, что во многихъ стихотвореніяхъ послѣднихъ годовъ протестъ Лермонтова противъ людской пошлости выраженъ съ силой, не уступающей байроновской. Байрона Лермонтовъ читалъ и любилъ съ дѣтства, но уже очень рано, въ 1831 г., заявилъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, что при чертахъ сходства съ творчествомъ Байрона его поэзія, однако, имѣть то глубокое отличіе отъ поэзіи Байрона, что у него «русская душа». («Нѣть, я не Байронъ»).

**Мотивы примиренія.** Если Лермонтовъ бичевалъ «толпу» во имя

идеала, то естественно, что мятежный духъ его успокаивался и мирился, хотя бы на время, съ дѣйствительностью и людьми, когда онъ видѣлъ въ жизни хоть какое-нибудь отраженіе идеала, когда (пользуясь выражениемъ стихотворенія «Ангель») душа его среди «скучныхъ пѣсенъ земли» различала «звуки небесъ». И дѣйственно, намѣченный нами рядъ стихотвореній непримирамо-протестующаго характера постоянно прерывается у Лермонтова выраженіемъ временнаго умиротворенія души, выраженіемъ трогательнаго чувства любви, дружбы или религіознаго порыва. Еще Бѣлинскій въ своей статьѣ о стихотвореніяхъ Лермонтова (1841) справедливо указалъ, что такое чувство «трогаетъ въ голубиной натурѣ человѣка; но въ духѣ мощному и гордому, въ натурѣ львиной—все это больше, чѣмъ умилительно». Прослѣдимъ главнѣйшія стихотворенія указаннаго характера. Въ 1836 г. или въ началѣ 1837 г. написана знаменитая «Вѣтка Палестины»; относительно этого стихотворенія есть извѣстіе, что оно создано Лермонтовымъ во время ожиданія одного вліятельнаго лица, къ которому поэтъ пріѣхалъ по дѣлу о стихотвореніи на смерть Пушкина. Стихотвореніе было внушено видомъ палестинскихъ пальмъ въ образной этого лица и написано на той же бумажкѣ, на которой Лермонтовъ оставилъ записку, не дождавшись хозяина дома. «Все полно мира и отрады» въ этомъ религіозномъ гимнѣ. Религіозное чувство, глубокое и чистое, вылилось и въ «Молитвѣ» («Въ минуту жизни трудную», 1839). Здѣсь запечатлѣна одна изъ минутъ, когда съ души поэта «скатывалось бремя». Умиленное чувство выразилось въ другой «Молитвѣ» («Я, Матерь Божія, нынѣ съ молитвою», 1837); къ этому стихотворенію непосредственно и относятся вышеупомянутыя слова Бѣлинского. Наряду съ порывомъ религіознымъ и въ тѣсной связи съ нимъ являлись у Лермонтова моменты примиренія съ жизнью и людьми благодаря красотѣ природы и красотѣ человѣческой души. Въ стихотвореніи «Когда волнуется желтѣющая нива» (1837) выражено умиротвореніе души поэта при созерцаніи гармоніи, царствующей въ природѣ. Стихотвореніе это, по формѣ скорѣе эпическое, такъ какъ первые 12 стиховъ представляютъ собою описание картинъ природы, является, однако, по существу глубоко лирическимъ, такъ какъ вся смысль состоять въ указаніи на то, какъ изображенная поэтомъ красота природы дѣйствуетъ на его измученную душу. Мор-

цины расходятся на его члѣбъ, и онъ не только мирится съ людьми, но и ощущаетъ присутствіе Бога. Наконецъ, къ 1839 и 1840 г.г. принадлежать два стихотворенія Лермонтова, доказывающихъ, съ какою чуткостью отзывался онъ на каждое живое движение человѣческой души. Томясь «дикимъ шепотомъ затверженныхъ рѣчей», поэтъ умѣль съ глубокой нѣжностью отдавать свое сердце тѣмъ, кто не былъ похожъ на презираемую имъ «вздорную толпу, довольную собою». Къ числу такихъ людей принадлежала, между прочимъ, кн. Александръ Ивановичъ Одоевскій, поэтъ-декабристъ, сосланный въ Сибирь, а потомъ, по возвращеніи, служившій съ Лермонтовыми на Кавказѣ. Вѣсть о смерти Одоевскаго, въ 1839 г., вызвала у Лермонтова стихотвореніе, принадлежащее къ прекраснѣйшимъ созданіямъ русской лирики. Простое и необыкновенно трогательное обращеніе къ безвременно погившему «милому Сашѣ» заканчивается величественной картиной природы, которую Одоевскій любилъ больше, чѣмъ свѣтскую толпу. Судьба соединила вокругъ его могилы, по словамъ Лермонтова, все, что онъ любилъ при жизни. Замѣтимъ, что Лермонтовъ любилъ описывать могилы своихъ героевъ, находя какую-то таинственную связь между душою ихъ и ихъ послѣднимъ земнымъ пристанищемъ. Кромѣ описанія могилы Одоевскаго, мы имѣемъ изображеніе могилы Наполеона («Послѣднее новоселье»), Мцири, купца Калашникова. Откликаясь на «звонкій дѣтскій смѣхъ и рѣчь живую» людей, сберегшихъ, подобно Одоевскому, идеальныя стремленія души, Лермонтовъ вообще жадно ловилъ вдохновенныя рѣчи среди ненавистныхъ ему «затверженныхъ рѣчей». Этими «затверженными рѣчами» поэтъ противопоставляетъ иные рѣчи, «значеніе» которыхъ «темно иль ничтожно», но которыхъ нельзя внимать безъ волненія («Есть рѣчи», 1840). Это рѣчи людей, глубоко чувствующихъ и проникнутыхъ истинно человѣческими стремленіями. На такія рѣчи поэтъ отзовется, не кончивъ молитвы, и послѣдить изъ боя навстрѣчу ихъ звукамъ.

Въ тѣсной связи съ охарактеризованными основными мотивами лирики Лермонтова стоять его эпическія произведенія, какъ въ стихахъ, такъ и въ прозѣ. Прежде, чѣмъ перейти къ ихъ анализу, слѣдуетъ остановиться на взглядахъ Лермонтова на поэтическое творчество, выразившемся въ его лирическихъ стихотвореніяхъ: «Поэтъ» (1838) и «Не вѣрь себѣ» (1839) и въ сценѣ «Журналистъ», читатель

и писатель» (1840). Мы уже приводили изъ второго стихотворенія совѣтъ Лермонтова молодому мечтателю «не выставлять гноя своихъ душевныхъ ранъ на диво черни простодушной». При томъ взглѣдъ на современное ему общество, какой Лермонтовъ настойчиво выражалъ въ своихъ лирическихъ (а также, какъ увидимъ дальше, и эпическихъ) произведеніяхъ, вполнѣ понятно, что онъ не ждалъ пониманія отъ большинства въ этомъ обществѣ; но такого положенія, такого непониманія обществомъ задушевныхъ стремленій поэта Лермонтовъ, подобно Пушкину, не считалъ нормальнымъ и неизбѣжнымъ. Вмѣстѣ съ Баратынскимъ («Риൗма») Лермонтовъ вспоминалъ то время, когда стихъ поэта, «какъ Божій духъ, носился надъ толпой»; когда «мѣрный звукъ его могучихъ словъ» «нуженъ былъ толпѣ, какъ чаша для пировъ, какъ єиміамъ въ часы молитвы». Это время единенія поэта съ народомъ прошло; современное пустое и безздѣйное общество не нуждается въ поэзіи; послѣдняя изъ потребности обратилась въ забаву, и толпѣ нравится только такое произведеніе, которое облечено въ красивую и блестящую внѣшнюю форму. Толпа требуетъ отъ поэта оскорбительныхъ для его произведенія прикрасъ, подобно человѣку, украсившему боевой кинжалъ «нарядомъ чуждымъ и постыднымъ»—золотой отдѣлкой. Нѣть ничего удивительнаго, что такимъ читателямъ истинный поэтъ не покажетъ своихъ твореній. Ни тѣхъ изъ нихъ, въ которыхъ выразились «мечты благородныя», очищающія міръ въ глазахъ поэта, ни тѣхъ, въ которыхъ онъ «приличьемъ скрашенный порокъ смѣло продаетъ позору», онъ не рѣшится показать свѣту («Журналистъ, читатель и писатель»). Свѣту «осмѣять и забудеть» идеальные мечты поэта и «бранью назоветъ коварной» его пророческое обличительное слово.

### III.

#### Эпическія произведенія.

**Эпосъ. Поэмы.** Изъ эпическихъ произведеній Лермонтова, мелкихъ по объему, слѣдуетъ указать: «Бородино» (1837), «Три пальмы» (1839), «Дары Терека» (1839), «Бѣглецъ» (1839), «Казачья колыбельная пѣсня», «Воздушный корабль» (1840), «Валерикъ» (1840), «Споръ» (1841). Нѣкоторая часть изъ нихъ посвящена изоб-

раженію военныхъ событій, переданныхъ поэтомъ съ тою простотой и въ то же время яркостью, которая всегда отличали эпический стиль Лермонтова, какъ въ стихахъ, такъ и въ прозѣ. Мы уже указывали выше, что «Три пальмы» представляютъ собою разработку одного изъ пушкинскихъ «Подражаній Корану». Лермонтовъ вложилъ, однако, въ свое стихотвореніе одну изъ излюбленныхъ своихъ мыслей—о неумѣни человѣка пользоваться дарами прекрасной природы и о томъ, что человѣкъ вносить въ жизнь этой природы разрушеніе и смерть. Обратимся къ болѣе крупнымъ по объему эпическимъ произведеніямъ Лермонтова, къ его поэмамъ. Ихъ довольно много, но мы не будемъ касаться раннихъ поэмъ, такъ какъ въ нихъ, болѣею частью, намѣчалось то, что потомъ выразилось гораздо полнѣе и художественнѣе въ болѣе зрѣлый періодъ творчества Лермонтова. Остановимся лишь на трехъ поэмахъ—«Бояринъ Орша», «Мцири» и «Демонъ». Поэма «Бояринъ Орша» (1835—6) не была напечатана Лермонтовымъ, отличавшимся вообще чрезвычайно строгостью къ своимъ произведеніямъ. Часть стиховъ изъ этой поэмы перешла въ поэму «Мцири». Не трудно замѣтить, что въ лицѣ боярина Орши, а также и въ лицѣ Арсенія Лермонтовъ изобразилъ людей необыкновенной душевной силы. Бояринъ Орша, наподобіе гоголевскаго Тараса Бульбы, безъ колебанія обрекаетъ на смерть родную dochь, когда убѣждается въ томъ, что она осмѣлилась полюбить Арсенія, «найденыша безъ креста, презрѣннаго раба и сироту». Орша не только забрасываетъ въ рѣку ключъ отъ комнаты dochери, но рѣшается погубить и Арсенія. Въ лицѣ послѣдняго мы, однако, видимъ въ сценѣ монастырскаго суда такого же непреклоннаго человѣка, какъ и самъ Орша. Арсеній не раскаивается въ томъ, что привело его къ гибели. «И ты, и ты, слѣпой старикъ», говоритъ онъ игумену, «когда бъ ея небесный ликъ тебѣ явился хоть во снѣ, ты позавидовалъ бы мнѣ, и въ изступленыи, можетъ быть, рѣшился бѣ также согрѣшить; и клятвы бѣ грозныя забыть, и перенестъ бы счастливъ бытъ за слово, ласку или взоръ мое мученье, мой позоръ!» Арсеній, очевидно, одинъ изъ тѣхъ людей, которые предпочитаютъ минуту полной и яркой жизни годамъ тусклаго прозябанья. Бѣжавъ изъ монастырской тюрьмы, Арсеній вступаетъ въ ряды польского войска и принимаетъ участіе въ битвѣ съ русскими, на которую ѳдетъ и Орша. Истекая кровью, за минуту до смерти,

Орша съ жестокой ироніей сообщаеть Арсенію, что любимая имъ дѣвшушка въ родномъ домѣ «не ѿсть, не спить; все ждеть да ждеть, покуда милый не придетъ». Арсеній скачеть въ домъ Орши и находитъ кости его дочери. Онъ уѣзжаетъ «безъ думъ, безъ цѣли и труда, одинъ съ тоской во тьмѣ ночной». Исключительная сила натурь Орши и Арсенія не подлежитъ сомнѣнію. Характеръ Арсенія вполнѣ разработанъ въ поэмѣ 1840 г. «Мцири». Здѣсь весь интересъ сосредоточенъ на личности одного героя. Воспитанный въ монастырѣ, герой этотъ страстно стремится извѣдать жизнь, «взглянуть на дальняя поля, узнать, прекрасна ли земля, узнать, для воли иль тюрьмы на этотъ свѣтъ родимся мы». Характерно для Мцири, что онъ убѣжалъ изъ монастыря во время грозы. Онъ наслаждался «дружбой краткой, но живой, межъ бурнымъ сердцемъ и грозой». Три дня, проведенные героемъ поэмы на волѣ, стоили ему жизни. Смертельно раненый въ борьбѣ съ барсомъ, онъ найденъ монахами, принесенъ въ монастырь и сознастъ близкое наступленіе смерти. Онъ, однако, не раскаивается въ своемъ бѣгствѣ; напротивъ, онъ съ восторгомъ вспоминаетъ о времени, проведенномъ на волѣ, и говоритъ, что жизнь его «безъ этихъ трехъ блаженныхъ дней была бѣ печальнѣй и мрачнѣй безсильной старости» того монаха, который выслушиваетъ его предсмертную исповѣдь. Съ жаромъ рассказывается Мцири о тѣхъ красотахъ природы, которыя онъ наблюдалъ въ эти три блаженныхъ дня, и разскажь его замѣчателенъ частыми переходами отъ выраженія бурныхъ и гордыхъ чувствъ къ изображенію мягкихъ, ласкающихъ и умиляющихъ картинъ и настроений. Въ этомъ отношеніи въ данной поэмѣ, какъ въ зеркалѣ, отразилась особенность лермонтовскаго творчества, замѣченная, какъ мы выше видѣли, Бѣлинскимъ. Особенno нѣжной красотой проникнута картина сна Мцири, и въ описание этого сна вставлена изумительная по музыкальности стиха, истинно колыбельная пѣсня рыбки: «Дитя мое, останься здѣсь со мной». Та же способность «бурнаго сердца» Мцири, дружного съ грозой, переживать мягкое и нѣжное чувство выразилась въ трогательномъ изображеніи самимъ умирающимъ героемъ своей будущей могилы. Онъ умретъ съ мыслью о томъ прощальномъ привѣтѣ, который пришлетъ ему Кавказъ съ прохладнымъ вѣтеркомъ,—и, умирая съ этой мыслью, онъ «никого не проклянетъ». Но, изображая свободныхъ, гордыхъ и могучихъ

людей, не похожихъ на мелкую и вздорную толпу, Лермонтовъ съ раннихъ лѣтъ своего творчества мечталъ о созданіи образа еще болѣе могучаго, мрачнаго и непобѣдимаго — образа демона. Въ «Сказкѣ для дѣтей» (1839) Лермонтовъ говоритъ: «Мой юный умъ, бывало, возмущалъ могучій образъ. Межъ иныхъ видѣній, какъ царь, нѣмой и гордый онъ сіялъ такой волшебно-сладкой красотою, что было страшно... И душа тоскою сжималася; и этотъ дикий бредъ преслѣдовалъ мой разумъ много лѣтъ. Но я, разставшись съ про- чими мечтами, и отъ него отдѣлся стихами!» Первый очеркъ «Демона» относится къ 1829 г.; въ 1839 г., какъ видно изъ приведен- ной цитаты, Лермонтовъ считалъ работу надъ «Демономъ» окон- ченной. Такимъ образомъ, на эту работу ушло 10 лѣтъ, и резуль- татомъ ея явилась знаменитая поэма, неразрывно связанныя съ именемъ Лермонтова, какъ характернѣйшее его произведеніе, бле- щущее высокими художественными достоинствами. Превосходны изображенія кавказской природы; безукоризнѣ по богатству риѳмъ и музыкальности стихъ поэмы, мѣстами достигающей не- превзойденной никѣмъ изъ нашихъ поэтовъ красоты. Но главный интересъ поэмы въ образѣ Демона, тѣсно связанномъ, какъ мы дальше убѣдимся, съ нѣкоторыми основными идеями произведеній Лермонтова. Въ началѣ поэмы Демонъ — «духъ изгнанья»; онъ «отверженъ»; зло успѣло ему наскучить, такъ какъ не встрѣчало ни въ комъ сопротивленія, и въ душѣ «изгнанника рая» «толпой тѣсняться» воспоминанія о тѣхъ дняхъ, «когда онъ вѣрилъ и любилъ, счастливый первенецъ творенія». Такимъ образомъ, съ самаго начала поэмы Демонъ является предъ нами не только какъ по- рочный «съятель зла», но и какъ существо, съ тоскою вспоминающее время своей непорочности и страдающее отъ сознанія невозможности вернуться къ ней. Въ душѣ Демона царитъ глубокій разладъ; онъ — своеобразный искатель идеала, и можно предсказать, что если онъ въ чьемъ-нибудь лицѣ найдетъ вопложеніе этого идеала, то такое существо сможетъ дать толчекъ для нравственного возрожденія Де- мона. Однако, онъ «нигдѣ искусству своему не встрѣчалъ сопроти- вленія», и утомленному мелкостью и однообразiemъ людской толпы взору Демона не на комъ было отдохнуть. «И все, что предъ собой онъ видѣлъ, онъ презиралъ, онъ ненавидѣлъ». Но вотъ взглянь Демона остановился на чистой и прекрасной дѣвушкѣ — дочери

князя Гудала, Тамарѣ, ждущей своего жениха и покидающей завтра съ мужемъ отцовскій домъ. Образъ Тамары пробудилъ и усилилъ въ душѣ Демона смутно бродившее стремленіе вернуться къ добру. «Нѣмой души его пустыню наполнилъ благодатный звукъ, и вновь постигнуль онъ святыню любви, добра и красоты». Съ этихъ поръ Демонъ избралъ Тамару средствомъ для своего нравственного возрожденія. Сближеніе съ нею, казалось ему, возвратить его «добру и небесамъ». Но чтобы сблизиться съ Тамарой, нужно погубить ея жениха, и съ этого злого дѣла начинаетъ Демонъ свое возвращеніе къ добру. По его коварному совѣту женихъ Тамары «презрѣль обычай прадѣдовъ своихъ», не совершилъ у часовни святой молитвы, «оберегавшей отъ мусульманского кинжала», и вѣрный конь пріеъсъ на свадебный пиръ въ домъ Гудала лишь трупъ молодого князя. Голосъ невидимаго Демона, не переставая, смущаетъ бѣдную княжну, которая спасается отъ этого голоса въ монастырь. Но и тамъ Демонъ не покидаетъ своей избранницы и наконецъ проникаетъ въ ея келью. «И входить онъ, любить готовый, съ душой, открытой для добра, и мыслить онъ, что жизни новой пришла же-ланская пора». Эти слова Лермонтова указываютъ на то, что Демонъ продолжаетъ вполнѣ искренно вѣрить въ то, что любовь Тамары очистить и возродить его мрачную душу. Искренна и клятва Демона; онъ, дѣйствительно, рвется къ «жизни новой». Но оказывается, что бываетъ такая граница порока, перейдя которую невозможно вернуться къ добру. Прикосновеніе Демона къ Тамарѣ губить послѣднюю, но Демона любовь Тамары не можетъ уже спасти. Надежды Демона сдѣлать Тамару «царицей міра» разбиты. «Слѣды небеснаго огня» на челѣ отверженца слишкомъ глубоки, и никакая «слеза раскаянья» не въ состояніи ихъ стереть. Жребій Демона не отвратимъ; ангель уносить душу Тамары, для которой «открылся рай», а Демонъ «проклясть, побѣжденный, мечты безумныя свои, и вновь остался... надменный, одинъ, какъ прежде, во вселенной, безъ упованья и любви». Надъ Демономъ тяготѣть проклятие, и этого проклятия онъ смыть не можетъ. Толпа людей, мелкихъ и ничтожныхъ, не стоить его могучихъ силъ, которыхъ остаются безъ примѣненія: «Пламень чистой вѣры», говорить Демонъ Тамарѣ про людей: «легко навѣкъ я залить въ нихъ... А стоили ль трудовъ моихъ одни глупцы да лицемѣры?»

**Герой нашего времени.** «Отдѣлавшись стихами» отъ своего Демона, Лермонтовъ продолжалъ, однако, работать надъ образомъ человѣка, въ душѣ и жизни котораго есть немало демоническаго. Это былъ Печоринъ, иначе—«герой нашего времени». Мы видѣли уже выше, что очень рано въ творчествѣ Лермонтова являются герои, отмѣченныя нѣкоторой особой печатью судьбы, люди даровитые и страстно ищущіе идеала; это герои драмъ Лермонтова, представляющіе собою видоизмѣненія личности самого поэта. Въ судьбѣ этихъ людей есть уже черты, до извѣстной степени сближающія ихъ съ Демономъ. Въ особенности мраченъ образъ Арбенина, героя «Маскарада», лучшей изъ драмъ Лермонтова, хотя все же весьма несовершенной, такъ какъ драматическая форма вообще не соотвѣтствовала характеру лермонтовскаго дарованія. Арбенинъ, въ молодости безудержно предававшійся страстямъ и едва не погибшій въ ихъ омутѣ, спасается изъ него благодаря женитьбѣ на Нинѣ, чистой и прекрасной дѣвушкѣ; онъ бросаетъ игру въ карты и находится на время спокойствіе душевное. Перемѣна въ Арбенинѣ, однако, только кажущаяся; темные силы скоро снова берутъ верхъ надъ его душою, и подъ ихъ вліяніемъ онъ губитъ свою невинную жену въ припадкѣ слѣпой ревности, послѣ чего самъ сходитъ съ ума. Гораздо ярче и полно разработанъ Лермонтовыи образъ Печорина, явившагося впервые въ романѣ 1836 г. «Княгиня Лиговская», который не былъ напечатанъ самимъ Лермонтовыи. Въ этомъ романѣ поэтъ характеризуетъ свѣтское общество столь же безпощадно, какъ и въ своихъ лирическихъ стихотвореніяхъ: «свѣтъ», говоритъ Лермонтовъ, «не терпитъ въ кругу своемъ ничего сильнаго, потрясающаго, ничего, что бы могло обличить характеръ и волю: свѣту нужны французскіе водевили и русская покорность чужому мнѣнію». Именно такимъ сильнымъ человѣкомъ съ характеромъ и волей долженъ быть явиться на тускломъ свѣтскомъ фонѣ Печоринъ. Въ романѣ, въ общемъ блѣдномъ, есть черточки, предвѣщающія будущаго Печорина—героя своего времени. «Онъ не оскорблялся равнодушіемъ свѣта къ нему, потому что оѣниль свѣтъ въ настоящую его цѣну». «Другой бы упалъ духомъ и уступилъ соперникамъ поле сраженія», читаемъ въ другомъ мѣстѣ романа, «но трудность борьбы увлекаетъ упорный характеръ, и Печоринъ далъ себѣ честное слово остаться побѣдителемъ». Здѣсь

предъ нами также одна изъ отличительныхъ чертъ позднѣйшаго Печорина. Наконецъ, приведемъ еще слѣдующее мѣніе Печорина, высказанное имъ въ разговорѣ съ княгиней Лиговской: «Если бъ меня спросили, чего я хочу: минуту полнаго блаженства или годы двусмысленного счастія, я бы скорѣй рѣшился сосредоточить всѣ свои чувства и страсти на одно божественное мгновеніе и потомъ страдать сколько угодно, чѣмъ мало-по-малу растягивать ихъ и размѣщать по нумерамъ въ промежуткахъ скучи или же печали». Мысль эта знакома уже намъ по Мцири, съ которыми, какъ мы увидимъ, находится въ нѣкоторомъ родствѣ Печоринъ. Такимъ образомъ въ романѣ «Княгиня Лиговская», имѣющемъ преимущественно автобиографический интересъ, такъ какъ въ отношеніяхъ Печорина къ княгинѣ Лиговской и къ Лизѣ Негуровой отчасти изображены отношенія Лермонтова къ В. А. Лопухиной и Е. А. Сушкивой, мы имѣемъ также и первый очеркъ характера, разработанного затѣмъ въ знаменитомъ романѣ «Герой нашего времени». Романъ этотъ, писавшійся съ 1839 по 1841 годъ, состоитъ изъ трехъ частей: «Бѣла», «Максимъ Максимычъ» и «Журналъ Печорина», который, въ свою очередь, распадается на три отдѣльныхъ повѣстований: «Тамань», «Княжна Мери» и «Фаталистъ». Для всесторонней обрисовки своего героя Лермонтовъ разсказываетъ о немъ сначала со словъ его службчаго пріятеля—добродушнаго штабс-капитана Максима Максимыча, а потомъ представлять намъ самого Печорина и наконецъ его самоанализъ въ его «Журналѣ». Прослѣдимъ сначала тѣ черты личности Печорина, съ которыми онъ является предъ нами въ рассказахъ «Бѣла» и «Максимъ Максимычъ». Въ первомъ изъ нихъ Печоринъ изображенъ скучающимъ въ захолустной крѣпости, куда принужденъ былъ отправиться послѣ дуэли на Кавказѣ, описанной имъ самимъ въ романѣ «Княжна Мери». Попавъ случайно на свадебный ширь къ одному «мирному» черкесскому князю и увидавъ тамъ молоденькую дочь этого князя, Бѣлу, которая ему очень понравилась своей красотой и граціей, Печоринъ задумалъ во что бы то ни стало добить Бѣлу и заставить ее полюбить его. Эта замыселъ привлекъ Печорина не потому, чтобы его чувство къ Бѣлѣ было особенно глубоко, а именно потому, что добиться любви Бѣлы, робкой и дикой дѣвушки, не знающей даже русскаго языка, было очень трудно. Печоринъ со страстью отдался рѣшенію поставленной имъ

предъ собою трудной задачи. Видя, что ни ласки, ни «батарея» разныхъ персидскихъ матерій не дѣйствуютъ достаточно сильно на сердце бѣдной Бѣлы, украденной для Печорина ея же братомъ, Печоринъ прибѣгаеть къ средству, весьма для него характерному: онъ говоритъ Бѣлѣ, что предоставляетъ ей полную свободу, а самъ поѣдетъ искать смерти, такъ какъ жизнь безъ любви Бѣлы ему не нужна. Разсчетъ Печорина оказался вполнѣ вѣрнымъ: Бѣла, подготовленная уже мягкимъ обращенiemъ и подарками Печорина, заставившими ее перестать видѣть въ немъ врага, окончательно побѣждена описаннымъ порывомъ Печорина. Въ ней заговорили, очевидно, и жалость къ нему, идущему умирать, и восторгъ предъ его великодушiemъ, и восхищениe его безпредѣльной и самоотверженной любовью къ ней. Она удержала Печорина и беззavѣтно отдалась ему. Слѣдуетъ прибавить, что, говоря о «разсчетѣ» Печорина въ его дѣйствiяхъ по отношенiю къ Бѣлѣ, отнюдь не нужно думать, чтобы Печоринъ ее сознательно обманывалъ: въ это время онъ дѣйствительно любилъ Бѣлу и дѣйствительно, по совершенно справедливому мнѣнiю Максима Максимыча, «въ состоянiи былъ исполнить въ самомъ дѣлѣ то, о чёмъ говорилъ». Достигнувъ поставленной предъ собою цѣли, т. е. любви Бѣлы, онъ нѣкоторое время наслаждается счастьемъ съ ней, но довольно скоро это однообразное счастье пресыщаетъ его, онъ начинаетъ часто покидать Бѣлу, и, какъ опять таки вполнѣ вѣрно замѣчаетъ Максимъ Максимычъ, она погибла бы во всякомъ случаѣ, покинутая Печоринымъ, если бы кинжалъ Казбича и не ускорилъ ея гибели. Такимъ образомъ въ жертву своей прихоти, своей ненасытной жаждѣ сильныхъ ощущений Печоринъ приносить жизнь Бѣлы. Онъ сознаетъ свою жестокость, но не можетъ пойти противъ своей натуры. «Послушайте, Максимъ Максимычъ», говоритъ онъ, «у меня несчастный характеръ; воспитанie ли меня сдѣлало такимъ, Богъ ли такъ меня со здалъ,—не знаю; знаю только то, что если я причиню несчастія другихъ, то и самъ не менѣе несчастливъ». «Во мнѣ душа испорчена свѣтомъ, воображенiе беспокойное, сердце ненасытное; мнѣ все мало: къ печали я такъ же легко привыкаю, какъ къ наслажденiuю, и жизнь моя становится пустѣе день ото дня»... То отношенiе къ людямъ, которое Печоринъ проявилъ въ случаѣ съ Бѣлой, рассказаломъ Максимомъ Максимычемъ, иллюстрируется и случайной

его встрѣчей съ этимъ послѣднимъ черезъ нѣсколько лѣтъ послѣ совмѣстной ихъ жизни въ крѣпости. Печоринъ не проявилъ никакого интереса къ Максиму Максимычу, никакого желанія бесѣдоватъ съ нимъ обѣ имѣемъ прошломъ. Очевидно, что и Максимъ Максимычъ, подобно Бэлль, не имѣлъ для Печорина никакого значенія самъ по себѣ и былъ интересенъ лишь до тѣхъ поръ, пока могъ сколько-нибудь развлечь его въ скучѣ крѣпостного существованія. Обращаясь къ «Журналу Печорина», нужно прежде всего замѣтить, что самая форма «журнала», т. е. дневника, очень для него характерна. Мы уже замѣтили у Печорина склонность и способность къ самоанализу, къ наблюденію, въ качествѣ сторонняго лица, надѣ своими душевными свойствами и состояніями. Въ концѣ романа «Княжна Мери» самъ Печоринъ говорить обѣ этомъ слѣдующее: «Я давно ужъ живу не сердцемъ, а головою. Я взвѣшиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки съ строгимъ любопытствомъ, но безъ участія. Во мнѣ два человѣка: одинъ живеть въ полномъ смыслѣ этого слова, другой мыслить и судить его». Такіе люди, записывая свои душевые состоянія, помогаютъ себѣ этимъ въ ихъ разборѣ, а потому охотно ведутъ дневники. Первая часть «Журнала Печорина»—разсказъ «Тамань». Здѣсь Печоринъ является предъ нами преимущественно со стороны своей сильной воли и самообладанія. Онъ не теряется, очутившись безоружнымъ въ лодкѣ вдвоемъ съ дѣвушкой, желающей его утопить, и сохранять въ эти минуты полную ясность ума и способность наблюдать окружающее. Любя опасность и сильныя ощущенія, не дорожа жизнью и будучи готовъ пожертвовать ею (только не даромъ), будучи самъ «буйною головушкой», Печоринъ запомнилъ отъ слова до слова пѣсню дѣвушки-контрабандистки. Въ романѣ «Княжна Мери» изображено пребываніе Печорина на Кавказскихъ минеральныхъ водахъ, гдѣ онъ встрѣтился съ однимъ изъ своихъ пріятелей—юнкеромъ Грушницкимъ. Въ лицѣ Грушницкаго Лермонтовъ сатирически представилъ типъ не очень умнаго человѣка, ставшаго въ романтическую позу. «Разочарованіе» въ людяхъ и въ жизни—у Грушницкаго одна рисовка; ничего глубокаго и романтическаго въ немъ нѣть, и его «разочарованность» въ людяхъ не мѣшаетъ ему дружить съ самой низкой компаніей драгунскаго капитана и его пріятелей. Душевная пустота Грушницкаго видна изъ его громкихъ,

но мало осмысленныхъ фразъ въ родѣ того, что «причина, побудившая его вступить въ К. полкъ, останется вѣчною тайною между нимъ и небесами». Печоринъ не любилъ Грушницкаго, и это совершенно естественно: въ его лицѣ онъ видѣлъ пародію на то настроение и отношение къ людямъ, которое у самого Печорина было совершенно искреннимъ и довольно глубокимъ. Близорукій Грушницкій былъ увѣренъ въ своей скорой побѣдѣ надъ сердцемъ княжны Мери Литовской и своими самоувѣренными и очень неостроумными признаніями возбудилъ въ Печоринѣ желаніе посмѣяться надъ нимъ, заставивъ княжну Мери полюбить его, Печорина. Печоринъ отлично понималъ, что Грушницкій со своими однообразными рассказами и лирическими изліяніями, со своими кольцами и солдатской, а потомъ офицерской шинелью, со своими неумѣренными восторгами предъ каждымъ движениемъ Мери, предъ ея красотой и умомъ,— очень скоро надоѣсть ей, что и не замедлило случиться. Печоринъ же сумѣлъ заинтересовать собою Мери, раздражая ее разными выхodками въ родѣ отвлеченія отъ нея офицеровъ или покупки для себя понравившагося ей ковра, которымъ онъ затѣмъ покрылъ свою лошадь. Вызвавъ къ себѣ со стороны Мери исключительное отношение, Печоринъ послѣ знакомства съ нею проявлять способность къ очень мягкому отношенію къ людямъ и умѣренному и сдержанному поклоненію. При сильномъ умѣ, наблюдательности и жизненномъ опыте, которые обнаруживаются на каждой страницѣ его дневника, Печоринъ безъ труда заставилъ молоденькую княжну полюбить его. Убѣдившись въ любви Мери, которая при перѣездѣ черезъ Подкумокъ сама предложила первая сказать ему о своей любви, Печоринъ усиливаетъ до высшихъ предѣловъ чувство дѣвушки своимъ молчаниемъ и долгимъ уклоненіемъ отъ рѣшительного разговора. Зачѣмъ онъ поступаетъ такъ съ хорошей дѣвушкой, которую высоко ставить и на которой жениться не собирается? Этотъ вопросъ задаетъ себѣ самъ Печоринъ (11 июня) и тутъ же отвѣчаетъ на него соображеніями, чрезвычайно цѣнными для его характеристики. «А, вѣдь есть», говорить Печоринъ, «необъятное наслажденіе въ обладаніи молодой, едва распустившейся душой! Она, какъ цвѣтокъ, котораго лучшій ароматъ испаряется навстрѣчу первому лучу солнца; его надо сорвать въ эту минуту и, подышавъ имъ досыта, бросить на дорогѣ: авось кто-нибудь подниметъ! Я чувствую въ себѣ эту ненасыт-

ную жадность, поглощающую все, что встречается на пути; я смотрю на страдания и радости другихъ только въ отношеніи къ себѣ, какъ на пищу, поддерживающую мои душевныя силы». Послѣдняя фраза особенно хорошо характеризуетъ Печорина: мы уже видѣли выше, на примѣрахъ Бэлы и Максимыча, что люди, дѣйствительно, являются для Печорина только орудіями наслажденія или простого развлечения. Точно таково же и отношеніе Печорина къ княжнѣ Мери, которую онъ заставилъ глубоко и, вѣроятно, долго страдать ради тогоже мимолетнаго наслажденія, какое доставило ему «обладаніе молодой, едва распустившейся душой» Мери. Съ этой же стороны обрисовывается отчасти Печорина и случай, разсказанный имъ въ поэмы «Фаталистъ». Для того, чтобы пережить сильныя ощущенія, Печоринъ не задумывается держать съ Вуличемъ пари, по условіямъ котораго Вуличъ долженъ выстрѣлить въ себя. Жестокость этого пари усиливается еще тѣмъ обстоятельствомъ, что Печоринъ «читалъ печать смерти на блѣдномъ лицѣ» Вулича и бытъ почти увѣренъ, что тотъ долженъ въ этотъ день умереть.

Таково отношеніе Печорина къ людямъ. Чувствуя въ душѣ своей, по его собственному выражению, «силы необъятныя» и не находя этимъ силамъ никакого разумнаго и полезнаго примѣненія, Печоринъ пользуется людьми, чтобы чѣмъ-нибудь наполнить свое скучное существованіе. Не имѣя въ жизни серьезной цѣли, онъ создаетъ себѣ цѣли призрачныя, въ родѣ прирученія Бэлы, лишь бы ему казалось, что въ это время онъ дѣйствуетъ, живетъ, а не прозябаетъ. Выражается ли, однако, въ этихъ поступкахъ Печорина, въ этомъ отношеніи его къ людямъ его душевная сущность? На этотъ вопросъ слѣдуетъ отвѣтить отрицательно. Въ душѣ Печорина живутъ затратки иныхъ чувствъ, иныхъ стремленій. Когда Печоринъ подслушалъ у окна заговоръ офицеровъ противъ него, и когда для осуществленія ихъ низкаго замысла требовалось только согласіе Грушницкаго, то Печоринъ, по его словамъ, «съ трепетомъ ждалъ отвѣта Грушницкаго»; «если бы Грушницкій не согласился», прибавляется Печоринъ, «я бросился бы ему на шею». Такъ восторженно готовъ былъ этотъ холодный человѣкъ отвѣтить на благородный порывъ, если бы встрѣтилъ его. Способность Печорина къ глубокому чувству видна и изъ отношенія его къ Вѣрѣ, въ лицѣ которой иногда видятъ одно изъ изображеній В. А. Лопухиной. Вотъ какъ говоритъ самъ

Печоринъ о своемъ чувствѣ къ Вѣрѣ: «Она единственная женщина въ мірѣ, которую я не въ силахъ быль бы обмануть. Я знаю, мы скоро разлучимся оиять и, можетъ быть, навѣки; оба пойдемъ разными путями до гроба; но воспоминаніе о ней останется неприкосновеннымъ въ душѣ моей»... Сила искренняго и глубокаго, не эгоистическаго чувства, на которое способенъ быль Печоринъ, помимо приведенного отрывка, выразилась въ его погонѣ за Вѣрой верхомъ изъ Кисловодска, когда онъ погубилъ своего коня, «упалъ на мокрую траву и, какъ ребенокъ, заплакаль». «И долго», пишеть Печоринъ, «я лежалъ неподвижно и плакалъ горько, не стараясь удерживать слезъ и рыданій; я думалъ, грудь моя разорвется; вся моя твердость, все мое хладнокровіе исчезли, какъ дымъ; душа обезсилѣла, разсудокъ замолкъ...» Эта оставшаяся непримѣненной способность къ глубокому чувству видна и изъ той власти, которую имѣли надъ душою Печорина воспоминанія, и о которой онъ говорить въ одномъ мѣстѣ своего дневника. Изъ всего, сказанного о Печоринѣ, мы можемъ заключить, что это натура боевая, кипучая и сильная. Ему нужны широкія цѣли, сильныя ощущенія, глубоко чувствующе люді. Его стихія—борьба, и если бы онъ поставилъ себѣ возвышенную и полезную цѣль, то, несомнѣнно, много бы сдѣлалъ для ея достижения. Но среда и жизнь не указали ему этой возвышенной цѣли, и онъ съ горечью говорить о себѣ, что «кромѣ женщинъ, на свѣтѣ ничего не любитъ, что имъ онъ «всегда готовъ быль жертвовать спокойствіемъ, честолюбіемъ, жизнью». Въ странѣ, где нѣть общественной самодѣятельности, где граждане являются «гостями на праздникѣ чужомъ, и где жизнь «томить, какъ ровный путь безъ цѣли», Печоринъ дѣлать нечего, особенно въ то мрачное «безвременье», въ которое жилъ Лермонтовъ. Гибель Печорина безъ пользы для общества еще печальнѣе, чѣмъ гибель Онѣгина. Если Онѣгинъ—только «типическое исключеніе», то Печоринъ—выдающійся по своимъ душевнымъ силамъ человѣкъ. Изъ Онѣгина при нормальныхъ общественныхъ условіяхъ вышелъ бы просто не бесполезный общественный работникъ, изъ Печорина вышелъ бы передовой дѣятель.

## IV.

## Итоги.

**Особенности и значение поэзии Лермонтова.** Мы убедились, какое единство тона и настроения замечается между большою частью лирическихъ, эпическихъ и драматическихъ произведений Лермонтова. То отношение къ «толпѣ», тотъ остающейся безъ отвѣта порывъ къ идеалу, та заглушенная нѣжность имяткость чувства, временами властно прорывающіяся,—которая мы видѣли въ лирикѣ Лермонтова,—все это мы нашли и въ его Мцири, и въ его Печоринѣ, и, въ болѣе широкомъ масштабѣ,—въ его Демонѣ. Такимъ образомъ, вся нами рассмотрѣнная часть произведений Лермонтова—а мы разсмотрѣли почти всѣ главнѣйшія изъ нихъ—носить ярко выраженный субъективный характеръ, такъ какъ лирика Лермонтова доказываетъ намъ, что и въ эпическихъ своихъ произведеніяхъ поэтъ до конца жизни не переставалъ разбираться въ своей собственной душѣ. Это была, по прекрасному выражению Бальмонта, «звѣздная душа». Тоска по идеалу составляетъ весь смыслъ творчества Лермонтова. Эпоха, въ которую жилъ поэтъ, и скорбно-ранняя смерть его не дали этой тоскѣ по идеалу перейти въ борьбу за идеаль.

Каковъ же, однако, этотъ идеалъ Лермонтова, и какова скорбь, выраженная этимъ поэтомъ,—чисто ли «мировая» эта скорбь, или она также и гражданская? Чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ, вспомнимъ, что Лермонтовъ рано указалъ на свое родство съ Байрономъ, сильнѣйшимъ выразителемъ міровой скорби, т. е. скорби о пошлости, эгоизмѣ и низости людей, безъ отношенія къ эпохѣ и условіямъ жизни данного общества. И, конечно, если гдѣ-нибудь въ русской литературѣ есть байроническіе типы и настроенія, то именно у Лермонтова. Мировой характеръ скорби Лермонтова не подлежитъ сомнѣнію. Начиная со стихотворенія «Ангель», поэзія Лермонтова есть вдохновенный порывъ къ небесамъ и горькое раздумье надъ мелкостью и пошлостью людей вообще. Но, характеризуя себя, какъ странника, гонимаго, вмѣстѣ съ Байрономъ, людьми, Лермонтовъ не забылъ, однако, прибавить: «но только съ русскою душой». Вотъ это—«русская душа» возмущалась не только вздорностью людской толпы, но и тѣми «свободы, генія и славы палачами», которые «жад-

ною толпой стоять у трона», и кровь которыхъ Лермонтовъ называетъ черной вслѣдъ за Радищевымъ («Повѣсть о видѣніи»). Мы говорили выше о рано проявившемся политическомъ свободомысліи Лермонтова. Оно осталось до конца жизни поэта и выразилось въ годъ его смерти въ знаменательномъ восьмистишіи: «Прощай, немытая Россія», относящемся непосредственно къ гр. Бенкендорфу, но имѣющемъ и общее значение.

При всей глубокой субъективности поэзіи Лермонтова онъ успѣлъ, однако, показать, какіе богатые задатки иныхъ видовъ творчества хранилъ въ себѣ его могучій талантъ. Лермонтовъ умѣлъ отрѣщаться отъ своей личности и съ удивительною яркостью раскрывать психологію такихъ людей, которые нѣкоторыми сторонами своей личности совершенно чужды самому поэту, рисовать такую жизнь, общиі характеръ которой не могъ, повидимому, возбуждать въ немъ ни интереса, ни сочувствія. Для иллюстраціи этой способности Лермонтова переноситься въ чуждую ему душевную жизнь стоитъ вспомнить старого солдата съ его разсказомъ о Бородинскомъ сраженіи («Бородино», 1837), или казачку, поющую надъ своимъ ребенкомъ («Казачья колыбельная пѣсня», 1840). Есть и цѣлая большая поэма, очень своеобразная, свидѣтельствующая объ указанной способности Лермонтова. Это—«Пѣсня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова». По содержанію и по стилю эта «Пѣсня» является истинно геніальнымъ художественнымъ выраженіемъ народно-поэтическаго міросозерцанія и языка. Образъ Ивана Грознаго, пробивающаго желѣзнымъ оконечникомъ своей палки «дубовый поль на полчетверти»; образъ Кирибѣевича, самоувѣреннаго и заносчиваго въ надеждѣ на царское покровительство; образъ незамѣтнаго героя Степана Калашникова и его вѣрной и покорной жены—все это вѣрно и Руси, и эпохѣ. Помимо яркости перечисленныхъ образовъ, «Пѣсня» заключаетъ въ себѣ рядъ картинъ, выражающихъ бытъ и понятія того времени на Руси. Такова картина возвращенія оскорблennой Алены Дмитревны къ мужу; такова картина прощенія Калашникова съ братьями предъ тѣмъ, какъ ити на вѣрную смерть. Положеніе женщины въ древне-русской семье, взглядъ на долгъ мужа защищать ея честь, отношенія старшаго брата къ младшимъ—все это дышитъ исторической и бытовой правдой. Но всѣ эти образы и картины производятъ особенно силь-

ное впечатлѣніе потому, что стиль пѣсни представляетъ собою художественную обработку стиля народно-поэтическаго, въ частности стиля былинъ и историческихъ пѣсень. «Пѣсня» украшена превосходными и истинно-народными эпитетами; таковы: солнце красное, тучки синія, вино сладкое заморское, буйный молодецъ, очи темныя, дума крѣпкая, очи зоркія, сердце жаркое, плечи богатырскія, и многое множество другихъ. Не менѣе прекрасны сравненія пѣсни; стоитъ вспомнить великолѣпный разсказъ Кирибѣевича царю о красотѣ Алены Дмитревны и о своей любви къ ней,—разсказъ, самъ по себѣ представляющій превосходное лиро-эпическое произведеніе. Прекрасное сравненіе находимъ при изображеніи смерти Кирибѣевича. Здѣсь же встрѣчается пріемъ повторенія («будто сосенка»). Необыкновенно красавая картина съ рядомъ метафоръ начинаетъ третью часть «Пѣсни». Необходимо по поводу этого произведенія оговориться, что, несмотря на строгую объективность изображенія древне-русской жизни, поэма эта по характеру главныхъ дѣйствующихъ лицъ можетъ быть поставлена въ связь съ очерченными выше основными особенностями субъективнаго творчества Лермонтова. Дѣло въ томъ, что древне-русская жизнь вообще, съ ея крайне слабымъ развитіемъ личного начала, съ господствомъ традиціи во всѣхъ сферахъ жизни, являлась, несомнѣнно, глубоко чуждой натурѣ Лермонтова и не могла возбуждать въ немъ ни интереса, ни сочувствія. Мы вѣдь знаемъ, что индивидуализмъ составляетъ сущность поэзіи Лермонтова, что онъ—пѣвецъ мятежной, протестующей личности, а именно личность-то въ древней Руси не значила ничего или почти ничего. Но Лермонтовъ сумѣлъ избрать такую эпоху изъ жизни древней Руси, когда личность болѣе или менѣе пробуждается, и когда самъ царь, посягая на нѣкоторыя традиціи, вызываетъ со стороны наиболѣе сильныхъ духомъ людей героическую защиту этихъ традицій. Именно въ эту сферу борьбы между новшествами, заведенными Грознымъ, и старой московской традиціей и вводить насъ Лермонтовъ въ своей «Пѣснѣ». Кирибѣевичъ, пользующійся покровительствомъ царя, учредившаго оприччину, является разрушителемъ благочестиваго и патріархальнаго строя семьи купца Калашникова; и послѣдній геройски выступаетъ въ защиту того, что ему свято и дорого. Героизмъ и сила личности Калашникова видны изъ того, что онъ, ни минуты не колеблясь, идетъ на вѣрную смерть и ее предпочитаетъ

жизни съ сознаниемъ неисполненного долга. Калашниковъ знаетъ, что если Кирибѣевичъ не убьетъ его, то его казнить по приказанию царя. Впечатлѣніе отъ мощной личности и героической смерти Степана Калашникова усиливается чудеснымъ изображеніемъ его «безыменной могилки».

Прежде, чѣмъ заключить характеристику творчества Лермонтова, надлежитъ указать, что по манерѣ письма, пріимѣненной въ романѣ «Герой нашего времени», Лермонтовъ долженъ быть причисленъ къ самымъ блестящимъ представителямъ реального направления въ нашей литературѣ. Анализируя образъ Печорина въ связи съ субъективными свойствами Лермонтова, какъ человѣка и писателя, мы ничего не говорили о другихъ дѣйствующихъ лицахъ романа (кромѣ Грушницкаго) и объ общихъ картинахъ жизни, нарисованныхъ въ романѣ. Между тѣмъ, въ этихъ отношеніяхъ романъ Лермонтова достигаетъ высокаго совершенства. Несмотря на форму дневника и обиліе мѣстъ, посвященныхъ самоанализу Печорина, послѣдній сумѣлъ изобразить рядъ типичныхъ образовъ и картинъ, не связанныхъ съ его собственной личностью. Укажемъ на картины жизни контрабандистовъ въ очеркѣ «Тамань», жизни курортнаго кавказскаго общества въ романѣ «Княжна Мери», на образы Вѣры, доктора Вернера, и остановимся нѣсколько на образѣ Максима Максимыча, довольно подробно охарактеризованного въ разсказахъ «Бэла» и «Максимъ Максимычъ» и упоминаемаго также въ разсказѣ «Фаталистъ». Въ лицѣ Максима Максимыча критика усмотрѣла типъ человѣка, во всемъ противоположнаго Печорину, и это вѣрно. Максимъ Максимычъ «не любить метафизическихъ преній». Онъ очень неглупъ отъ природы, довольно проницателенъ и хорошо понимаетъ людей, какъ это можно заключить изъ его разсказа о Печоринѣ; мы видѣли, что онъ дѣлаетъ о послѣднемъ рядъ вѣрныхъ замѣчаній; но эта проницательность Максима Максимыча является лишь результатомъ его обширнаго опыта и наблюдательности, а отнюдь не интереса къ психологіи людей вообще. Обобщающихъ выводовъ Максимъ Максимычъ чуждъ; когда его собесѣдникъ сталъ объяснять типичность Печорина, «штабсь-капитанъ не понять этихъ тонкостей, покачалъ головою и улыбнулся лукаво», а затѣмъ высказалъ мнѣніе, что «скучать ввели въ моду англичане» потому, что «они всегда были отъявленные пьяницы». Но если умъ Максима Макси-

мыча только чисто практический и съ этой стороны онъ неизмѣримо ниже Печорина, то онъ зато обладаетъ сердечною добротою и тою способностью привязываться къ людямъ и любить ихъ ради нихъ самихъ, которая у Печорина осталась, какъ мы видѣли, почти безъ проявленія. Особенно ярко обнаружилась эта сердечность въ то время, когда Максимъ Максимычъ встрѣтился съ Печоринымъ во Владикавказѣ. Въ глазахъ штабсъ-капитана «засверкала радость», когда онъ узналъ, что Печоринъ въ городѣ. Онъ не спалъ цѣлую ночь, когда Печоринъ не явился на его зовъ; когда на другой день Печоринъ, наконецъ, пріѣхалъ въ гостиницу, и Максиму Максимычу, бывшему у коменданта, сообщили объ этомъ, то онъ такъ поспѣшно прибѣжалъ, что «едва могъ дышать; потъ градомъ катился съ лица его; мокрые клочки сѣдыхъ волосъ, вырвавшись изъ-подъ шапки, приклеились ко лбу его; колѣни его дрожали»... Послѣ отъѣзда Печорина «слеза досады по временамъ сверкала на рѣсницахъ» Максима Максимыча. Заплакалъ онъ и тогда, когда Бѣла, испуганная рѣшимостью Печорина щѣхать на поиски смерти, «вскочила, зарыдала и бросилась ему на шею». Образъ Максима Максимыча, конечно, превосходно обрисованъ; но видѣть въ этомъ образѣ какое-нибудь новое слово, сказанное Лермонтовымъ, мы не можемъ. Люди съ добрымъ и горячимъ сердцемъ, но безъ способности къ «метафизическому преніянью» нарисованы, какъ мы знаемъ, уже въ «Капитанской дочки» Пушкинскимъ, и Максимъ Максимычъ—только одна изъ вариацій этого типа людей.

Примыкая «Героемъ нашего времени» къ «реальной школѣ» нашей литературы, принявъ участіе по своему общественно-политическому міровоззрѣнію въ той борьбѣ за свободу и просвѣщеніе, которая безъ устали велась нашей литературой со временемъ Кантемира, Лермонтовъ, какъ лирический поэтъ, стоить въ значительной мѣрѣ особнякомъ, благодаря исключительной силѣ своей натуры и исключительной жгучести своего протesta противъ пошлости людей вообще и тѣсноты и мелкости русской жизни въ частности. Лирика Лермонтова гораздо бѣднѣе пушкинской числомъ струнъ. Но тѣ лирические мотивы, которые были Лермонтову доступны, онъ выразилъ съ такой сосредоточенной силой и глубиной, разныхъ которымъ нельзя найти во всей русской поэзіи. Для Лермонтова, если судить по тому, что онъ успѣлъ создать, открывались впереди широчайшія перспективы

далънѣйшаго развитія. Онъ обнаруживалъ способность перейти, подобно Пушкину, отъ изображеній собственнаго внутренняго міра къ творчеству объективному, къ всестороннему художественному воспроизведенію жизни и людей. Смерть застала Лермонтова въ началѣ этого перехода, и мы имѣемъ лишь небольшое количество произведений Лермонтова, въ которыхъ его мощный талантъ выражается уже въ полной силѣ. Лермонтовъ погибъ обидно-рано, гораздо раньше, чѣмъ величайшій русскій поэтъ, «воспѣтый имъ съ такою чудной силой, сраженный, какъ и онъ, безжалостной рукой».

---

## **А. В. КОЛЬЦОВЪ.**

(1809—1842).

---

### I.

#### **Біографія.**

Въ періодъ расцвѣта литературной дѣятельности Гоголя, во второй половинѣ тридцатыхъ годовъ, вниманіе критики привлекли стихотворенія оригинального поэта, писавшаго въ духѣ народной пѣсни. Это былъ талантливый, но рано погибшій въ неблагопріятной средѣ и обстановкѣ Алексѣй Васильевичъ Кольцовъ.

Кольцовъ родился въ 1809 году, въ Воронежѣ, и былъ сыномъ прасола, т. е. торговца скотомъ, ведшаго свои торговыя дѣла въ Воронежской и сосѣднихъ губерніяхъ, въ степяхъ. Дѣтство Кольцова протекло въ условіяхъ, неблагопріятныхъ для правильнаго развитія: отецъ поэта былъ грубый человѣкъ, весь погруженный въ свои коммерческие интересы, а въ семье поступавшій деспотически и не терпѣвшій противорѣчій; мать сравнительно мало значила въ домѣ, хотя относилась къ сыну и въ это время и позднѣе хорошо; братъ Кольцова рано умеръ, а изъ сестеръ онъ ни съ одною особенно близко не сходился. Кольцовъ въ дѣтствѣ былъ въ значительной мѣрѣ предоставленъ на волю Божію; заботилась о немъ няня, впослѣдствііи нѣсколько облегчавшая Кольцову своимъ уходомъ послѣднюю его болѣзнь, которая протекала, какъ мы увидимъ, въ самой тяжелой обстановкѣ. Въ 1818—19 г. Кольцовъ проходилъ полтора года въ уѣздное училище, послѣ чего отецъ взялъ его оттуда, полагая, что полученныхъ сыномъ свѣдѣній вполнѣ достаточно для помоши ему въ торговыхъ дѣлахъ. Школьные познанія Кольцова были крайне незначительны, и все, что

онъ зналъ, включая и относительное умѣнье грамотно писать, онъ пріобрѣлъ позднѣе самостоятельнымъ трудомъ. Съ дѣтства, вѣро-  
ятно вскорѣ по выходѣ изъ училища, Кольцовъ начинаетъ ѿздѣтъ  
по степямъ вмѣстѣ съ отцомъ, и воспоминанія объ этихъ раннихъ  
поѣздкахъ мы находимъ въ стихотвореніяхъ: «Ночлегъ чумаковъ»  
(1828) и «Повѣсть моей любви» (1829). Лѣтъ пятнадцати Кольцовъ  
прочелъ сборникъ стихотвореній Дмитриева, и съ тѣхъ поръ нача-  
лись его собственные стихотворные опыты, вначалѣ очень и очень  
слабые. Таковы пятнадцать юношескихъ произведеній Кольцова, на-  
печатанныхъ въ приложеніи къ академическому изданію его сочи-  
неній; много несовершенного и въ позднѣйшихъ стихотвореніяхъ  
Кольцова, талантъ котораго, по справедливому указанію Бѣлин-  
скаго, сталъ ярко проявляться лишь около 1836 г. Во второй поло-  
винѣ 20-хъ годовъ Кольцовъ знакомится съ воронежскимъ книго-  
продавцемъ Кашкинымъ, знакомится и сближается съ воронеж-  
скимъ семинаристомъ, а потомъ студентомъ-медикомъ Сребрян-  
скимъ. Первый помогъ Кольцову бесплатно выдачею книгъ изъ  
своей библіотеки, что дало Кольцову возможность прочесть произве-  
денія новѣйшихъ поэтовъ, до Пушкина включительно; Сребрян-  
скій же по развитію стоялъ выше окружавшей Кольцова среды, и  
послѣ ранней смерти Сребрянского Кольцовъ съ теплымъ чувствомъ  
вспоминаль о благотворномъ вліяніи его на свое умственное разви-  
тие. Къ 1830 году относятся первые напечатанные опыты Кольцова.  
Это были нѣсколько стихотвореній, данныхъ Кользовымъ какому-то  
проѣзжавшему чрезъ Воронежъ въ Москву лицу, именовавшему  
себя «литераторомъ». «Литераторъ» напечаталъ стихотворенія Коль-  
цова за свою подпись.

Около этого же времени Кольцовъ познакомился и сблизился  
съ замѣчательнымъ человѣкомъ, сыгравшимъ, несмотря на свою  
недолгую жизнь, значительную роль въ умственномъ развитіи рус-  
ского общества. Это былъ Николай Владимировичъ Станкевичъ, съ  
которымъ мы еще встрѣтимся при ознакомленіи съ дѣятельностью  
Бѣлинскаго. Станкевичъ взялъ у Кольцова всѣ написанныя имъ  
стихотворенія и напечаталъ въ «Литературной Газетѣ» Дельвига  
«Кольцо» («Я затеплю свѣчу») подъ названіемъ «Русская пѣсня»,  
предпославъ стихотворенію коротеньку замѣтку о Кольцовѣ съ  
указаниемъ на оригиналность жизненнаго положенія начинаящаго

поэта. Начиная съ весны 1831 г. Кольцовъ совершалъ періодическія поѣздки въ Москву и Петербургъ по порученіямъ отца, который вельь многочисленныя тяжбы въ разныхъ судебныхъ инстанціяхъ. Эти поѣздки дали Кольцову возможность познакомиться съ кружкомъ Станкевича и съ крупнѣйшими писателями и литераторами того времени. Приблизительно къ 1836 г. Кольцовъ былъ уже знакомъ съ Бѣлинскимъ, Боткинымъ, кн. Вяземскимъ, кн. Одоевскимъ, Плетеневымъ, Жуковскимъ и наконецъ Пушкинымъ. Въ 1835 г. была издана въ Москвѣ книжка «Стихотвореній А. Кольцова», заключавшая 18 пьесъ. Знакомство со всѣми перечисленными и многими другими литературными дѣятелями, бесѣды въ ихъ кругу весьма расширили кругозоръ Кольцова, но въ то же время внесли въ его жизнь тяжелый разладъ. Обстоятельства не позволяли Кольцову думать о томъ, чтобы всецѣло отдаваться литературѣ и порвать всѣ связи съ семьей и торговой дѣятельностью. Письма Кольцова къ Бѣлинскому заключаютъ въ себѣ рядъ выраженій этого разлада и недовольства Кольцова своимъ неопределѣеннымъ положеніемъ. Слѣдуетъ замѣтить, что Бѣлинскій оказалъ на Кольцова чрезвычайно сильное вліяніе и сыгралъ въ его жизни важную роль. Объ этой роли въ письмахъ Кольцова говорится очень много. Бѣлинскому Кольцовъ откровенно изливалъ задушевныя свои стремленія и мысли. «...Я, наконецъ, добился», пишетъ Кольцовъ Бѣлинскому въ августѣ 1840 г., «почему онъ (пьесы) выходять, что никуда не годятся. Иногда дурное дѣло дурно настроить душу, и хоть пройдетъ оно, а все-таки впечатлѣніе-то остается въ душѣ. А еще большой недостатокъ, что негдѣ у насъ мнѣ слушать хорошую музыку. Да надо непремѣнно изучить живопись и скульптуру. Онъ все вещи чудесныя, и для человѣка, который пишетъ стихи, особенно необходимы. И самый Питеръ, и Москва много своимъ величествомъ способствуетъ силамъ человѣка; а обѣ театрѣ ужъ и говорить нечего: здѣсь Мочаловъ и Щепкинъ люди необходимые. Вотъ почему у меня выходятъ вещи негодные и часто неполныя, что я человѣкъ такой самъ, у меня въ натурѣ большиe недостатки; а будь натура гигантская... все всего сила создать не можетъ... Будь человѣкъ геніальный, а не умѣтъ грамотѣ, ну—не прочтеть и вздорной сказки. На всякое дѣло надо имѣть полные способы». Въ приведенномъ отрывкѣ, написанномъ

сь обычной неуклюжестью кольцовской прозы («проза со мною еще при рождении разошлась самымъ неблагороднымъ образомъ», признался самъ Кольцовъ въ одномъ письмѣ къ Бѣлинскому 1836 г.), формулировано основное противорѣчіе кольцовской жизни. Онъ «не имѣлъ полныхъ способовъ» для проявленія своего таланта. Во-первыхъ, ему не хватало во-время полученного элементарнаго образования, и наверстать упущенное было слишкомъ трудно; во-вторыхъ, окружающая атмосфера—умственная и нравственная—совершенно не благопріятствовала работѣ Кольцова чадъ своимъ умомъ и талантомъ. Въ томъ же обширномъ письмѣ къ Бѣлинскому отъ августа 1840 г., изъ котораго нами взять отрывокъ о «неполныхъ способахъ», находимъ слѣдующія слова Кольцова: «...Нѣть голоса въ душѣ быть купцомъ, а все мнѣ говорить душа день и ночь, хочеть бросить всѣ занятія торговли—и сѣсть въ горницу, читать, учиться. Мнѣ бы хотѣлось теперь сначала поучить хорошенъко свою русскую исторію, потомъ естественную, всемирную, потомъ выучиться по-нѣмецки, читать Шекспира, Гете, Байрона, Гегеля, прочесть астрономію, географію, ботанику, физіологію, зоологію, Библію, Евангеліе, и потомъ года два поѣздить по Россіи, пожить сначала годъ въ Питерѣ. Вотъ мои желанья, и кромѣ ихъ у меня ничего нѣть. Можетъ быть, это бредъ души больной и слабой; но мнѣ бы все-таки хотѣлось это сдѣлать, и я ужъ началъ по-немногу и кое-что прочель». Мы видимъ, что Кольцовъ понималъ необходимость расширять свои знанія во всѣ стороны. Мы, однако, уже говорили, что условія домашней жизни не давали Кольцову возможности осуществить тѣ пожеланія, которыхъ выражены въ цитированномъ此刻 сейчасъ отрывкѣ. «Поучить хорошенъко» что бы то ни было ему не удавалось. Онъ былъ занятъ поправкой торговыхъ дѣлъ, разстраивавшихся каждый разъ, какъ онъ отлучался въ столицы по дѣламъ судебнымъ. Въ январѣ 1841 г. Кольцовъ сообщаетъ Бѣлинскому, что отецъ значительно измѣнился къ худшему въ своихъ отношеніяхъ къ нему, и объясняетъ это слѣдующимъ образомъ: «...Дѣло кончилось послѣднее и самое гадкое; слѣдственно, его крестить теперь очищенъ совершенно. Прежде онъ боялся полиціи и потому любилъ меня до излишества, а теперь она ему не страшна. И домъ его и все у него въ рукахъ; такъ я, выходить, ему сталь и не нуженъ. Да, нынче отецъ и мать, видно, хороши по разсчетамъ.

Однакожъ, эта новость и особенно эта непризнательность меня срѣзала глубоко». Отношения къ отцу и семье и раньше были у Кольцова довольно натянутыя, и родные, вмѣстѣ съ другими воронежскими жителями, склонны были относиться къ поэтическимъ занятиямъ молодого мѣщанина съ предубѣждениемъ и нѣкоторой насмѣшкой. Однако, въ 1837 г. побывалъ въ Воронежѣ, вмѣстѣ со своимъ воспитанникомъ, великимъ княземъ Александромъ Николаевичемъ, В. А. Жуковскимъ, который ласково принялъ Кольцова и ъездилъ съ нимъ вмѣстѣ по городу. Это обстоятельство заставило многихъ серьезнѣе взглянуть на поэтическія стремленія Кольцова. «Пріѣздъ Василія Андреевича въ Воронежъ», писалъ Кольцовъ Краевскому, «много меня осчастливили. Не только кой-какіе купцы, и даже батенька не вѣрилъ кой-чему, теперь увѣрились. И ничего, слава Богу!» Тѣмъ не менѣе разладъ между Кользовыми и людьми, окружавшими его въ Воронежѣ, становился все глубже. Это видно изъ того, что съ теченіемъ времени въ письмахъ Кольцова къ Бѣлинскому мы все чаще и чаще встрѣчаемъ жалобы на полное одиночество поэта, на отсутствіе не только друзей, но такихъ людей, съ которыми бы можно было хоть словомъ перемолвиться. Послѣ окончанія Кользовыми послѣднаго непріятнаго судебнаго дѣла отца положеніе поэта въ материальномъ отношеніи стало еще хуже, чѣмъ прежде. Хлопота по отцовскимъ дѣламъ и прибѣгая при этомъ къ покровительству своихъ вліятельныхъ знакомыхъ, особенно князей Вяземскаго и Одоевскаго и Жуковскаго, что крайне стѣсняло и тяготило Кольцова, онъ, по крайней мѣрѣ, получалъ отъ отца суммы, хотя и небольшія, на личную жизнь. Теперь же, переставъ нуждаться въ услугахъ сына, старикъ Кольцовъ отказался что-либо ему давать; съ большимъ трудомъ удалось поэту заручиться обѣщаніемъ отца, что когда сынъ доведетъ до конца постройку дома, который долженъ доставлять 6—7 тысячи годового дохода, то одна тысяча рублей изъ этихъ денегъ будетъ отдаваться ему. Однако, не надѣясь на исполненіе отцомъ словеснаго обѣщанія, Кольцовъ попросилъ его закрѣпить это обѣщаніе актомъ,—и получилъ отвѣтъ: «не хочешь ли печенаго рака!» Материальная необезпеченность и невозможность заплатить сразу воронежскіе долги была причиной, заставившей Кольцова отказаться отъ привлекавшаго его предложенія Краевскаго завѣдовывать конторой «Отечественныхъ Записокъ».

Прежде, чѣмъ перейти къ самому послѣднему времени жизни Кольцова, укажемъ, что жизнь эта дважды доставила ему недолгое счастье раздѣленной любви. Раннее, но очень сильное чувство испытала Кольцовъ къ одной крѣпостной дѣвушкѣ, жившей въ ихъ домѣ. Отецъ, однако, во время одной изъ торговыхъ поѣздокъ сына, удалилъ дѣвушку, которая была продана на Донъ, вышла замужъ за казака и рано погибла. Поиски, предпринятые Кольцовъ, не имѣли успѣха. Этой любви, память о которой никогда не покидала поэта, посвященъ рядъ его стихотвореній, изъ которыхъ лучшее—«Не шуми ты, рожь» (1834). Во второй разъ Кольцовъ полюбилъ незадолго до смерти женщину, восторженное описание которой находимъ въ письмѣ къ Бѣлинскому отъ марта 1841 г. Чувство Кольцова и на этотъ разъ было горячо и захватило его всецѣло; но, повидимому, оправдались слова Кольцова объ этой женщинѣ въ другомъ письмѣ къ Бѣлинскому: «...у ней въ натурѣ не лежитъ глубокое чувство». Счастье и на этотъ разъ недолго погодило въ жизни одинокаго поэта.

Съ весны 1841 г. здоровье Кольцова, всегда некрѣпкое, все замѣтнѣе ему измѣняетъ. По письмамъ къ Бѣлинскому можно слѣдить за быстрымъ развитіемъ у поэта чахотки, хотя до самого послѣдняго времени онъ не сознавалъ безнадежности своего положенія и постоянно говорилъ о планахъ на будущее, которые собирался осуществить по выздоровленіи. Мы указали уже выше, что болѣзнь Кольцова протекала въ чрезвычайно неблагопріятной обстановкѣ. Самъ Кольцовъ говорить объ этомъ, между прочимъ, въ письмѣ къ Бѣлинскому отъ февраля 1842 г. слѣдующее: «...У насъ былъ дѣвишникъ (выходила замужъ сестра Кольцова), на которомъ яшибко простудился и снова заболѣлъ... Ну, это воспаленіе мало того, что было чрезвычайно мучительно, а больше опасно, и я ужасно трусилъ за жизнь и духъ мой былъ въ самомъ тревожномъ состояніи... И въ эту пору у насъ была свадьба, пиры, вечеринки почти каждый день. Комната моя была на самомъ проходѣ, черезъ нее съ утра до полночи все ходило, бѣгало, суетилось, шумѣло... Дѣлали безъ всякаго стыда все мнѣ на зло—до того, что однажды, когда меня жаръ убѣйственно томилъ... въ другой комнатѣ положили дѣвушку, покрыли ее простыней и начали отпѣвать покойника. Это, по ихъ, называлась шутка!!!» Изъ писемъ Кольцова мы узнаемъ, что

отецъ не давалъ ему денегъ на лѣченіе, такъ что ему приходилось занимать, что очень его тяготило. Свадьба сестры съ недостойнымъ и неразвитымъ человѣкомъ очень огорчила Кольцова, старавшагося поддержать въ сестрѣ интересъ къ музыкѣ, что видно, между прочимъ, изъ ласковаго письма поэта къ сестрѣ отъ января 1841 г. съ сообщеніемъ обѣй отправкѣ книги и нотъ. Вернувшись въ Воронежъ изъ послѣдней своей поѣздки, Кольцовъ съ грустью убѣдился, однако, что наряды смѣнили для нея музыку и изученіе французскаго языка. Провинціальное болото засосало его сестру, —участь, которой онъ постоянно боялся для себя самого, что видно изъ его словъ въ письмѣ къ Бѣлинскому отъ августа 1840 г. «У меня у самого», пишетъ Кольцовъ, «давно ужъ лежитъ на душѣ грустное это сознаніе, что въ Воронежѣ долго мнѣ не сдобровать. Давно живу я въ немъ и гляжу вонъ, какъ звѣрь. Тѣсень мой кругъ, грязенъ мой міръ; горько жить мнѣ въ немъ; и я не знаю, какъ я еще не потерялся въ немъ давно. Какая-нибудь добрая сила невидимо поддерживаетъ меня отъ паденія, и если я не перемѣню себя, то скоро упаду. Это неминуемо, какъ дважды два». Печальная судьба сестры и рѣзкая перемѣна къ худшему въ ея отношеніяхъ къ брату прибавили много горечи къ послѣднимъ мѣсяцамъ жизни Кольцова. Онъ умѣръ въ октябрѣ 1842 г., тридцати трехъ лѣтъ. Въ 1846 г. вышло въ свѣтъ первое полное собраніе стихотвореній Кольцова съ обширной статьей Бѣлинского, изложившаго жизнь Кольцова и выяснившаго особенности и значеніе его поэтическаго творчества.

## II.

### **Личность и творчество.**

Мы видѣли выше, что Кольцовъ хорошо понималъ и чувствовалъ разладъ между своими стремленіями и обстановкой своей воронежской жизни. Этотъ разладъ наложилъ свою печать на личность Кольцова, какъ она выясняется изъ его писемъ. Съ одной стороны, въ нихъ виденъ человѣкъ несомнѣнно умный, наблюдательный, правильно и часто съ большою мѣткостью оцѣнивающій людей и события; языкъ писемъ Кольцова богатъ народными

выраженіями, поговорками и присловьями. Но съ другой стороны малая образованность Кольцова стѣсняла его въ обращеніи съ людьми, выше его стоящими въ этомъ отношеніи. Отъ этого стѣсненія онъ освобождался въ письмахъ къ Бѣлинскому, который сумѣлъ его приблизить къ себѣ и котораго онъ любилъ, какъ единственнаго друга. Въ письмахъ же къ другимъ лицамъ нерѣдки выраженія, свидѣтельствующія о смущеніи Кольцова въ обращеніи съ новой для него средой. Такое же впечатлѣніе производятъ тѣ мѣста писемъ Кольцова, гдѣ онъ говорить о новыхъ для него явленіяхъ. Примѣрами могутъ служить слѣдующія фразы Кольцова: «Если что-нибудь дурно написалъ, простите, ваше сіятельство: въ первой съ роду пишу къ князю» (письмо къ кн. Вяземскому, май 1836 г.); «Ваше превосходительство, добрый вельможа и любезный поэтъ Василий Андреевич!» (обращеніе въ письмѣ къ Жуковскому, май 1838 г.). Наивнымъ, дѣтскимъ восторгомъ дышитъ описание маскарада въ письмѣ Кольцова къ сестрѣ отъ января 1841 г.: «Еще я былъ съ Красовымъ въ дворянскомъ собраниі, въ маскарадѣ, гдѣ было людей двѣ тысячи человѣкъ, много замаскированныхъ женщинъ, мужчинъ. Огромная зала полна людей, богато, разнообразно одѣтыхъ, танцующихъ; и музыка съ высокихъ хоръ, какъ съ дальняго неба, волнами разливаясь во всѣ стороны, падала внизъ, на насъ, людей наземныхъ». Слѣдуетъ отмѣтить, что въ сужденіяхъ Кольцова о разныхъ прочтенныхъ имъ литературныхъ произведеніяхъ, о которыхъ онъ говорить въ письмахъ къ Бѣлинскому, обнаруживается очень хороший литературный вкусъ. Между прочимъ, Кольцову чрезвычайно нравился Лермонтовъ, на раннюю смерть котораго онъ отозвался въ письмѣ къ Бѣлинскому (октябрь 1841 г.) слѣдующими словами: «Лермонтова убили до смерти, это старая новость; но она меня такъ сильно поразила, что до сей поры не выходитъ изъ души. И жаль, и досадно: только что покажется, хорошо не успѣшь полюбить,—какъ его и нѣтъ. Много мы въ немъ потеряли, незамѣнимая потеря!»

Къ своимъ произведеніямъ Кольцовъ относился съ болѣшою скромностью и высказалъ о себѣ слѣдующую совершенно вѣрную мысль: «Людямъ немного толку, что я мѣщанинъ, а надо, чтобы книга стояла за себя, безъ уменьшенія и увеличенія; а съ ограничениемъ толку немного». (Письмо къ Бѣлинскому, апрѣль 1840 г.).

Литературное наследие Кольцова весьма невелико: это около полутораста стихотворений, по объему очень незначительныхъ. Разбираясь въ этомъ материалѣ, можно раздѣлить стихотворенія Кольцова на три главныя группы (конечно, приблизительно). Одну группу составляютъ лирическія (иногда лиро-эпическія) стихотворенія обычного типа, выражаютія различныя душевныя состоянія поэта; сюда, напримѣръ, относятся: «Поэтъ и няня» (1833), «Цвѣтокъ» (1836), «Къ милой» (1838), «Миръ музыки» (1838), «Послѣдняя борьба» (1838), «На новый 1842 годъ» и нѣкоторыя другія. Большая часть такихъ произведений Кольцова не превосходитъ уровня посредственности. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ, впрочемъ, Кольцовъ поднимается до значительной силы выраженія; таковы «Послѣдняя борьба», «На новый 1842 годъ» и еще немногія. Во всякомъ случаѣ, Кольцовъ не въ такомъ совершенствѣ владѣлъ обще-литературнымъ языкомъ и не былъ настолько развитымъ человѣкомъ, чтобы изъ него могъ выйти выдающійся лирикъ обычного типа. Ко второму разряду можно отнести «думы» Кольцова, въ которыхъ ему хотѣлось выразить свои религиозно-философскія размышленія. Еще Бѣлинскимъ справедливо указано, что наиболѣе сильную сторону этихъ «думъ» составляетъ обыкновенно вопросъ, который съ большою искренностью и простотой ставить Кольцовъ. Попытки же къ разрешению вопросовъ обыкновенно весьма неудачны, и эти части думъ написаны нерѣдко тѣмъ вычурнымъ и темнымъ языккомъ, которымъ выражалъ Кольцовъ и въ письмахъ свои размышленія на отвлеченныя темы. Въ общемъ, думы представляются довольно слабыми произведеніями. Силу Кольцова, какъ поэта, составляетъ третья, весьма значительная группа его произведеній—это художественная обработка народной лирической пѣсни. Здѣсь Кольцовъ достигалъ большого мастерства въ передачѣ духа народной лирики, а равно и въ соблюдении ея формы. Настроенія, выраженные въ пѣсняхъ Кольцова, довольно разнообразны, но чувство всегда отличается тѣмъ широкимъ размахомъ, который характеренъ для народной лирики. Кольцовъ ничего не переживалъ вполовину, а отдавался своему чувству весь, ища и находя себѣ въ родной природѣ и отвѣтъ, и утѣшеніе, и символы, и сравненія. Очень рано являются у Кольцова прекрасные образцы такой пѣсни. Отмѣтимъ наиболѣе характерные. «Кольцо» (1830) выражаетъ горячее чувство любви и безнадежной

грусти въ разлукѣ съ милымъ; то же чувство въ «Пѣснѣ» 1832 г. (Ты не пой, соловей) и въ одной изъ прекраснѣйшихъ пѣсень Кольцова—«Не шуми ты, рожь» (1834). Такъ же беззавѣтно любить, но на этотъ разъ твердо надѣется завоевать свое счастье косарь, воспѣтый въ извѣстномъ стихотвореніи 1836 г. подъ этимъ названіемъ. Слѣдуетъ отмѣтить превосходную картину широкой степи, безпрѣдѣльной, какъ море, къ которому она «понадвинулась», и какъ чувство косаря, пришедшаго зарабатывать свое счастье. Въ большинствѣ пѣсень Кольцова изображена, вообще, вѣра въ свой «талантъ», рѣшимость отвоевывать его у судьбы. Таковъ Лихачъ-кудрявичъ въ первой своей пѣснѣ; таковъ «соколь», рѣшающійся «со двора пойти, куда путь манить» (Дума сокола, 1839); такая же смѣлость и удалъ въ «Пѣснѣ» 1838 г. «Въ полѣ вѣтеръ вѣтъ»; съ той же удалью восклицаетъ молодецъ, которому хотѣлось бы отправиться въ далекій путь: «Много думъ въ головѣ, много въ сердцѣ огня». Инымъ характеромъ отличается у Кольцова женское чувство: оно не менѣе сильно, но оно тише, спокойнѣе, и женщина покорнѣе и робче «молодца». Молча страдаетъ и тоскуетъ «молодая жница» (1836); молча грустить разлученная съ милымъ въ «Пѣснѣ» 1840 г. «Не скажу никому»; съ безнадежною грустью жалуется на горькую свою судьбу женщина, выданная замужъ «безъ ума, безъ разума»; такова же жалоба той, которую « силой выдали за немилова—мужа старова». Правда, и смѣлаго молодца преислѣдуется иногда злая судьба, «горе злосчастіе». Такъ, чувствуя «много въ сердцѣ огня», онъ, однако, ощущаетъ надѣсь собою тяготѣніе какой-то враждебной силы: «Да на путь—по душѣ—крѣпкой воли мнѣ нѣть, чтобъ въ чужой сторонѣ на людей поглядѣть». Та же сила гнететъ человѣка, которому выпала «горькая доля» и юность котораго пролетѣла «соловьемъ залетнымъ». («Горькая доля», 1837). Самъ Лихачъ-кудрявичъ теряетъ свою удалъ, когда «злая бѣда» «придетъ, сядетъ рядомъ, обѣ руку съ тобою пойдетъ и поѣдетъ». Всѣ перечисленныя и многія другія пѣсни Кольцова въ народномъ духѣ богаты стилистическими приемами, характерными для народной пѣсни. Эпитеты, сравненія, параллелизмы, повторенія словъ весьма часто встрѣчаются у Кольцова и всегда выдержаны въ народно-поэтическомъ духѣ. Приведемъ рядъ кольцовскихъ сравненій, взятыхъ изъ только-что охарактеризованной группы стихотвореній: «сохну, вяну я, что трава на степи пе-

редъ осенью» («Ты не пой, соловей»); «лицо бѣлое—заря алая» («Косарь»); «соловьемъ залетнымъ юность пролетѣла»; «какъ бы линку, вѣтеръ молодца шатаетъ» («Горькая доля»). Метафорическія выраженія, представляющія собою усиленное сравненіе, также встречаются постоянно: «Для того ли молодость соблюдали, нѣжили, за стекломъ отъ солнышка красоту лелѣяли» («Безъ ума, безъ разума»); «иль у сокола крылья связаны, иль пути ему всѣ заказаны» («Дума сокола»). Нерѣдко цѣлая пѣсня Кольцова представляется собою сплошную метафору; такова пѣсня «Въ полѣ вѣтеръ вѣтъ» (1838); такова превосходная пѣсня 1841 г. «Не весна тогда жизнью вѣяла». Примѣры эпитетовъ и параллелизмовъ можно найти почти въ каждой пѣснѣ Кольцова.

Къ этому же разряду произведеній Кольцова можно отнести отличающіяся тѣми же стилистическими особенностями стихотворенія скорѣе эпического, чѣмъ лирическаго характера, въ которыхъ нарисованы разные моменты жизни крестьянина-земледѣльца. Сюда принадлежитъ рядъ вещей, пользующихся широкой извѣстностью. Назовемъ слѣдующія: «Крестьянская пирушка» (1830), «Пѣсня пахаря» (1831), «Урожай» (1835), «Что ты спиши, мужичокъ» (1839). Давно замѣчено, что въ этихъ произведеніяхъ, какъ и въ лирическихъ изъ крестьянской жизни, эта жизнь у Кольцова представлена преимущественно съ своихъ свѣтлыхъ сторонъ. Кольцовскій крестьянинъ «весело ладить борону и соху» и вообще совершаеть свой трудъ съ наслажденіемъ, почти всегда бодръ и надѣется на успѣхъ. Ужасы крѣпостного права, тяжесть подневольного труда почти не нашли выраженія въ произведеніяхъ Кольцова. Это—поэтъ земледѣльческаго трудового года, и только поэтическая сторона крестьянской работы воплощена въ его стихотвореніяхъ. Слѣдуетъ, однако, оговориться, что одна крестьянская скорбь—горе насильственно выданной замужъ женщины—не разъ съ большою выразительностью передана Кользовымъ. Указанная особенность кольцовскихъ изображеній крестьянской жизни,—сосредоточеніе вниманія на поэзіи и красотѣ земледѣльческаго труда, а не на его скорби и тяжести—стоитъ въ тѣсной связи съ общими свойствами Кольцова, какъ поэта. Кольцовъ—пѣвецъ личности дѣйствующей, бодрой, а не страдающей и угнетаемой. Его поэзія—поэзія надежды на лучшее будущее, основанной на вѣрѣ въ силы души человѣческой.

Заключимъ характеристику произведеній Кольцова указаніемъ на прекраснѣшее изъ нихъ—знаменитый «Лѣсь», посвященный памяти Пушкина. Кольцовъ всегда относился къ Пушкину съ вели-кимъ благоговѣніемъ. Когда на литературномъ вечерѣ у Плетнева, описанномъ въ воспоминаніяхъ Тургенева, Кольцова просили что-нибудь прочитать, то онъ счелъ совершенно невозможнымъ высту-пать тамъ, откуда «Александръ Сергеевичъ только вышли». Смерть Пушкина глубоко поразила Кольцова, и первая половина его письма къ Краевскому, отъ 13 марта 1837 г., посвящена горькимъ размышле-ніямъ объ этой смерти, вылившимся въ размѣренную форму. Стихо-твореніе «Лѣсь» представляетъ собою превосходное символическое изображеніе судьбы Пушкина, будучи и само по себѣ высоко-худо-жественной картиной жизни лѣса. Мощью дышить изображеніе пол-наго жизненныхъ силъ лѣса лѣтомъ, безстрашно бушующаго и всту-пающаго въ битву съ «тучей-буурею». Заливная соловьиная пѣсня отговаривала лѣсь «въ ночь безмолвную». Ничего не боялся лѣсь, и никакие открытые враги не сломили его силъ. Но пришла осень,—и лѣсь одичалъ и замолкъ. «Во время сна къ безоружному силы вра-жия понахлынули. Съ богатырскихъ плечъ сняли голову—не боль-шой горой, а соломинкой». Зная послѣдніе годы жизни Пушкина, мы можемъ судить о томъ, какъ вѣрно передана здѣсь сущность судьбы великаго поэта.

Значеніе Кольцова заключается во внесеніи въ нашу литературу той мощной народно-поэтической стихіи, которой проникнуты луч-шія изъ его пѣсенъ. Если мы будемъ подходить къ Кольцову съ на-шей обычной литературной мѣркой, то не найдемъ удовлетворенія. Мы не встрѣтимъ у него ни тонкихъ оттѣнковъ чувства, ни глубины и оригинальности мысли, ни особой музыкальности и красоты выра-женія. Чтобы оценить Кольцова, надо съ нимъ нѣсколько сжиться, надо привыкнуть къ особенностямъ его ритма—съ виѣшней стороны не всегда безукоризненного, скорѣе внутренняго; къ его особымъ риѳмамъ—цѣлыми словами—скорѣе аллитерациямъ. Кольцовъ от-вѣтить далеко не на каждое чувство, но отвѣтить полно и сильно. У него своя, довольно ограниченная поэтическая сфера, но въ ней онъ полный хозяинъ и въ ней онъ несокрушимо крѣпокъ своею кров-ною связью съ основными свойствами русской народной души.

# В. Г. БЕЛИНСКИЙ, ЗАПАДНИЧЕСТВО И СЛАВЯНОФИЛЬСТВО.

---

## I.

### Белинскій.—Его біографія.

Въ тѣ десятилѣтія, когда наша литература достигала полной зрѣлости подъ первомъ Пушкина, Гоголя и Лермонтова и становилась на широкій путь художественного изображенія дѣйствительности, совершался и быстрый ростъ русской общественной, исторической и критической мысли. Уже во второй половинѣ двадцатыхъ годовъ въ Москвѣ, около основаніаго Погодинымъ, при участіі Пушкина, журнала «Московскій Вѣстникъ», группировался кружокъ молодыхъ людей, философски-любознательныхъ, во главѣ съ талантливымъ, но рано умершимъ поэтомъ Д. В. Веневитиновымъ. Этотъ кружокъ слѣдовалъ системѣ Шеллинга, въ сферѣ искусства сторонника безусловной свободы творчества; отраженіе этой теоріи искусства нѣкоторые видятъ въ пушкинскомъ стихотвореніи «Чернь», написанномъ около времени основанія «Московскаго Вѣстника» (1828). Вскорѣ послѣ того рядъ молодыхъ людей былъ отправленъ за границу для приготовленія къ занятію каѳедръ въ Московскомъ университѣтѣ. Однимъ изъ первыхъ профессоровъ новаго типа, оживившихъ университетъ, сдѣгался Н. И. Надеждинъ, читавшій теорію изящныхъ искусствъ, археологію и логику. Отчасти подъ вліяніемъ Надеждина слагается знаменитый кружокъ Станкевича, принимающійся за изученіе нѣмецкихъ философскихъ системъ, и изъ этого кружка выходятъ такие выдающіеся дѣятели, какъ Белинскій и Грановскій. Подъемъ интереса въ молодежи къ философіи явился вполнѣ естественнымъ въ эту эпоху. Это было время подведенія итогъ пройденному русской мыслью и литературой пути; понятно

было и желаніе отдать себѣ отчетъ въ причинахъ крушенія плановъ декабристовъ, подвести прочный философскій фундаментъ подъ общественно-политическія стремленія, выработать принципы дѣятельности. Внѣшнія условія могли также играть нѣкоторую роль; бдительность правительственной опеки и надзора надъ направленіемъ молодой мысли значительно усилилась; но роли этихъ внѣшніхъ условій не надо преувеличивать: они не помѣшали нѣсколькими годами позднѣе начаться и развиться плодотворному движению умовъ въ направленіи общественно-политическомъ. Всѣ тѣ стадіи развитія, которая прошла наша философская, критическая, а затѣмъ и общественная мысль съ начала тридцатыхъ до конца сороковыхъ годовъ, весьма тѣсно связаны съ именемъ выдающагося нашего критика Виссариона Григорьевича Бѣлинского. По особымъ свойствамъ своей натуры и своего таланта онъ занялъ центральное положеніе въ тогдашней умственной жизни мыслящаго русскаго общества и стать выразителемъ тѣхъ основныхъ положеній, до которыхъ эта мысль дорабатывалась. Правда, послѣ дѣленія нашей общественно-исторической мысли на два теченія—западническое и славянофильское—Бѣлинский сдѣлался глашатаемъ и истолкователемъ лишь первого, но мы убѣдимся, что и самое славянофильство познается отчасти по статьямъ Бѣлинского, въ которыхъ онъ полемизировалъ со славянофилами, а такъ какъ послѣдніе не выставили ни одного дѣятеля, который бы сыгралъ въ развитіи русской литературы роль, хотя приблизительно равную роли Бѣлинского, то мы и поставимъ личность и дѣятельность послѣдняго въ центръ нашего краткаго обзора развитія русской мысли въ тридцатые и сороковые годы.

В. Г. Бѣлинский родился 30 мая 1811 г. въ семье небогатаго военнаго врача и провелъ дѣтство въ средѣ не особенно развитой и не особенно благопріятной для правильнаго хода развитія мальчика, съ дѣтства обнаруживавшаго страстную любознательность, нравственную чуткость и впечатлительность. Съ 1820 до 1825 г. Бѣлинский учился въ Чембарскомъ уѣздномъ училищѣ, гдѣ обратилъ на себя вниманіе извѣстнаго исторического романиста И. И. Лажечникова, посѣтившаго училище. Лажечниковъ былъ пораженъ любознательностью и развитіемъ мальчика и подарилъ ему книгу на память. Затѣмъ Бѣлинский переходитъ въ пензенскую гимназію, гдѣ пробылъ четыре года, съ 1825 по 1829. Есть основаніе полагать, что

уже въ годы пребыванія въ чебарскомъ училищѣ Бѣлинскій пытался писать стихи; въ Пензѣ онъ продолжалъ эти попытки, но стихотворенія Бѣлинскаго до нась не дошли, и онъ впослѣдствіи отзывался о нихъ съ безпощаднымъ и, повидимому, заслуженнымъ отрицаніемъ. Большое вліяніе на Бѣлинскаго окказалъ учитель словесности въ Пензенской гимназіи М. М. Поповъ. Въ 1829 г. Бѣлинскій поступилъ въ Московскій университетъ; въ Москвѣ ему приходилось сильно бѣствовать, такъ какъ отецъ присыпалъ денегъ очень мало и только послѣ долгихъ и унизительныхъ просьбъ. Въ 1830 г. Бѣлинскій поступилъ на казенный «коштъ», на время прельстившій юношу, но скоро оказавшійся очень плохимъ. Столкновенія съ начальствомъ привели Бѣлинскаго къ страстному желанію уйти съ казеннаго кошта. Не имѣя средствъ къ существованію, онъ сталъ мечтать о литературномъ заработкѣ и написалъ драму «Дмитрій Калининъ», которую и представилъ въ цензурный комитетъ, состоявшій изъ профессоровъ университета. Комитетъ призналъ драму «безнравственной и позорящей университетъ»; Бѣлинскому грозили даже ссылкою въ Сибирь за его смѣлое произведеніе. Правда, профессоръ цензурного комитета, читавшій драму Бѣлинскаго, «расхвалилъ его сочиненіе и его таланты какъ нельзя лучше», но это не помѣшало признанію драмы «безнравственной». Ректоръ распорядился, чтобы о Бѣлинскомъ ему ежемѣсячно подавались особья донесенія. Въ сентябрѣ 1832 г. Бѣлинскій былъ исключенъ изъ университета, причемъ инспекторъ, профессоръ Щепкинъ, въ донесеніи помощнику попечителя объяснялъ необходимость исключенія Бѣлинскаго его слабымъ здоровьемъ и *ограниченностью способностей*. Біографы Бѣлинскаго считаютъ, однако, главнѣйшей причиной его исключенія написанную имъ драму, краткій разборъ которой будетъ нами сдѣланъ при обзорѣ дѣятельности Бѣлинскаго. Весною 1833 г. Бѣлинскій познакомился съ издателемъ журнала «Телескопъ», проф. Московскаго университета Н. И. Надеждинымъ, и скоро сталъ сотрудникомъ «Телескопа» и прилагавшейся къ нему газеты «Молва». Въ первый годъ Бѣлинскій помѣщалъ въ этихъ изданіяхъ многочисленные свои переводы съ французскаго, а осенью 1834 г. въ «Молвѣ» появилась первая крупная критическая статья Бѣлинскаго—«Литературная Мечтанія», въ которой сказалось увлеченіе кружка Станкевича системой Шеллинга, и эта система примѣнена была къ лите-

ратурнымъ явленіямъ. На статьѣ замѣтно и вліяніе Полевого—довольно талантливаго критика и издателя «Московскаго Телеграфа»—и отчасти Надеждина. Вслѣдъ за «Литературными Мечтаніями» въ «Телескопѣ» и «Молвѣ» появляется цѣлый рядъ критическихъ статей и рецензій Бѣлинскаго, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательны: «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя» (1835), «О критикѣ и литературныхъ мнѣніяхъ Московскаго Наблюдателя» (1836), «Опытъ системы нравственной философіи Дроздова» (1836). Сотрудникомъ, а по временамъ и редакторомъ «Телескопа» Бѣлинскій оставался до закрытия этого журнала, т. е. до послѣднихъ мѣсяціевъ 1836 г. Въ 1837 г. вышли въ свѣтъ «Основанія русской грамматики для первоначального обученія, составленныя Виссаріономъ Бѣлинскимъ. Часть первая. Грамматика аналитическая (этимологія)». Съ 1838 г. Бѣлинскій дѣлается редакторомъ журнала «Московскій Наблюдатель», который и велъ до весны 1839 г. Эти годы—1836—1839—ознаменованы въ жизни Бѣлинскаго сильнымъ вліяніемъ М. А. Бакунина, который ознакомилъ Бѣлинскаго съ философской системой Гегеля и такъ хорошо разъяснилъ ее Бѣлинскому, что Герценъ находилъ во всей Европѣ только двухъ людей, кроме Бакунина, правильно понимавшихъ Гегеля: Прудона и Бѣлинскаго. Ознакомиться непосредственно съ сочиненіями Гегеля Бѣлинскій не могъ вслѣдствіе незнанія нѣмецкаго языка. Страстное увлеченіе Гегелемъ привело къ коренной перемѣнѣ въ отношеніи Бѣлинскаго къ русской дѣйствительности. Еще съ «Дмитрія Калинина» Бѣлинскій призывалъ своихъ читателей къ протесту и борьбѣ противъ всякихъ условій, стѣсняющихъ свободное развитіе человѣка или общества. Теперь же, съ 1836 г., вслѣдствіе вліянія Бакунина, Бѣлинскій дѣлается горячимъ приверженцемъ того взгляда, что весь сложившійся исторически строй жизни, со всѣми его сторонами, есть результатъ настолько сложнаго и мудраго процесса, что возставать противъ какихъ-либо явлений въ этой сферѣ смѣшно и глупо. Это примиреніе Бѣлинскаго съ дѣйствительностью выражилось въ цѣломъ рядѣ писемъ Бѣлинскаго, изъ которыхъ наиболѣе замѣчательно письмо отъ 7 августа 1837 года изъ Пятигорска, во время лѣчебной поѣздки на Кавказъ. Въ этомъ письмѣ Бѣлинскій развиваетъ взгляды, во многомъ сходные со взглядами гоголевскихъ «Выбранныхъ мѣстъ изъ переписки съ друзьями». Всю задачу каждого мыслящаго человѣка въ

Россії онъ сводить къ личному самосовершенствованію. «Вся надежда Россії», говоритъ онъ, «на просвѣщеніе, а не на перевороты, не на революціи, не на конституціи». Эту новую стадію своего развитія Бѣлинскій отразилъ въ рядѣ статей, напечатанныхъ за указанный періодъ времени (1836—1840 включительно). Наиболѣе яркими изъ этихъ статей являются: «Очерки Бородинского сраженія» (1839), статья о «Горѣ отъ ума» (1839) и «Менцель, критикъ Гете» (1840). Побывавъ осенью 1836 г. въ имѣніи Бакуниныхъ, Прямухинѣ, Новоторжскаго уѣзда, Тверской губерніи, Бѣлинскій полюбилъ одну изъ сестеръ своего друга, но не встрѣтилъ взаимности. Примиреніе съ этой неудачей было для него облегчено общимъ примирительнымъ настроеніемъ его въ то время. Къ 1840—41 г. г. Бѣлинскій постепенно освобождается отъ увлеченія оправданіемъ дѣйствительности. Это освобожденіе должно было наступить, такъ какъ по своей нравственной природѣ Бѣлинскій неспособенъ быть примириться съ темными сторонами русской жизни и прежде всего съ крѣпостнымъ правомъ. Эволюція взглядовъ Бѣлинскаго ускорилась его перѣездомъ въ октябрѣ 1839 г. изъ Москвы въ Петербургъ, где онъ сталъ завѣдовать критическимъ отдѣломъ въ издававшемся Краевскимъ журналѣ «Отечественные записки». Въ Петербургѣ, находясь ближе къ органамъ центральной власти, испытывая еще больниче цензурный гнетъ, познакомившись съ новыми людьми, Бѣлинскій скоро начинаетъ иными глазами смотрѣть на русскую или, какъ онъ выражался, «расейскую» дѣйствительность. Эта перемѣна въ общественно-политическихъ взглядахъ Бѣлинскаго отразилась, какъ мы увидимъ, и на его литературныхъ сужденіяхъ. Къ петербургскому періоду жизни и дѣятельности Бѣлинскаго относится рядъ лучшихъ и значительнѣйшихъ его статей. Таковы: «Стихотворенія Лермонтова» (1841), «Сочиненія Державина» (1843—46), «Сочиненія Александра Пушкина» (1843—46, цѣлый курсъ исторіи новой русской литературы), «А. В. Кольцовъ» (1846), «Н. А. Полевой» (1846) и рядъ годичныхъ литературныхъ обзоровъ, идущихъ съ 1842 г., изъ которыхъ особенно важна статья «Взглядъ на русскую литературу 1847 г.» Съ января 1847 г. Бѣлинскій переносить свою дѣятельность въ купленный и обновленный Некрасовымъ «Современникъ». Истощая на срочную журнальную работу силы своего некрѣпкаго организма, давно надорванного материальными лишеніями и напряжен-

нымъ трудомъ, Бѣлинскій горѣлъ быстро и шель къ раннему концу. Не помогла ему поездка для лѣченія за границу въ 1847 г., и 26 мая 1848 г., предъ началомъ такъ называемаго «цензурнаго террора», Бѣлинскій скончался.

## II.

### Личность и дѣятельность Бѣлинскаго.

Обращаясь къ обзору дѣятельности Бѣлинскаго, остановимся въ нѣсколькихъ словахъ на его юношеской драмѣ. Какъ произведеніе драматическое, «Дмитрій Калининъ» чрезвычайно слабъ: почти вся драма состоитъ изъ ряда длиннѣйшихъ монологовъ главнаго героя, неправдоподобно-насыщенныхъ, нечеловѣчески жестокихъ и страшныхъ до невѣроятія. Въ этомъ отношеніи Бѣлинскій превзошелъ Лермонтова съ его ранними драмами, а мы знаемъ по приводившимся цитатамъ, что и у Лермонтова не было недостатка въ ужасахъ. Драма Бѣлинскаго интересна въ другомъ отношеніи: какъ яркое изображеніе всей безнравственности и жестокости крѣпостного права. Главный герой драмы, Дмитрій Калининъ, крѣпостной человѣкъ помѣщика Лѣсинскаго, воспитывается послѣднимъ вмѣстѣ съ его собственными дѣтьми, является его любимцемъ и долженъ получить отпускную. Но Лѣсинскій умираетъ въ отсутствіи Калинина; вдова и сыновья Лѣсинскаго, жестокіе крѣпостники, уничтожаютъ отпускную и требуютъ, чтобы Калининъ служилъ въ качествѣ лакея на свадьбѣ дочери Лѣсинскаго, Софы. Послѣдняя любить Калинина, давно ее полюбившаго. Пріѣхавъ къ Лѣсинскимъ, Дмитрій, обуреваемый ненавистью къ сыновьямъ своего благодѣтеля, убиваетъ одного изъ нихъ за то, что тотъ назвалъ его рабомъ; затѣмъ, бѣжавъ изъ тюрмы, убиваетъ Софью, по ея собственной просьбѣ, и наконецъ кончаетъ самоубійствомъ со словами: «Свободнымъ жиль я, свободнымъ и умру!» Трагизмъ судьбы Дмитрія усиливается ужасною истиной, которую онъ узнаетъ предъ смертью изъ записки своего покойнаго благодѣтеля: онъ, Калининъ, оказывается сыномъ Лѣсинскаго, а слѣдовательно братомъ Софы, взаимною любовью которой долго пользовался.

Повторяемъ, что по чисто-литературнымъ и въ особенности драматическимъ своимъ достоинствамъ данное произведение весьма слабо. Стоить, напримѣръ, указать, что въ сценѣ, гдѣ Калининъ убиваетъ Софью, не желающую выходить замужъ за нелюбимаго человѣка, оба дѣйствующихъ лица такъ долго объясняются о томъ, нужно или не нужно Софью быть убитой, что получается цѣлый морально-философскій трактать. Цѣнность драмы въ томъ, что она по самому своему замыслу есть громкій протестъ противъ рабства. Именно рабство, «гибельное право однихъ людей порабощать своей власти волю другихъ, подобныхъ имъ существъ, отнимать у нихъ священное сокровище—свободу»—является причиной ужасной гибели двухъ идеально настроенныхъ молодыхъ людей—Дмитрия и Софии. Правда, что Бѣлинскій никогда не ставить вопроса на почву политическую, а остается въ сферѣ нравственной; онъ даже въ примѣчаніи къ одному изъ монологовъ Дмитрия восхваляетъ наше «мудре и попечительное правительство» за ограниченіе помѣщичьихъ злоупотребленій, и биографъ Бѣлинского, С. А. Венгеровъ, считаетъ это восхваленіе вполнѣ искреннимъ. Но изъ какихъ бы побужденій ни исходилъ самъ Бѣлинскій, во всякомъ случаѣ драма представляетъ собою одинъ изъ самыхъ яркихъ протестовъ противъ крѣпостного права въ нашей литературѣ первой половины XIX в. Отмѣтимъ указанное С. А. Венгеровымъ удивительное совпаденіе: въ одну и ту же зиму (1830—1831) два юныхъ студента Московскаго университета, Бѣлинскій и Лермонтовъ, оба изъ Чембара, Пензенской губ. (Тарханы находятся въ Чембарскомъ уѣздѣ) въ драматической формѣ бичуютъ крѣпостное право, не будучи знакомы между собою. Это совпаденіе можетъ объясняться тѣмъ, что близкіе родственники Лермонтова и хорошиѣ знакомые семьи Бѣлинскихъ, помѣщики Мосоловы, отличались крайнею жестокостью и были потомъ оба—мужъ и жена—убиты своими крѣпостными. Возможно, что именно Мосолова изображена Лермонтовымъ въ «Странномъ человѣкѣ» и Бѣлинскимъ въ лицѣ Лѣсинской. Самъ Бѣлинскій писалъ отцу про свою драму: «Вы увидите многія лица, довольно вамъ извѣстныя».

Перейдемъ къ первой критической статьѣ Бѣлинского—«Литературнымъ мечтаніямъ». Она можетъ быть, какъ и большинство статей Бѣлинского, раздѣлена на двѣ части: вступительную —

общаго характера—и главную, гдѣ общія положенія прилагаются къ конкретнымъ литературнымъ явленіямъ. Бѣлинскій начинаетъ свою статью со смѣлаго заявленія, что «у нась нѣть литературы». Установлено, что эта мысль Бѣлинскаго вовсе не была для того времени новой. Указано, что Марлинскій, Веневитиновъ и Полевой высказывали ее до Бѣлинскаго. Цѣнность заявленія Бѣлинскаго стоитъ въ томъ, что онъ сейчасъ же подробно мотивируетъ свое мнѣніе и даетъ превосходное опредѣленіе понятія литературы, составляющее одну изъ самыхъ цѣнныхъ мыслей статьи. Подъ литературой Бѣлинскій не находитъ возможнымъ разумѣть совокупность отдельныхъ, хотя бы и прекрасныхъ, но случайно появляющихся художественныхъ произведеній. «Литературою», говорить онъ, «называются собраніе такого рода художественно-словесныхъ произведеній, которая суть плодъ свободнаго вдохновенія и дружныхъ (хотя и неусловленныхъ) усилій людей, созданныхъ для искусства, дышащихъ для одного его и уничтожающихся въ немъ, вполнѣ выражаютъ и воспроизвѣдающихъ въ своихъ изящныхъ созданіяхъ духъ того народа, среди которого они рождены и воспитаны, жизнью которого они живутъ и духомъ которого дышать, выражаютъ въ своихъ творческихъ произведеніяхъ его внутреннюю жизнь до сокровеннѣйшихъ глубинъ и біеній». Приведенное определеніе литературы ставитъ ее, какъ мы видимъ, въ тѣснѣшую связь съ духомъ и жизнью народа. Литература въ пониманіи Бѣлинскаго является органомъ духовной жизни данного народа, необходимую потребностью, а не случайной совокупностью «chef d'oeuvres'овъ». Такое глубокое пониманіе литературы, естественно, приводило Бѣлинскаго къ убѣждению, что у нась въ 1834 году литературы еще не было: она только начинала зарождаться. Прежде, однако, чѣмъ перейти къ доказательству своей мысли, Бѣлинскій даетъ философское обоснованіе этой мысли, и въ одушевленной характеристики искусства излагаетъ главные принципы системы Шеллинга, высказывая, между прочимъ, и ту, распространенную тогда мысль, что «каждый народъ выражаетъ собою одну какую-нибудь сторону жизни человѣчества». Вотъ выраженіемъ этой «одной стороны», этой національной идеи и должна являться литература данного народа. При этомъ Бѣлинскій стоитъ, конечно, на точкѣ зреїнія безусловной свободы творчества. Въ природѣ нѣть низкихъ пред-

метовъ: «одинъ и тотъ же духъ Божій создалъ кроткаго агнца и кровожаждущаго тигра, статную лошадь и безобразнаго кита, красавицу черкешенку и урода-негра». А такъ какъ «поэтическое одушевлѣніе есть отблескъ творящей силы природы», то и для поэта нѣть низкихъ предметовъ. Признаніе Шеллингомъ полной свободы творчества мы видѣли уже выше. Вторая половина статьи представляеть собою обзоръ нашей литературы отъ Кантемира до тридцатыхъ годовъ XIX вѣка. Очень многое изъ того, что сказано здѣсь Бѣлинскимъ, давно уже вошло въ общее сознаніе, но тогда оценки Бѣлинского были новы, а нерѣдко казались и дерзкими. Предвидя обвиненіе въ дерзости, Бѣлинский прямо заявляетъ въ своей статьѣ, что не признаетъ «литературнаго идолопоклонства». Считая, что писатели имѣютъ полное право на свободу творчества, Бѣлинский за читателями признаетъ такое же право на свободу критики. Чрезъ весь свой обзоръ Бѣлинский проводитъ историческую точку зрѣнія, постоянно указывая на то, что нѣкоторыя стороны дѣятельности и произведеній того или иного писателя могли имѣть большое значеніе для современниковъ и восхищать ихъ, такъ какъ отвѣчали на тѣ запросы, которые исторически возникли въ тогдашнемъ обществѣ; но съ теченіемъ времени эти заслуги писателя дѣлаются только историческими, и то, что удовлетворяло вкусъ нашихъ предковъ и казалось имъ прекраснымъ, можетъ оказаться скучнымъ для насъ, что, однако, нисколько не мѣшаетъ намъ уважать писателя, въ свое время содѣйствовавшаго развитію общества. Такая точка зрѣнія Бѣлинского, теперь для насъ очень простая и неоспоримая, въ то время, однако, была нова, и, прилагая ее къ Карамзину, Бѣлинский предвидѣлъ негодованіе его поклонниковъ, приглашавшихъ «молиться на его могилѣ и шептать его святое имя». Въ отдѣльныхъ своихъ приговорахъ тѣмъ или инымъ писателямъ XVIII и начала XIX вѣка Бѣлинский въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» нерѣдко ошибается; такъ, онъ непомѣрно преувеличилъ значеніе и достоинство произведеній Державина и вообще не соблюдалъ мѣры въ восторгахъ предъ вѣкомъ Екатерины. Но эти частныя ошибки нисколько не колеблютъ громаднаго значенія статьи въ цѣломъ. Статья эта въ блестящей и общедоступной формѣ выразила всѣ тѣ мысли о литературѣ вообще и русской въ частности, о писателяхъ и обществѣ, о свободѣ творчества и задачахъ критики, которыя на-

копились въ мыслящихъ кругахъ московской литературной молодежи. Кружокъ Станкевича, Марлинский, Полевой, Надеждинъ отразились въ разныхъ частяхъ статьи, но всѣ идеи этихъ людей получили совсѣмъ особое, только Бѣлинскому свойственное, вдохновенное выражение, вошли въ сознаніе читающей публики. Значеніе Бѣлинского, какъ натуры, по удачному выражению Тургенева, «центральной», какъ посредника между философскими выводами избранныхъ и простыми смертными, сказалось уже здѣсь очень ярко. Вмѣстѣ съ тѣмъ, уже по этой статьѣ можно было заключать о чрезвычайномъ эстетическомъ вкусѣ и критической проницательности Бѣлинского. Эти качества изрѣдка ему измѣнили, когда онъ слишкомъ увлекался той или иной теоріей и подгонялъ подъ нее свои литературные сужденія, или когда онъ слишкомъ послѣднио составлялъ свои мнѣнія, но въ общемъ проницательность Бѣлинского нерѣдко была изумительна. Примѣромъ ея можетъ служить упоминавшаяся нами статья «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя» (1835). Въ этой статьѣ, имѣя въ своесть распоряженій только «Вечера на хуторѣ» и «Миргородъ», Бѣлинский далъ определеніе «отличительного характера повѣсти Гоголя» въ слѣдующихъ выраженіяхъ: «Простота вымысла, народность, совершенная истина жизни, оригинальность и комическое одушевленіе, всегда побѣждающее глубокимъ чувствомъ грусти и унынія». Гоголя Бѣлинский называлъ поэтомъ жизни действительной и призналъ въ правѣ занять освобожденное Пушкинымъ мѣсто главы нашей литературы. (Пушкина Бѣлинский въ это время считалъ «завершившимъ кругъ своей художнической дѣятельности», такъ какъ Пушкинъ оставилъ неизданными лучшія свои произведенія этого времени). Такъ характеризовалъ Бѣлинский Гоголя въ то время, когда лучшій и влиятельнейший критикъ—Полевой—говорилъ про Гоголя, что онъ «забавно пишетъ и вѣрно списываетъ съ натуры». Свою критическую прозорливость Бѣлинский подтвердилъ цѣлымъ рядомъ позднѣихъ своихъ статей. Онъ не только превосходно истолковалъ Пушкина, Лермонтова, Грибоѣдова и Гоголя, имена которыхъ, по выражению Аполлона Григорьева, имя Бѣлинского обвило, какъ плющъ, но и разгадалъ дарование Кольцова, Майкова, Гончарова, Достоевскаго, Тургенева и цѣлаго ряда менѣе значительныхъ писателей. Статьи Бѣлинского отличаются при этомъ тѣмъ свойствомъ, что

нерѣдко по поводу ничтожной книжки онъ съ блескомъ развивалъ свои теоретическія положенія, создавая цѣлую вдохновленную импревизацію. Работая для журналовъ, Бѣлинскій часто повторялъ основные свои принципы, понимая, что журнальныя статьи забываются, и считаясь со слабой подготовкой нашей читающей публики. Благодаря замѣчательной способности просто, ясно, поестественному и выпукло выражать свои мысли, Бѣлинскій разъяснялъ общедоступнымъ образомъ философскія и эстетическія теоріи, которыхъ кладъть основу своихъ сужденій о литературныхъ явленіяхъ. Бѣлинскій своими статьями, несомнѣнно, воспитывалъ русское общество философски и эстетически; но онъ воспитывалъ его и нравственно, и политически. Глубокая, вдохновленная убѣжденностъ статей Бѣлинскаго, ихъ замѣчательная искренность сдѣлали имя Бѣлинского извѣстнымъ и популярнымъ въ самыхъ глухихъ углахъ русской провинціи. Объ этой популярности Бѣлинского идутъ извѣстія и съ его противниковъ по убѣжденіямъ—славянофиловъ. Отличительнымъ свойствомъ Бѣлинского являлась его способность отдаваться цѣликомъ, безъ раздѣла, тому, во что онъ вѣрилъ въ данный моментъ. Мы уже говорили, что приблизительно въ 1836—1840 годахъ Бѣлинскій вѣрилъ въ «разумность» сложившагося порядка вещей. Въ это время ему казались дѣтски-смѣшными всякие протесты противъ этого сложившагося порядка. И вотъ, въ 1839 году Бѣлинскій, сообразно съ этими своими воззрѣніями, произносить суровый приговоръ надъ грибоѣдовскимъ Чацкимъ. Слѣдуетъ имѣть въ виду, что нападки Бѣлинского устремлены именно на Чацкаго, а не на самую комедію. Примиреніе съ дѣйствительностью не помѣшало (да и никогда не мѣшало) Бѣлинскому правильно оцѣнивать художественные произведенія. Комедія Гоголя «Ревизоръ», въ которой усматривали нисколько не менѣе, а даже больше политического свободомыслія, чѣмъ въ «Горѣ отъ ума», охарактеризована, однако, въ той же самой статьѣ, какъ идеаль комедіи. Съ начала сороковыхъ годовъ Бѣлинскій ведеть въ своихъ статьяхъ одушевленную борьбу со всѣмъ тѣмъ, что становилось на пути развитія общественного самосознанія. Между прочимъ, немало труда потратилъ Бѣлинскій на борьбу со славянофильствомъ, поскольку въ системѣ послѣдняго находились тормозящіе общественный прогрессъ элементы. Необходимо имѣть, однако, въ виду при характеристикѣ

взглядовъ Бѣлинскаго въ петербургскій періодъ его дѣятельности, что онъ не измѣнилъ въ это время основнымъ своимъ воззрѣніямъ на художественное творчество, заявленнымъ еще со времени «Литературныхъ мечтаній». Перемѣна въ воззрѣніяхъ Бѣлинскаго сказалась лишь въ томъ, что онъ сталъ цѣнить и выдвигать соціальный элементъ въ разбираемыхъ имъ произведеніяхъ, но это не мѣшало ему оцѣнивать высоко и такихъ далѣкихъ отъ общественной борьбы поэтовъ, какъ Кольцовъ и Майковъ. Художественное творчество оставалось для Бѣлинскаго дорогимъ само по себѣ, какъ одинъ изъ прекраснѣйшихъ видовъ искусства, и Бѣлинскій никогда не низводилъ поэзіи на степень лишь одного изъ орудій общественной борьбы. Свобода творчества, провозглашенная въ «Литературныхъ мечтаніяхъ», оставалась однимъ изъ основаній критического міросозерцанія Бѣлинскаго. Тѣмъ съ болѣшимъ чувствомъ удовлетворенія, даже восторга, привѣтствовалъ Бѣлинскій выступленіе тѣхъ писателей, въ творчествѣ которыхъ видѣлъ гармоническое сліяніе художественного совершенства съ общественной значительностью. Такова была «реальная» или «натуральная» школа, пошедшая по слѣдамъ Пушкина и Гоголя. Давно уже предсказавъ торжество реализма въ русской литературѣ, Бѣлинскій съ чувствомъ удовлетворенія привѣтствовалъ ту плеяду художниковъ-реалистовъ, которая въ 1846—7 г.г. дебютировала въ «Современникѣ». Въ статьѣ «Взглядъ на русскую литературу 1847 г.» Бѣлинскій разъяснилъ по первымъ произведеніямъ Достоевскаго, Тургенева и Гончарова особенности таланта этихъ писателей съ тою мѣткостью и прозорливостью, съ какою за 12 лѣтъ передъ тѣмъ характеризовалъ Гоголя по «Миргороду».

Но значеніе Бѣлинскаго въ исторіи русского общества и литературы отнюдь не исчерпывается истолкованіемъ смысла произведеній ряда величайшихъ нашихъ писателей и установлениемъ теоретическихъ основаній критики. Бѣлинскій еще основатель исторіи русской литературы. Историческая точка зренія положена была имъ въ основу всѣхъ его литературныхъ сужденій, какъ мы знаемъ, еще съ «Литературныхъ мечтаній». И хотя въ статьяхъ Бѣлинскаго найдется немало погрѣшностей противъ исторической перспективы, все же Бѣлинскій неуклонно и настойчиво указывалъ на необходимость искать въ прошломъ корней настоящаго и съ замѣчательною

прозорливостью выводилъ изъ настоящаго перспективы будущаго. Въ этомъ смыслѣ Бѣлинскій вдвойнѣ можетъ быть названъ центральной натурой: онъ не только отразилъ въ своихъ статьяхъ господствующія литературныя мнѣнія своей эпохи, но и озnamеновалъ своею дѣятельностью великой рубежъ въ исторіи русской литературы: оглянулся на ея прошлое, подвелъ ему итогъ и разъяснилъ тотъ широкій путь, по которому должно было пойти ея дальнѣйшее развитіе. При отмѣченной уже нами способности Бѣлинскаго общедоступно излагать теоретическія положенія, какъ бы они ни были трудны и сложны, заслуга Бѣлинскаго, только что охарактеризованная, становится особенно важной.

Личность Бѣлинскаго обладала такими особенностями, которая сообщили его статьямъ еще одно свойство, усиливающее ихъ цѣнность. Мы уже говорили о глубокой искренности и часто высокой вдохновенности этихъ статей. Страстный и неутомимый искатель истины, Бѣлинскій не боялся сознаваться въ своихъ ошибкахъ, «сжигать все, чему поклонялся, и поклоняться всему, что сжигалъ». Въ каждой строкѣ лучшихъ его статей сквозила его душа, никогда не успокаивавшаяся на добытыхъ выводахъ, «горѣвшая полуночной лампадой передъ святынею добра». Со смерти Бѣлинскаго прошло больше шестидесяти лѣтъ, а между тѣмъ многія мѣста лучшихъ его статей зажигаются и теперь воспріимчиваго читателя. Когда вы берете эти статьи, то между авторомъ и вами устанавливается какая-то особенная близость; вы проникаетесь върой въ него, каждую минуту признающагося въ своихъ статьяхъ, какихъ предметовъ и наукъ онъ вовсе не знаетъ, и о какихъ, поэтому, не берется судить. Никакія отступленія, длинноты и повторенія не кажутся неумѣстными въ статьяхъ Бѣлинскаго. Въ нихъ говорить живая душа человѣческая, говорить не по плану, а по внутренней потребности, часто по вдохновенію. Именно благодаря этой сторонѣ своихъ статей, часто достигающихъ замѣчательной лирической силы, Бѣлинскій сталъ любимцемъ и непрекаемымъ авторитетомъ мыслящей молодежи. Благодаря этому приобрѣтенному Бѣлинскимъ вліянію на наиболѣе чуткую часть общества ему удалось выполнить и нелегкую задачу борьбы съ «литературнымъ идолопоклонствомъ». Много ложныхъ боговъ низвергъ Бѣлинскій съ ихъ незаслуженныхъ пьедесталовъ. «Мы еще не рѣшили вопроса о существованіи

Бога, а вы хотите ъсть!» съ горькимъ упрекомъ сказалъ однажды Бѣлинскій Тургеневу. Въ этихъ словахъ сказался весь «неистовый Вискаріонъ», предъ именемъ котораго, какъ «учителя», «смиренно преклонялъ колѣна» Некрасовъ, «молясь его многострадальной тѣни».

### III.

#### **Западничество и славянофильство.**

Въ сдѣланномъ краткомъ очеркѣ жизни, личности и дѣятельности Бѣлинскаго мы останавливались преимущественно на его литературныхъ взглядахъ, критическихъ заслугахъ и роли учителя русского общества. Переидемъ къ ознакомленію съ тѣми направлениями общественной мысли, въ литературной борьбѣ которыхъ Бѣлинскій принялъ дѣятельное участіе, т. е. съ западничествомъ и славянофильствомъ. Вопросы общественно-историческіе, вопросъ о томъ пути, по которому шла наша исторія и должна итти дальше наша жизнь, а въ связи съ этимъ личность Петра Великаго стали интересовать наше общество еще въ двадцатыхъ годахъ. Такого рода вопросыставилъ Рыльевъ въ своихъ «Думахъ», Грибоѣдовъ въ «Горе отъ ума», Пушкинъ въ «Мѣдномъ всадникѣ». Въ 1836 г., въ октябрьской книжкѣ «Телескопа», появилась замѣчательная статья извѣстнаго намъ немногого друга Пушкина, Петра Яковлевича Чаадаева, «Первое философическое письмо», написанная на французскомъ языкѣ еще въ 1829 г. Статья имѣла для журнала роковыя послѣдствія: онъ былъ закрытъ, а редакторъ сосланъ въ Усть-Сысольскъ. Авторъ статьи Чаадаевъ былъ официально объявленъ сумасшедшими и подвергнутъ врачебно-полицейскому надзору. Прослѣдимъ главныя мысли статьи Чаадаева. Русскіе, по его мнѣнію, являются народомъ безъ исторіи, безъ традицій, безъ культуры. Мы родимся въ мірѣ, какъ какіе-то пришельцы; у насъ нѣть здоровой умственной атмосферы, въ которой бы мы росли, воспитывались, составляли свое міросозерцаніе и учились примѣнять къ дѣлу свои силы. Въ Европѣ, по словамъ Чаадаева, есть рядъ идей, настолько вошедшихъ въ плоть и кровь общества, что онъ сдѣлались тѣмъ умственнымъ духомъ, которымъ дышитъ каждое поколѣніе, чувствуя свою преемственную связь съ прошлыми поколѣніями, сознавая, что продолжаетъ дѣло, давно начатое. Мы же проходимъ какими-то блѣдными

тѣнями, какими-то странниками, и потому намъ приходятъ въ голову неожиданныя и нелѣпыя идеи и стремленія. Изображеніе русскаго общества у Чаадаева многими чертами напоминаетъ «Думу» Пермонтова, особенно стихи: «Толпой угрюмою и скоро позабытой надъ міромъ мы пройдемъ безъ шума и слѣда», а также стихи: «И жизнь ужъ нась томитъ, какъ ровный путь безъ щѣли, какъ пиръ на праздникѣ чужомъ». Охарактеризованное глубокое различіе между европейцами и нами Чаадаевъ объяснялъ въ своей статьѣ тѣмъ, что мы лишены были главнаго объединяющаго культурнаго фактора, создавшаго всю западно-европейскую исторію, а именно католицизма. Чаадаевъ придавалъ громадное значеніе идеѣ единства, считалъ ее превосходнымъ воспитательнымъ средствомъ. И вотъ въ то время, какъ Европа молилась и писала на одномъ языкѣ, создала одинъ и тѣ же государственные и общественные формы жизни и составила какъ бы одинъ народъ, мы явились отщепенцами, принявъ христіанство изъ «растлѣнной», по выражению Чаадаева, Византіи. Оторванные отъ культурнаго Запада, мы испытали печальную и бурную судьбу: трехвѣковая татарщина, а затѣмъ собственная княжеская власть, принявшая татарски-деспотический характеръ, сдѣлали судьбу русскаго народа игралщикомъ прихоти и пріучили этотъ народъ ежеминутно ощущать возможность какихъ-нибудь неожиданныхъ перемѣнъ, идущихъ отъ каприза власти. Такъ шло дѣло до Петра Великаго, который, по мнѣнію Чаадаева, собралъ въ кучу всѣ наши преданія и бросилъ ихъ въ яму, обративъ русскую жизнь въ *tabula rasa*, на которой отнынѣ можно было записывать что угодно. Дѣло Петра было громадно: онъ мощной волей своей ввелъ нась въ европейскій кругъ; но преемники Петра не пошли твердо по указанному имъ пути, и началось прежнее шатаніе изъ стороны въ сторону, такъ что русская исторія можетъ выставить только одно великое имя—Петра. Смотря такъ мрачно на наше прошлое и настоящее, Чаадаевъ не отчаялся, однако, въ будущемъ Россіи и русскаго народа. Онъ вѣрилъ въ силы этого народа, произведшаго Ломоносова и Петра Великаго. Онъ находилъ, что намъ еще не поздно пріобщиться къ европейской культурной традиції. Болѣе того: Чаадаевъ признавалъ, что мы въ состояніи будемъ избѣжать тѣхъ ошибокъ, въ которыхъ впала Европа, и даже высказывался въ томъ смыслѣ, что именно намъ

суждено, быть можетъ, сказать Европѣ то новое слово, которое разрѣшить противорѣчія, накопившіяся въ европейской жизни. Вотъ, въ общихъ чертахъ, духъ и содержаніе статьи Чаадаева. Власть обратила на нее вниманіе вслѣдствіе доносовъ, исходившихъ отъ митрополита Серафима и извѣстнаго своими малодостовѣрными «Воспоминаніями» Ф. Ф. Вигеля. Мы уже знаемъ, какіе взгляды на прошлое, настоящее и будущее Россіи высказывалъ шефъ жандармовъ гр. Бенкendorфъ, и можемъ судить о томъ, насколько эти взгляды сходились со взглядами Чаадаева. Въ статьѣ послѣдняго, именно въ его словахъ о «растлѣнной Византіи», усмотрѣна была «хула на православіе»; отыскали специальнно для этого случая какой-то архаической законъ и примѣнили указанную выше неслыханную мѣру къ одному изъ умнѣйшихъ и просвѣщенѣйшихъ людей своей эпохи. Сильно потрясенный послѣдствіями «Письма», Чаадаевъ ничего больше не напечаталъ и дожилъ свой вѣкъ (онъ умеръ въ 1856 г.) частнымъ человѣкомъ въ Москвѣ. У Чаадаева собиралась почти вся мыслящая Москва, и онъ своими необычайно остроумными и содержательными бесѣдами оставилъ восторженное впечатлѣніе во всѣхъ, отъ кого идутъ извѣстія объ его личности. Кромѣ трехъ оставшихся ненапечатанными «Философическихъ писемъ», которые служили продолженіемъ первого, Чаадаевъ написалъ очень интересную и остроумную статью подъ названіемъ «Апологія сумасшедшаго». Здѣсь онъ отвѣчаетъ, между прочимъ, тѣмъ патріотамъ типа гоголевскаго Киѳы Мокіевича, которые обвиняли его въ недостаткѣ любви къ отечеству. «Я люблю свое отечество», пишетъ по ихъ адресу Чаадаевъ, «но люблю его не съ закрытыми глазами, а такъ, какъ Петръ Великій научилъ меня любить его». Нельзя отказать этому отвѣту въ достоинствѣ и убѣдительности.

Значеніе статьи Чаадаева для наиболѣе серьезной части нашего мыслящаго общества было чрезвычайно велико. Герценъ сравниваетъ появленіе «Письма» съ пушечнымъ выстрѣломъ въ темную ночь, будящимъ спящихъ и предупреждающимъ объ опасности. И дѣйствительно, самая крайности, которыхъ немало допустилъ Чаадаевъ, будили мысль. Чаадаевъ поставилъ ребромъ вопросъ о Петрѣ Великомъ и его роли въ русской исторіи, ставшій потомъ, какъ мы увидимъ, центральнымъ пунктомъ полемики между запад-

ничествомъ и славянофильствомъ. Изложенные взгляды Чаадаева приводятъ, какъ будто, къ выводу, что онъ—несомнѣнныи западникъ; и С. А. Венгеровъ прямо называетъ «Письмо» «крайнимъ проявленіемъ односторонняго западничества». Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что мысль Чаадаева о возможности для настѣ избѣжать тѣхъ ошибокъ, которыя допущены Западомъ, и сказать Европѣ новое слово была потомъ развита славянофилами и стала однимъ изъ основныхъ ихъ положеній. Личныя знакомства Чаадаева со средоточивались въ кругахъ, близкихъ къ славянофильству. Если при этомъ имѣть въ виду, что ни въ первомъ «Письмѣ», ни въ остальныхъ, весьма немногихъ сочиненіяхъ Чаадаева, изданныхъ въ пятидесятыхъ годахъ въ Парижѣ на французскомъ языкѣ, мы не имѣемъ, въ сущности, полной системы взглядовъ Чаадаева, а имѣемъ скорѣе намеки на разныя стороны его міросозерцанія, то осторожнѣе будетъ видѣть значеніе Чаадаева въ первой прямой постановкѣ тѣхъ общественно-историческихъ вопросовъ, работая надъ которыми, представители нашей мыслящей молодежи образовали лѣтъ черезъ шесть послѣ появленія «Письма» два направленія: западническое и славянофильское.

Мы уже знаемъ, что въ то время, какъ появилось «Письмо» Чаадаева, Бѣлинскій и весь кружокъ Станкевича погружены были въ изученіе нѣмецкихъ философскихъ системъ. Въ частности они переходили отъ Шеллинга и Фихте къ Гегелю, котораго Бакунинъ растолковывалъ Бѣлинскому. Сфера интересовъ послѣдняго и всего кружка была, такимъ образомъ, иная, чѣмъ затронутая въ «Письмѣ». Поскольку же Бѣлинскій и его друзья интересовались «политикой», они, какъ намъ извѣстно, склонялись къ оправданію существующаго порядка вещей. Все это заставляетъ предположить, что статья Чаадаева, съ его безпощадно критическимъ отношеніемъ къ русской исторіи и жизни, въ это время непосредственнаго вліянія на Бѣлинскаго и весь кружокъ не оказала. Появившись, однако, въ томъ самомъ журнアルѣ, главными сотрудниками котораго являлись именно Бѣлинскій съ друзьями, и погубивъ этотъ журналъ, статья, конечно, была ими хорошо замѣчена, и вѣроятно, черезъ нѣсколько лѣтъ, перейдя къ вопросамъ общественно-политическимъ, они вспомнили о «Письмѣ».

Въ началѣ сороковыхъ годовъ, послѣ переѣзда Бѣлинскаго въ

Петербургъ, его интересы обращаются, какъ мы уже знаемъ, въ сторону общественно-политическую. Статьи, въ которыхъ онъ незадолго передъ тѣмъ прославлялъ разумность всего существующаго и смыялся надъ людьми, протестующими противъ несовершенствъ современного политического устройства и общественныхъ отношеній, начинаютъ казаться ему позорными. Со свойственною Бѣлинскому прямотой и беспощадностью къ собственнымъ заблужденіямъ онъ въ личномъ разговорѣ съ Герценомъ отказывается отъ этихъ статей, въ родѣ «Менцеля» или «Бородинской годовщины», и вмѣстѣ съ Бѣлинскимъ мѣняетъ свое направленіе и весь кружокъ Станкевича. Онъ сливаются съ кружкомъ Герцена и признаетъ насущнымъ дѣломъ работу на пользу общественно-политического обновленія Россіи. Нѣмецкую философію смыняетъ презиравшаяся прежде Бѣлинскимъ французская соціально-политическая литература. Благо Россіи усматривается въ рядѣ коренныхъ реформъ, начиная съ отмены крѣпостного права. Эти реформы дадутъ намъ возможность догнать Европу, пройти тѣ стадіи общественно-политического развитія, которыхъ пройдены ею, и пріобщиться къ благамъ ея культуры. Такъ смотрѣла на задачи нашего будущаго та часть товарищей и друзей Бѣлинского, которая приблизительно съ 1842—3 г.г. стала извѣстна подъ именемъ «западниковъ». Западники не усматривали такихъ глубокихъ племенныхъ различій между славянскими народностями съ одной стороны и романскими и германскими съ другой, вслѣдствіе которыхъ путь развитія той и другой группы народностей долженъ быть бы быть разнымъ. Политическія формы и общественные отношения западной Европы представлялись имъ чѣмъ-то общечеловѣческимъ, чрезъ что и мы должны пройти. Мы получили просвѣщеніе изъ западной Европы; это и есть единственno-возможное, общечеловѣческое просвѣщеніе. Въ возможно быстромъ и глубокомъ его усвоеніи единственный залогъ нашего успѣшнаго развитія и единственная возможность проявленія нашихъ національныхъ силъ. Невѣжество и подавленіе общественной самодѣятельности губятъ эти силы и не даютъ имъ проявляться. Исторія наша сложилась неудачно, и только въ слѣдованіи завѣтамъ Петра Великаго, истиннаго доброго генія Россіи, заключается средство наверстать упущенное и принести истинное благо народу. Благо это въ свѣтѣ и свободѣ. Таковы, въ самыхъ общихъ чертахъ, идеалы западниковъ, раскры-

тые въ ихъ полемикѣ со славянофилами въ сороковые, а затѣмъ пятидесятые годы. Къ западникамъ принадлежали Бѣлинскій, Герценъ, Грановскій, Тургеневъ.

Иными глазами посмотрѣли на наше прошлое и на наши задачи въ будущемъ отколовшіеся оть прежнихъ своихъ друзей славянофилы, въ первомъ ряду которыхъ стояли Хомяковъ, братья Аксаковы, Самаринъ, братья Кирѣевские. Исходя изъ знакомаго уже намъ миѳнія Шеллинга и Гегеля о томъ, что каждый народъ выражаетъ собою одну какую-нибудь сторону жизни человѣчества, славянофилы считали необходимымъ для правильного уразумѣнія русской исторіи найти именно эту сторону, выражаемую русскимъ народомъ. Они полагали, что нашей національной идеей является идея братства. Въ противоположность западной Европѣ, вся исторія которой основана на борьбѣ—политической, общественной, религіозной—мы призваны осуществить идею согласія. Доказательство своей мысли славянофилы видѣли уже въ самомъ способѣ созданія государства у насъ на Руси. Въ то время, какъ государства западной Европы создались путемъ завоеванія, т. е. насилия, наше государство создано путемъ добровольного предоставленія народомъ власти надъ собою призваннымъ имъ князьямъ. Этотъ первичный фактъ нашей исторіи опредѣлилъ собою весь ея дальнѣйшій характеръ. Гдѣ не было завоеванія, не было, слѣдовательно, раздѣленія на поработителей и порабощенныхъ, тамъ между властью и народомъ существуютъ отношенія взаимнаго довѣрія. Именно такими рисовались эти отношенія въ древней Руси въ запискѣ, представленной Константиномъ Аксаковымъ Императору Александру II въ 1859 г. Добровольно вручивъ власть своимъ князьямъ, русскій народъ, народъ не государственный по самой своей природѣ, никогда не притязалъ на участіе въ этой власти или контроль надъ нею. Въ древней Руси весьма рѣзко раздѣлялись понятія «земли» и «государства». «Земля»—это народъ, живущій такъ, какъ ему хочется, образно со своими обычаями и традиціями, подъ охраною «государства», т. е. правительственной организаціи, которой «земля» за эту охрану отъ вѣнчанихъ враговъ и поддержаніе порядка и безопасности внутри страны платить известныя суммы денегъ и поставлять солдатъ, не спрашивая съ власти отчета въ ея дѣйствіяхъ, но и не допуская со стороны власти вмѣшательства въ сферу своего

быта, нарушенія своєї «нравственnoї свободы». «Народу—сила мнѣнія, правительству—сила власти». Этой формулой опредѣлялся взглядъ славянофиловъ на отношенія между народомъ и властью у насъ въ Россіи. Органомъ народного мнѣнія являлись земскіе соборы, упраздненные Петромъ Великимъ. Правительству предоставлена народомъ полнота неограниченной политической власти, и политической свободы русскій народъ не желаетъ; но зато онъ требуетъ свободы нравственной, т. е. свободы молиться, какъ хочетъ, устраивать семейный бытъ, какъ хочетъ, и свободы въ выраженіи своихъ мнѣній. Славянофилы вообще очень дорожили свободою слова, что видно изъ прочувствованного стихотворенія К. Аксакова «Свободное Слово». Пока правительство соблюдаетъ охаратеризованный выше «безмолвный договоръ», т. е. не вторгается въ сферу вѣрованій, мнѣній, обычаевъ народа, до тѣхъ поръ народъ не потребуетъ отъ него «гарантіи», т. е. акта, обезпечивающаго народныя права и ограничивающаго права власти. Идея такой гарантіи, по мнѣнію славянофиловъ, глубоко чужда русскому народу. Онъ не любить внѣшнихъ обезпеченій правъ; онъ предпочитаетъ отношенія, основанныя на патріархальномъ довѣріи. Именно такимъ порядкомъ шла наша исторія, по мнѣнію славянофиловъ, до Петра Великаго. Народъ и правительство вѣрили другъ другу и взаимно не вмѣшивались въ чужую сферу дѣйствій. Петръ Великій нарушилъ эти отношенія. Онъ вторгся въ «нравственную свободу» народа, потребовалъ отъ послѣдняго перемѣны семейнаго склада, обычаевъ и виѣшняго вида. Это былъ первый шагъ со стороны власти къ «революціонизированію» народа. Дальнѣйшіе, послѣ Петра, носители верховной власти на Руси пошли, къ сожалѣнію, по тому же пути, и этимъ облегчили дѣло пропагандистовъ русской революціи, желающихъ привить русскому народу чужды ему стремленія къ политической свободѣ.

Если та постепенность въ смѣнѣ политическихъ формъ, которая наблюдается на Западѣ, а именно постепенное расширение сферы народного участія въ политическомъ властевозанії—переходъ отъ абсолютной монархіи къ конституціонной и къ республикѣ—глубоко чужды русскому народу; если европейское просвѣщеніе не соответствуетъ нашимъ национальнымъ особенностямъ, то отсюда ясна необходимость свернуть съ того ошибочнаго пути, по которому шла

Россія при Петрѣ Великомъ и его преемникахъ. Раздается призывъ славянофиловъ «домой», а подъ домомъ они разумѣли Москву. Петербурга славянофилы очень не любили; петербургскій періодъ русской исторіи считали роковой ошибкой. Наиболѣе страстные приверженцы охарактеризованныхъ взглядовъ доходили до признанія дѣятельности Петра Великаго измѣннической по отношенію къ русскому народу, уподобляясь раскольникамъ петровской эпохи.

Не трудно замѣтить односторонности того взгляда славянофиловъ на ходъ русской исторіи, который мы сейчасъ въ общихъ чертахъ изложили. Дѣля нашу исторію на два періода—до-Петровскій, «національный», и петербургскій, «измѣннический», славянофилы смѣшивали такія разнородныя явленія, какъ Кіевъ съ Владимиромъ Мономахомъ и Москва съ Иваномъ Грознымъ. Они игнорировали глубокое вліяніе на наши порядки и нашъ національный характеръ той татарщины, «наглотавшись» которой, по выражению Алексея Толстого, мы назвали ее Русью. Русь Днѣпровская съ ея любовью къ просвѣщенію, значительной для того времени гуманностью и мягкостью нравовъ, терпимымъ и дружелюбнымъ отношеніемъ къ иностранцамъ,—и Русь московская, съ ея безконечными казнями, урѣзываніемъ языковъ, плетьми и палками, національной замкнутостью, религіознымъ фанатизмомъ, глубокимъ невѣжествомъ и враждою къ иноземцамъ—эти два міра, такъ непохожие одинъ на другой, какимъ-то чудомъ объединились въ міросозерцаніи славянофиловъ. Не менѣе произвольно и то мнѣніе, что на всемъ пространствѣ русской исторіи до Петра Великаго между народомъ и властью царствовало патріархальное довѣріе, что у нась не было бунтовъ, ибо, какъ любили указывать славянофилы, у нась не было поработителей и порабощенныхъ, а бунтовать можетъ только рабъ. Бунтовъ у нась было немало. Что касается указаній славянофиловъ на земскіе соборы, при помощи которыхъ «государство» освѣдомлялось о мнѣніяхъ «земли», то слѣдуетъ имѣть въ виду, что земскіе соборы существовали у нась немногимъ больше одного столѣтія, и уже одна кратковременность этого учрежденія дѣлаетъ невозможнымъ считать его національно-характернымъ, не говоря о томъ, что, узнавъ «мнѣніе земли», «государство» иногда поступало какъ разъ противъ этого мнѣнія, такъ что исчезалъ самый смыслъ учрежденія.

Въ связи со взглядами славянофиловъ на русскую исторію сто-

яли и ихъ взгляды на русскій народъ и его національныя особенности. Мы уже знаемъ, что народъ этотъ, по мнѣнію славянофиловъ, народъ негосударственный, чуждый интереса къ виѣшнимъ формамъ жизни. Кромѣ того, мы видѣли, что національной нашей идеей славянофилы считали идею братства. Христіанская мораль въ своемъ чистѣйшемъ видѣ присуща, по ихъ мнѣнію, именно русскому простому человѣку, свободному отъ вліянія европейскаго просвѣщенія, отъ вліянія тѣхъ, кого Гоголь въ «Перепискѣ съ друзьями» называлъ «европейскими человѣколюбцами». Такъ смотря на русскій народъ, славянофилы съ восторгомъ привѣтствовали тѣ произведения «реальной школы», въ которыхъ указывалось на нравственную высоту русскаго крестьянина, на спасенное имъ въ рабствѣ золотое сердце. Таковы въ особенности нѣкоторые разсказы изъ «Записокъ Охотника», подчеркивающіе незлобивость, смиреніе и душевную чистоту мужика, напримѣръ, «Касьянъ съ Красивой Мечи», «Живая Мощи», таковъ образъ Калиныча въ разсказѣ «Хорь и Калинычъ». Но еще болѣе соотвѣтствовали воззрѣніямъ славянофиловъ на характеръ русскаго народа разсказы того же Тургенева «Муму» и «Постоялый Дворъ». Глухонѣмой Герасимъ, абсолютно свободный отъ какого бы то ни было вліянія «европейскихъ человѣколюбцевъ», оказывается носителемъ тѣхъ самыхъ свойствъ душевыхъ, которыхъ пытнули славянофиловъ въ русскомъ народѣ: онъ кротокъ, терпѣливъ, способенъ къ самоотверженію, горячо любить родную природу и задыхается въ условіяхъ городской жизни. Не менѣе ярко проявляется способность къ забвенію обидъ и душевное богатство, позволяющее мириться со вскіми виѣшними условіями, въ личности героя «Постоялого Двора» Акима. Душевный переворотъ, произшедши въ Акимѣ ночью послѣ неудачной попытки его поджечь постоялый дворъ, очищаетъ его и освобождаетъ его душу отъ всякихъ дурныхъ чувствъ къ кому бы то ни было, не исключая барыни и Наума. За барыню онъ даже ежегодно вынимаетъ просвиру во время своихъ богомольныхъ странствованій.

Необходимо имѣть въ виду, что, хотя славянофилы рассматриваемой эпохи доходили иногда до крайностей въ своей антипатіи къ петербургскому періоду русской исторіи и къ европейскому просвѣщенію, хотя они договаривались даже до утвержденія, что Западная Европа «гниетъ» и быстро приближается къ гибели, они, однако, пре-

красно понимали насущную необходимость коренныхъ реформъ у насъ въ Россіи и прежде всего отмѣны крѣпостного права. Лучшіе изъ славянофиловъ не меньше, чѣмъ западники, болѣли язвами тогдашней Руси, про которую Хомяковъ сказалъ въ одномъ изъ своихъ стихотвореній, что она «черна въ судахъ неправдой черной и игомъ рабства клеймена». Въ смыслѣ одинакового пониманія западниками и славянофилами неотложныхъ задачъ данного исторического момента Герценъ говоритъ, что взоры тѣхъ и другихъ были обращены въ разныя стороны, между тѣмъ какъ сердце билось одно.

#### IV.

##### **Полемика Бѣлинскаго со славянофилами.—Заключеніе.**

Мы уже говорили, что, поскольку въ славянофильствѣ заключались элементы, мѣшившіе прогрессу, постольку Бѣлинскій, являвшися авторитетнѣйшимъ выразителемъ западническаго міросозерцанія въ сороковые годы, считалъ необходимымъ энергично polemизировать со славянофильскими взглядами. Эти полемическія выступленія Бѣлинскаго разсѣяны въ разныхъ статьяхъ послѣднихъ лѣтъ его жизни. Мы возьмемъ примѣры полемики Бѣлинскаго со славянофильскимъ напрavленіемъ изъ двухъ статей, написанныхъ имъ въ 1847 г.: «Взглядъ на русскую литературу 1846 г.» и «Отвѣтъ Москвитянину». Замѣтимъ прежде всего, что въ сороковые годы Бѣлинскій являлся послѣдователемъ преимущественно французской литературы, отличительное свойство которой составляетъ ясность мысли и выраженія. Все туманное, сколько-нибудь мистическое отталкивало въ эту пору Бѣлинскаго. Въ его статьяхъ этихъ лѣтъ можно найти много проявленій раціоналистического направлениія. «Присмотритесь», пишетъ Бѣлинскій въ статьѣ о литературѣ 1846 г., «о чемъ больше всего толкуютъ наши журналы?—о народности, о дѣйствительности. На что больше всего нападаютъ они?—на романтизмъ, мечтательность, отвлеченность». Именно въ указанномъ фактѣ Бѣлинскій усматривалъ «признаки зрѣлости современной русской литературы». всякая теорія, затемняющая насущныя потребности данного исторического момента, признавалась Бѣлинскимъ общественно-вредной. Между тѣмъ, мы могли убѣдиться, что «роман-

тизма, мечтательности, отвлеченности» было въ воззрѣніяхъ славянофиловъ болѣе, чѣмъ достаточно, не только въ сороковые годы, но и въ пятидесятые, когда ихъ система успѣла вполнѣ выработаться. На эту неясность, недоговоренность славянофильской теоріи обращаеть внимание Бѣлинскій въ концѣ своей статьи «Отвѣтъ Москвитянину». «Какъ», говоритъ Бѣлинскій, «требовать отъ другихъ, чтобы они вѣрно судили о такомъ ученіи, въ которомъ еще не успѣли согласиться сами его послѣдователи? Вотъ когда они сами вникнутъ хорошо и основательно въ то, что выдаютъ за начало всякой премудрости, да ясно и опредѣленно изложать свое ученіе,—тогда ихъ будутъ слушать...» Въ той же статьѣ Бѣлинскій возражаетъ на одно изъ любимыхъ утвержденій славянофиловъ въ сферѣ русской исторіи—о господствѣ въ древней Руси общинного начала. Въ этомъ господствѣ славянофили усматривали конкретное проявленіе той «идеи братства», которую, какъ мы видѣли, они хотѣли представить въ качествѣ главнѣйшей нашей національной особенности. Проявленіе общинного начала видѣли, между прочимъ, славянофили въ новгородскомъ вѣчѣ, на которомъ не было организованной подачи голосовъ и дѣла рѣшались не по большинству ихъ, а единогласно. Славянофили, какъ указываетъ Бѣлинскій въ данной статьѣ, ссылались на формулу, которую оканчивается въ лѣтописяхъ описаніе вѣчевого собранія: «снидоша ся вси въ любовь». По мнѣнію славянофиловъ, дѣленіе общества на «большинство» и «меньшинство» указываетъ уже на разложеніе общинного начала, а потому способъ рѣшенія вопросовъ на новгородскомъ вѣчѣ казался имъ болѣе совершеннымъ, чѣмъ баллотировка въ европейскихъ представительныхъ учрежденіяхъ. Бѣлинскій указываетъ, однако, славянофиламъ, что на новгородскомъ вѣчѣ «меньшинство» являлось слишкомъ ничтожнымъ, чтобы спорить съ большинствомъ, и часто соглашалось съ нимъ не по убѣжденію, а изъ опасенія хлебнуть волховской водыцы». Рѣшеніе вопросовъ на вѣчѣ «какъ-то совершенно неопределенно, сообща» Бѣлинскій справедливо называетъ «безтолковымъ и нелѣпымъ», приличнымъ «общинѣ чисто патріархальной, совершенно чуждой юридического элемента». Въ данномъ случаѣ, какъ и во многихъ другихъ, Бѣлинскій удачно обнаруживаетъ односторонность и предвзятость многихъ мнѣній славянофиловъ, перѣдко упорно закрывавшихъ глаза на тѣ явленія русской исторіи и жизни,

которая противорѣчили ихъ теоріи. Полемизировалъ Бѣлинскій и съ тенденціей славянофиловъ представить именно свое направлениe, какъ истинно народное, въ противоположность западническому, вну-шенному чуждымъ европейскимъ вліяніемъ. Въ началѣ статьи «От-вѣтъ Москвитянину» Бѣлинскій съ присущимъ ему полемическимъ остроуміемъ иронизируетъ надъ тенденціей журнала «Москвитя-нинъ» называть славянофильство «Московскимъ направлениемъ». Въ этой тенденціи проявлялось знакомое намъ возврѣніе славяно-филовъ на Москву, какъ хранительницу національного преданія, въ противоположность измѣнническому Петербургу.

Подробнѣе останавливается Бѣлинскій на взглядахъ славяно-филовъ въ статьѣ «Взглядъ на русскую литературу 1846 г.». При-знавая важность поставленныхъ славянофилами вопросовъ, онъ на-ходитъ «много дѣльного» «въ томъ, что говорять противъ русскаго европеизма». Бѣлинскій согласенъ съ тѣмъ, «что въ русской жизни есть какая-то двойственность, слѣдовательно, отсутствіе нравствен-наго единства; что это лишаетъ нась рѣзко выразившагося націо-нальнаго характера, какимъ, къ чести ихъ, отличаются почти всѣ европейскіе народы; что это дѣлаетъ нась какими-то междоумками, которые хорошо умѣютъ мыслить по-французски, по-нѣмецки и по-англійски, но никакъ не умѣютъ мыслить по-русски; и что причина всего этого въ реформѣ Петра Великаго». Находя, что все это «спра-ведливо до извѣстной степени», Бѣлинскій находить, однако, со-всѣмъ не тамъ, гдѣ славянофилы, причины и слѣдствія указаннаго факта. Опѣр не означаетъ, по мнѣнію Бѣлинскаго, чтобы «явленіе Петра Великаго, его реформу и послѣдующія события въ Россіи» надо было «признать случайными, какимъ-то тяжелымъ сномъ, ко-торый тотчасъ исчезаетъ и уничтожается, какъ скоро проснувшійся человѣкъ открываетъ глаза». «Такъ думать», по словамъ Бѣлин-скаго, «сродно только господамъ Маниловымъ». По мнѣнію Бѣлин-скаго, реформа Петра Великаго была исторически неизбѣжна въ свое время, но теперь она нами «изжита». Наступило время, когда «пора намъ перестать восхищаться европейскимъ потому только, что оно не азіатское, но любить, уважать его, стремиться къ нему потому только, что оно *человѣческое*, и на этомъ основаніи все европейское, въ чемъ нѣть человѣческаго, отвергать съ такою же энергию, какъ и все азіатское, въ чемъ нѣть человѣческаго». Вотъ западническая

точка зрења на наше отнoшeниe къ Европѣ. Признавая «много дѣль-  
наго» въ отрицательной сторонѣ доктрины славянофиловъ, въ ихъ  
критикѣ русскаго европеизма, Бѣлинскій относился съ полнымъ не-  
сочувствiемъ къ положительной сторонѣ ихъ ученiя, заключающей-  
ся, по его словамъ, «въ какихъ-то туманныхъ, мистическихъ пред-  
чувствiяхъ побѣды Востока надъ Западомъ». Между тѣмъ, говоритъ  
Бѣлинскій, «вмѣсто того, чтобы думать о невозможномъ и смѣшить  
всѣхъ на свой счетъ самолюбивымъ вмѣшательствомъ въ историче-  
скiя судьбы, гораздо лучше, признавши неотразимую и неизмѣнную  
дѣйствительность существующаго, дѣйствовать на его основанiи, ру-  
ководясь разумомъ и здравымъ смысломъ, а не маниловскими фан-  
тазiями». Въ историческихъ взглядахъ славянофиловъ Бѣлинскій  
видѣтъ влiянiе Карамзина, въ глазахъ котораго «Иоаннъ III былъ  
выше Петра Великаго, а до-петровская Русь лучше Россiи новой». Говоря объ этомъ пристрастiи славянофиловъ къ древней Руси, Бѣ-  
линскій справедливо упрекаетъ ихъ въ недостаточной опредѣлен-  
ности ихъ воззрѣнiй на разные перiоды русской исторiи. «...Неужели  
они правы», пишетъ Бѣлинскій, «говоря, что намъ надо воротиться  
къ общественному устройству и нравамъ временъ не то баснослов-  
наго Гостомысла, не то царя Алексея Михайловича (насчетъ этого  
сами господа славянофилы еще не условились между собою)». Здѣсь  
правильно указанъ отмѣченный нами выше недостатокъ историче-  
ской теорiи славянофиловъ—смѣшенiе ими весьма различныхъ  
эпохъ нашей исторiи.

Въ той же статьѣ находимъ отповѣдь славянофиламъ по поводу  
той ихъ мысли, что основнымъ свойствомъ русскаго национального  
характера является *смиренiе*. Бѣлинскій замѣчаетъ, что въ разные  
перiоды русской исторiи можно указать рядъ весьма важныхъ и яр-  
кихъ фактovъ, характеризующихъ нашъ народъ вовсе не со стороны  
смиренiя, а съ прямо противоположной стороны. «Удѣльный перiодъ  
нашъ», говоритъ Бѣлинскій, «отличается скорѣе гордынею и драчли-  
востью, нежели смиренiемъ. Татарамъ поддались мы совсѣмъ не  
отъ смиренiя (что было бы для насы не честью, а безчестiемъ, какъ  
и для всякаго другого народа), а по безсилiю... Иоаннъ Калита былъ  
хитеръ, а не смиренъ, Симеонъ даже прозванъ былъ Гордымъ, а эти  
князья были первоначальниками силы московскаго царства. Ди-  
митрiй Донской мечемъ, а не смиренiемъ предсказалъ татарамъ ко-

нецъ ихъ владычества надъ Русью. Иоанны III и IV, оба прозванные «грозными», не отличались смиренiemъ. Дальнѣйшій ходъ русской исторіи, конечно, могъ бы доставить Бѣлинскому множество примѣровъ для подтвержденія его мысли. Одинъ только царь Федоръ Ioанновичъ могъ бы служить, по мнѣнію Бѣлинского, образцомъ смиренія въ русской исторіи. «Но въ исторіи какого же царода», спрашивается Бѣлинский, «нельзя найти» черть разныхъ добродѣтелей, а въ томъ числѣ и смиренія, «и чѣмъ какой-нибудь Людовикъ IX уступаетъ въ смиреніи Федору Ioанновичу?» Столъ же убѣдительно доказываетъ Бѣлинский, что и любовь нѣтъ основаній считать нашимъ «национальнымъ началомъ». «Мы, напротивъ, думаемъ», говоритъ онъ, «что любовь есть свойство человѣческой природы вообще и такъ же не можетъ быть исключительной принадлежностью одного народа или племени, какъ и дыханіе, зрѣніе, голодъ, жажда, умъ, слово.»

Расходясь со славянофилами въ воззрѣніяхъ на русскую исторію, на русскій народъ и на наши задачи въ будущемъ, Бѣлинский разошелся съ ними и въ оцѣнкѣ отдѣльныхъ явленій нашей литературы сороковыхъ годовъ. Въ особенности рѣзко сказалось это расхожденіе по вопросу о Гоголѣ и въ частности о «Мертвыхъ Душахъ». Константинъ Аксаковъ, «передовой боецъ славянофильства», историкъ и критикъ съ очень пылкимъ темпераментомъ, послѣшилъ провозгласить Гоголя русскимъ Гомеромъ и «Мертвые Души» русской Иліадой. Бѣлинский одушевленно полемизировалъ съ этимъ мнѣніемъ и нерѣдко возвращался къ сужденіямъ славянофиловъ о Гоголѣ. Онъ заявлялъ, между прочимъ, что не можетъ понять, какимъ образомъ Гоголь, по мнѣнію славянофиловъ, изображалъ пошлость изъ потребности внутренняго очищенія. Мы знаемъ, что въ этомъ мнѣніи была значительная доля истины, но Бѣлинский, какъ намъ известно, въ эти годы не признавалъ ничего мистического, а потому склонялся къ полному сближенію Гоголя съ нарождавшуюся «натуральною школой». Защищая послѣдней и выясненію ея смысла и значенія посвящены всѣ почти крупныя статьи послѣднихъ лѣтъ жизни Бѣлинского. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что, признавъ, послѣ переѣзда въ Петербургъ, темныя стороны «расейской дѣйствительности» и начавъ цѣнить борьбу съ ними въ литературныхъ произведеніяхъ, Бѣлинский ведеть въ эти годы въ своихъ статьяхъ энер-

тичную борьбу съ тѣми литературными дѣятелями, направленіе которыхъ считаетъ вреднымъ, вполнѣ или отчасти, для общественнаго прогресса, какъ онъ его теперь понимаетъ. Такъ измѣняется отношеніе Бѣлинскаго къ Константину Аксакову, Шевыреву и особенно Полевому, который послѣ закрытія «Московскаго Телеграфа» перебрался въ Петербургъ, сблизился съ Булгаринымъ и Гречемъ и сталъ настойчиво заявлять свою «благонамѣренность».

Борьба Бѣлинскаго со всѣмъ тѣмъ, что задерживало нашъ общественный ростъ, затемняло сознаніе и обращало общество къ призрачнымъ цѣлямъ, не могла съ полной свободой вестись въ печати. Цензурный гнетъ заставлялъ Бѣлинскаго прибѣгать къ унизительнымъ обинякамъ, когда онъ желалъ выразить самыя основныя по желанія представителей западническаго направленія въ области внутренней политики. Въ качествѣ примѣра можно указать, какъ трудно было Бѣлинскому ясно формулировать смыслъ и значеніе повѣсти Григоровича «Деревня». Такъ же трудно было бороться въ печати и съ книгой Гоголя «Выбранная мѣста изъ переписки съ друзьями», а между тѣмъ эту книгу Бѣлинскій считалъ особенно вредной, такъ какъ на ней стояло имя великаго писателя. И вотъ именно эта-то книга и дала Бѣлинскому поводъ изложить основы западническаго міросозерцанія гораздо подробнѣе и прямѣе, чѣмъ это было возможно въ печати,—въ знаменитомъ письмѣ къ Гоголю, написанномъ за границею въ 1847 году.

Ближайшимъ поводомъ къ созданію «Письма» явились «Выбранная мѣста изъ переписки съ друзьями», но по поводу этого произведенія Бѣлинскій высказалъ цѣлую систему взглядовъ литературныхъ и общественныхъ. Написанное въ послѣдній годъ жизни Бѣлинскаго, дышащее всею страстью любовью его къ истинѣ и благу родины, «Письмо» представляетъ собою, по справедливому указанію Герцена, какъ бы завѣщеніе Бѣлинскаго русскому обществу и литературѣ. При этомъ Бѣлинскій съ начала письма заявляетъ, что хочетъ быть выразителемъ думъ и чувствъ, возбужденныхъ «Перепиской» Гоголя въ той части русского общества, которая привыкла любить Гоголя, какъ одного изъ великихъ воїдей Россіи на поприщѣ развитія, сознанія, прогресса. Весь тонъ и все содержаніе «Письма» поднимаютъ его на громадную высоту надъ сферой личныхъ отно-

шений и дѣлаютъ выраженіемъ идеаловъ западнической части нашего интеллигентнаго общества.

Совѣты, данные Гоголемъ въ «Перепискѣ» русскимъ людямъ вообще и помѣщикамъ въ частности, возбуждаютъ страстное негодованіе Бѣлинскаго. Онъ находитъ въ рекомендуемомъ Гоголемъ способѣ обращенія съ крестьянами («ахъ ты, невымытое рыло», и т. п.) глубокое противорѣчіе съ ученіемъ Христа, слово Котораго Гоголь совѣтуетъ помѣщику читать крестьянамъ. Бѣлинскій возмущенъ тѣмъ, что великій художникъ слова, создавшій ужасные въ своей правдивости образы Чичикова, Плюшкина, Ноздрева и другихъ «пріобрѣтателей» и нравственныхъ дикарей, «во имя Христа и церкви учить варвара-помѣщика наживать отъ крестьянъ больше денегъ, учить ихъ ругать побольше». И такие-то совѣты великій писатель выдаетъ за какое-то ниспосланное ему отъ Бога откровеніе и выражаетъ торжественнымъ стилемъ, которому старается придать пропорческій характеръ. Между тѣмъ, тьмы умственной и нравственной у насъ и безъ такой проповѣди было всегда довольно, гасить начатки общественного сознанія въ Россіи есть настоящее преступленіе. Россіи не нужны ни проповѣди, которыхъ она довольно слышала, ни молитвы, которыхъ она довольно твердила. Нечего проповѣдывать смиреніе «въ странѣ, гдѣ люди торгуютъ людьми, не имѣя на это и того оправданія, какимъ лукаво пользуются американскіе плантаторы, утверждая, что негръ не человѣкъ; страны, гдѣ люди сами себя называютъ не именами, а кличками: Ваньками, Васьками, Степками, Палашками; страны, гдѣ, наконецъ, нѣтъ... никакихъ гарантій для личности, чести и собственности». Въ этой странѣ Бѣлинскій, по его указанію, не могъ бы и написать Гоголю, такъ какъ «тамошніе Шпекины» распечатываютъ письма вовсе не ради одного только удовольствія. Предъ русской литературой стоитъ рядъ очередныхъ задачъ громадной важности. Эти задачи состоять въ борьбѣ съ тѣлеснымъ наказаніемъ и крѣпостнымъ правомъ прежде всего. Негодованіе Бѣлинскаго противъ Гоголя за его «позорную книгу» усиливалось сознаніемъ, что одинъ изъ родоначальниковъ этой самой «натуральной школы», бодро выступающей на борьбу съ «неправдой черной» русской жизни, становится въ это самое время, по негодующему выраженію Бѣлинскаго, «проповѣдникомъ кнута, апостоломъ невѣжества, поборникомъ обскурантизма и мракобѣсія, панегири-

стомъ татарскихъ нравовъ». Бѣлинскій заканчиваетъ письмо страстнымъ призывомъ къ Гоголю искупить вредъ, принесенный его книгой, новыми твореніями, которыя бы напомнили его прежня. «Письмо» замѣчательно, какъ случайно прорвавшееся свободное выражение тѣхъ идеаловъ, надеждъ и стремленій, которыми жила лучшая часть мыслящаго русского общества 40-хъ годовъ, и тѣхъ перспективъ, которыхъ открывались въ то время для русской литературы въ мнѣніи величайшаго изъ нашихъ критиковъ. Послѣдующій periodъ въ развитіи русской литературы подтвердилъ прозорливость Бѣлинскаго въ этомъ случаѣ.

Оглянемся на знаменательный periodъ русской литературы, обзоръ которого мы сдѣлали. Это первая половина ея золотого вѣка, какимъ по справедливости должно считаться все XIX-е столѣтіе. Развитіе русского художественнаго слова, общественной и исторической мысли совершилось въ разсмотрѣнную эпоху съ чрезвычайной быстротой. Въ лицѣ Пушкина, за одно какое-нибудь первое десятилѣтіе его поэтической дѣятельности, русская литература изъ подражательницы литературѣ европейскихъ обратилась въ самостоятельную силу, а въ послѣдующіе годы великаго поэта достигла непревзойденной высоты художественного совершенства, при значительной глубинѣ общественного своего смысла. Обрасывая съ себя обетованія одежды сначала классическаго, а затѣмъ сентиментально-романтическаго направлениія, она сохранила, однако, ту цѣнную національную черту, то здоровое ядро, которое крылось въ этой скоро изнашивавшейся скорлупѣ, а именно неумирающее стремленіе къ идеалу свободы и гуманности. Мы указали при выясненіи значенія дѣятельности Пушкина, а затѣмъ Гоголя, тѣсную связь ихъ гуманныхъ и свободолюбивыхъ стремленій съ гражданскими вдохновеніями Радищева. «О, вольность, вольность, даръ безцѣнный, позволь, чтобъ рабъ тебя воспѣлъ!» Такими словами начинаетъ Радищевъ свою оду «Вольность», «вслѣдъ» которой и Пушкинъ «возславилъ свободу и милосердіе воспѣлъ». Сочетаніе идеальныхъ стремленій съ беспощадно-реальнымъ изображеніемъ всѣхъ сторонъ дѣйствительности мы могли, далѣе, наблюдать и у Гоголя, сумѣвшаго опоэтизировать, безъ нарушенія житейской правды, своихъ «старосвѣтскихъ помѣщиковъ» и призвать милость къ «падшимъ» въ родѣ Акакія Акакіевича или даже Плюшкина. Дивная сочетанія вдохновленного по-

рыва къ идеалу съ мастерски-безпощаднымъ анализомъ прозы и пошлости жизни представляетъ собою поэзія Лермонтова; та же тоска по «людямъ и жизни иной» слышна въ лучшихъ пѣсняхъ Кольцова, и ею же звучать наиболѣе одушевленныя страницы статей Бѣлинскаго, нерѣдко подымавшагося до истинно художественнаго творчества.

«Какъ мало прожито, какъ много пережито!» Эти слова невольно приходятъ на мысль при взглядѣ на тѣ 30—40 лѣтъ нашего литературнаго развитія, которыя мы разсмотрѣли. Недаромъ Бѣлинскій, повторяя въ «Литературныхъ Мечтаніяхъ», что «у насъ нѣтъ литературы», говорилъ это «съ восторгомъ, съ упоеніемъ». Восторгъ этотъ вызывался зрѣлищемъ быстраго созрѣванія этой литературы, которую черезъ 14 лѣтъ своей критической дѣятельности тотъ же Бѣлинскій счелъ уже возможнымъ признать твердой силой, удовле-творящей назрѣвшей общественной потребности.

---

## НѢСКОЛЬКО ТЕМЪ

для сочиненій и рефератовъ по курсу исторіи русской литературы отъ 20-хъ до 50-хъ г. г.

- 1) Характеристика настроеній кавказскаго пѣнника въ связи съ настроеніями Чайльдъ-Гарольда.
- 2) Картины русской жизни XVII в. по „Борису Годунову“.
- 3) Народъ въ драмѣ „Борисъ Годуновъ“.
- 4) Дмитрій Самозванецъ, Донъ-Жуанъ и Моцартъ въ произведеніяхъ Пушкина.
- 5) Эволюція образа Донъ-Жуана у Мольера, Пушкина и Алексея Толстого.
- 6) Параллели характеровъ по „Скупому Рыцарю“ и „Моцарту и Сальери“.
- 7) Типы простыхъ натуръ у Пушкина.
- 8) Особенности прозаическихъ произведеній Пушкина по повѣсти „Капитанская Дочка“.
- 9) Природа въ произведеніяхъ Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Кольцова (тема можетъ быть раздѣлена на нѣсколько отдельныхъ темъ).
- 10) Сравненіе сказокъ Пушкина съ народными сказками по тону и стилю.
- 11) Тазить и Чадкій.
- 12) Разборъ одного изъ „Вечеровъ на хуторѣ“ со стороны сочетанія реального и фантастического элементовъ.
- 13) Герой „Шинели“ и герой „Записокъ Сумасшедшаго“.
- 14) „Святѣйшее изъ званій—человѣкъ“ въ пониманіи Гоголя.
- 15) Полина и Улинька Бетрищева, какъ предшественницы тургеневскихъ женщинъ.

- 16) Костанжогло Гоголя и Штолъцъ Гончарова.
  - 17) Педагогическая идея Гоголя.
  - 18) Максимъ Максимычъ.
  - 19) Разсудокъ и чувство у Печорина.
  - 20) Какое отношение вызываетъ къ себѣ въ читателѣ Лермонтовскій Демонъ?
  - 21) „Пѣсня про купца Калашникова“ и народное творчество.
  - 22) Обработка народной пѣсни до Кольцова и у Кольцова.
  - 23) Взглядъ Бѣлинского на художественное творчество по „Литературнымъ Мечтамъ“.
  - 24) Петръ Великій въ представлениіи славянофиловъ. (Пособіе: сочиненія Хомякова, т. I и сочиненія К. Аксакова, т. I).
-